Одесский
альманах

№48

I / 2012







PLASKE
ПЛАСКЕ

От редакции

В июне 2005 года вышел в свет необычный номер московского журнала «Октябрь». Он был посвящен литературе одного города – впервые в истории этого легендарного издания, насчитывавшей к тому времени 81 год, а к сегодняшнему дню – 88 лет. О том, что город этот – Одесса – свидетельствовали фотография памятника Дюку на первой странице обложки и снимок Южной Пальмиры, сделанный из Космоса, – на последней. Тогда российская читающая публика познакомилась с произведениями наших прозаиков, поэтов, краеведов – со многими впервые.

Так родился творческий союз наших изданий – журнала и альманаха, – имевший масштабное продолжение. По инициативе главного редактора «Октября» Ирины Барметовой и директора Одесского литературного музея Татьяны Липтуги, в июле 2011 года в нашем городе прошел Международный литературный фестиваль, посвященный зарождению, становлению, взлету юго-западной школы и ее ярчайшего представителя Исаака Бабеля. Ко дню открытия фестиваля его участники и гости получили специальный номер альманаха «Дерибасовская – Ришельевская», значительная часть площади которого была отдана постоянным авторам «Октября».

Практически все они, как и одесские коллеги, приняли активное участие в работе фестиваля – участвовали в дискуссиях, заседаниях круглых столов, встречались с читателями, проводили творческие встречи. Состоялись спектакли, просмотры и обсуждения фильмов.

Работа фестиваля широко освещалась в российской и украинской прессе, а вот творческие итоги редакция «Октября» и мы решили подвести неформально – предложили его участникам поделиться своими впечатлениями о днях, проведенных в Одессе, о том, какие мысли и чувства родились у них после проведенных здесь дней, наполненных спорами и раздумьями…

Наши авторы – творческие люди, и каждый из них откликнулся по-своему. Эхо фестиваля получилось многоголосым: проза, стихи, эссе, статьи, в которых есть и полемические нотки…

Участники фестиваля были в Одессе летом 2011 года, когда шла подготовка к открытию памятника Исааку Бабелю. Его торжественно открыли в начале сентября, во время празднования дня рождения Одессы. Так что то, на что лишь надеются многие авторы, уже, к счастью, сбылось.

Материалы участников Одесского международного литературного фестиваля, представляющих Россию, Украину, дальнее зарубежье, одновременно выходят в «Октябре» и нашем альманахе. Мы публикуем произведения авторов в алфавитном порядке. Фото Георгия Исаева.

У наших редакций, у музея, у тех, кто способствовал рождению традиции, проведению фестиваля, – обширные планы. По образному выражению Ирины Барметовой, «путешествие продолжается».



ДЕРИБАСОВСКАЯ ↑ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Эхо фестиваля

6 **Ирина Барметова**
История и будущее в настоящем

9 **Николай Богомолов**
Одесса как культурное урочище

18 **Дмитрий Глуховский**
На свет

21 **Евгений Голубовский**
Верность одесскому братству

27 **Олег Губарь**
Интеллектуальное оскудение Одессы или скудоумие критиков?

32 **Ольга Ильницкая**
Фестивальные игры в бисер

36 **Феликс Кохрихт**
Бабели и Кохрихты

39 **Евгения Красноярова**
Против часовой стрелки…

49 **Юрий Кублановский**
Верю Одессе

51 **Олег Кудрин**
Два мифа и один человек

58 **Андрей Малаев-Бабель**
Долгая дорога домой

64 **Давид Маркиш**
Третья столица

69 **Валерий Попов**
Одесская малина

71 **Вячеслав Пьецух**
Полоса отчуждения

89 **Владимир Салимон**
Ланжерон

92 **Клаудия Скандура**
Моя Одесса

97 **Асар Эппель**
И вдоволь не мог надышаться

102 **Елена Якович**
Первое свидание, или «Фонтан черемухой покрылся»

Ирина Барметова

История и будущее в настоящем

Более ста лет тому назад (1898 год) в Одессе во дворце князей Гагариных было создано Литературно-артистическое общество, которое объединяло писателей, художников, музыкантов и актеров. Международный литературный фестиваль, начало которому было положено в прошлом году, продолжил традицию того Общества и объединил современных писателей, художников, музыкантов и актеров разных стран в том же дворце, но уже под эгидой Литературного музея. История свершила креативный, художественный повтор.





«История и будущее в настоящем» – так можно обозначить наше фестивальное кредо. Как одесский фестиваль преобразуется в будущем? Можно только предполагать, но сначала я задала себе вопрос: вообще, что такое литературный фестиваль как форма, как действо?

Ко всем существующим объяснениям понятия фестиваля добавлю еще одно: фестиваль – это путешествие. Больше, фестиваль – это всегда путешествие. Путешествие на край ночи, моря, путешествие в текст, в воображаемый мир сочинителя, путешествие среди метафор, определений, сравнений, языковых преград, смыслов, упоительных, фантастических и ужасных видений.

Фестиваль – это путешествие всех – кто приехал, кто собрался, кто выступает и кто слушает. И чемоданное настроение тоже всегда должно присутствовать не как что-то временное или как желание купить новый чемодан, а как предчувствие, предощущение авантюры (в прямом значении этого французского слова – приключения).

К тому же, вспомним, что путешествие – один из самых ранних литературных жанров. А рождение самостоятельного жанра начиналось с морского путешествия на пакетботе из Дуврского порта во Францию. Опрометчивый писатель, который открыл для себя Францию и Италию, а для мировой литературы жанр и целое направление, был Лоренс Стерн. Кумир всего читающего Лондона, Стерн начал писать свое произведение в неудобной коляске – дезоближане, с определения путешественников. И свел весь их круг к следующим: Праздные путешественники, Пытливые путешественники, Лгущие путешественники, Гордые путе-



шественники, Тщеславные путешественники, Желчные путешественники. Затем следуют: Путешественники поневоле, Путешественник – правонарушитель и преступник, Несчастный и невинный путешественник, Простодушный путешественник, и на последнем месте – Чувствительный путешественник, под ним подразумевался сам писатель.

Этому опыту последовали и наши современники. О своих путешествиях по литературному фестивалю в городе О. рассказали те самые чувствительные путешественники-писатели.

Прежде чем представить вниманию читателей их впечатления-воспоминания, хотелось бы сообщить, что организаторами Одесского международного литературного фестиваля определена остановка между путешествиями, то есть периодичность фестиваля будет два года.

И еще: уникальность этой публикации не только в специальных, для этого номера написанных авторских произведениях, но и в том, что эти тексты появились одновременно в двух изданиях: российском литературном журнале «Октябрь» и Альманахе…

Николай Богомолов

Одесса как культурное урочище

...А кроме всего прочего, в Одессе издают книги. Не так много, наверное, как хотелось бы, но регулярно, и самое главное – книги эти дают возможность о многом, и не только с Одессой связанном, подумать.

Автор этих строк не одессит и даже какого бы то ни было предпочтения одесским писателям, художникам, журналистам не отдает. Но когда смотришь на историю русской литературы XX века, надо быть слепым, чтобы не заметить в ней Чуковского и Жаботинского, Бабеля и Багрицкого, Олешу и Ильфа с Петровым, Катаева и Кирсанова. Их присутствие настолько очевидно, что специально говорить здесь об этом даже и не стоит, как и о знаменитостях, бывавших в Одессе более или менее проездом: Бунине, А.Н. Толстом, Паустовском. Важнее понять, в каком окружении возникали эти авторы, как они набирали силу и высоту, чтобы потом покинуть свой город и сделать его заманчиво-родным для всех русских читателей в тех стихах и прозе, которые писались уже в Москве, Петербурге-Ленинграде, Париже, а позже – в Нью-Йорке или Иерусалиме.

Конечно, современников сейчас в Одессе тоже печатают, и в тех солидных книжных стопках, которые собирались у участников фестиваля, какое-то количество произведений нынешних авторов непременно образовывалось. Но об этом пусть рассказывают другие, а мне хочется поговорить о том, как литературная Одесса осмысляет свое прошлое, как представляет истоки, которыми можно и нужно гордиться.

Но начнем с книжки доселе мне не известного автора, о котором аннотация на последней странице обложки сообщает: «Валерий Смирнов единственный из известных одесских писателей

XX века, сохранивший верность родному городу. Пишет на русском и одесском языках. Автор 50 книг, общий тираж которых превышает 3 миллиона экземпляров. Среди них детективные романы… сатирические криминальные романы… сборники юмористических рассказов… учебники по рыбной ловле… пособия по одесскому языку «Умер-шмумер, лишь бы был здоров», «Одесский анекдот», «Таки да большой полутолковый словарь одесского языка» в 4 томах». Пришлось устыдиться своего невежества и познакомиться с таким знаменитым сочинителем. «Таки да словарь…» стоит теперь на полках, но речь пойдет не о нем, а о новой книге В.П. Смирнова с завлекательным названием «Крошка Цахес Бабель».

Признаться, я люблю книги и статьи, в которых развенчиваются дутые репутации. «Четыре стакана терцовки» Вл. Новикова или «Похороны Гулливера в стране лилипутов» знаменитого литературного скандалиста Вик. Топорова, даже когда я с ними не согласен, обостряют впечатлительность, остраняют давно знакомые тексты, после чего их лучше понимаешь. И книгу Смирнова я брался читать с тем же самым расчетом: вряд ли ему удастся убедить меня, что Бабель получил свою славу не по заслугам, но, наверное, кое-что важное в книге найдется. Не знаю, не знаю.

Прежде всего, стоит сказать, что Бабелю посвящена далеко не вся книга. Даже, пожалуй, и не половина. На остальных страницах мы читаем о том, как говорили в детстве автора, как современные журналисты ломают и корежат свой язык, как нехорошо одесские песни приписывать другим городам, как неграмотно устроена одесская речь героев фильма «Ликвидация» и о многом-многом другом. Герой этой книги – все тот же самый «одесский язык», о котором и на котором пишет автор книги. А Бабель? Он-то отнюдь не герой, потому что одесского языка не знает или знает его плохо, и что еще хуже – там, где В.П. Смирнов ожидает от него какой-то типично одесской фразы, появляется нечто, написанное на презренном нормативном русском языке.

«Признаюсь честно, когда я впервые познакомился с текстами «Одесских рассказов», подумал, что Бабель просто стебется, как положено истинному одесситу, но потом понял: все это сочинялось на полном серьезе. Тем более, выдумывать наивный Бабель не умел, а потому, что имел, то и нес». Эта гипотеза довольно по-

дробно истолковывается: мальчик был тихий, учился играть на скрипке, что съедало все свободное время, так что одесского языка знать никак не мог; потом пошел на выучку к Горькому, связался с чекистами, которые в конце концов его по-свойски и шлепнули. А что же одесский язык? Не владел им Бабель, и к любому, кто считает иначе, можно относиться только издевательски.

Тогда уж почти и объяснять не надо, почему он Крошка Цахес. Подобно гофмановскому герою, Бабель собирает почести за дело тех, кто таким языком по-настоящему владел, писал и пишет на нем. Вот Осип Рабинович, Семен Юшкевич, Лазарь Кармен, Владимир Жаботинский (в своих романах), да и некоторые современные писатели – те пишут именно на одесском языке. Правда, у читателя предательски проскальзывает мысль: вот незадача – ни памятников им нет (впрочем, и памятник Бабелю задуман только что), да и читают книги считаные единицы. И как-то не задается автор книги вопросом: неужели Бабель обладал такой колдовской, цахесовской властью, что и семьдесят с лишним лет спустя после его смерти читают его, а не Юшкевича или Кармена?

На самом деле разгадка бабелевского феномена проста до чрезвычайности, но, чтобы к ней приблизиться, надо владеть элементарной филологической грамотностью. Это только кажется, что писать о языке и литературе можно, не будучи филологом по образованию или не восполнив отсутствие оного собственной работой, чтением и т. д. На деле – не получается. Уже довольно давно я разбираю со студентами-первокурсниками (на факультете журналистики, а не на филологическом) один из бабелевских рассказов, и когда мне где-нибудь в начале говорят: «Рассказ написан на настоящем одесском языке», – я вынужден обрывать говорящего и спрашивать: «А вы откуда знаете настоящий одесский язык?». И дальше мы начинаем говорить о том, как Бабель слегка подкрашивает вполне нормативный русский идишизмами, украинизмами, одессизмами, создавая образ языка, а не переходя на него.

Беда всех тех авторов, которых Смирнов приводит в пример и укор Бабелю, именно в том, что материалом для них является одесский язык, тогда как для Бабеля – русский. А следовательно, и окончательная форма, то есть очерк, рассказ, повесть, даже роман, будет важна для одесской литературы, а не для литерату-

ры русской, как рассказы Бабеля. Отсюда уже легко осуществить переход к теоретическим категориям: *langue* и *parole* по Ф. де Соссюру, материал и прием по Шкловскому и так далее.

Справедливости ради скажем, что в одном месте автор «Крошки Цахеса Бабеля» произносит почти те же самые слова, что и я: «…на самом деле Бабель был замечательным русским писателем-стилистом, который менее других литераторов-одесситов подходит для сочиненной ему роли символа литературы Города. Разгадка же творческого метода Бабеля заключается в том, что для него на первом месте стояло слово; а вяжутся ли красиво выписанные фразы со здравым смыслом, как говорят в Одессе, было уже вторым вопросом». Только эти слова запрятаны куда-то в середину книги и звучат с откровенным осуждением, тогда как на самом деле должны быть похвалой. Задача писателя и состоит в том, чтобы преобразить какой-то кусок реального мира в то, что Пастернак назвал: «…образ мира, в слове явленный».

Тут уже не приходится удивляться, что ирония, а то и издевательство звучат в голосе В. Смирнова, когда речь заходит о некоторых одесских изданиях, мне представляющихся весьма ценными и необходимыми. На протяжении всех начальных лет нового тысячелетия в Одессе издаются альманахи «Дерибасовская – Ришельевская» и «Дом князя Гагарина». Первым занимается Всемирный клуб одесситов, вторым – Одесский литературный музей, поэтому они различаются по основному характеру, но в то же время и дополняют друг друга. А их, в свою очередь, дополняют отдельно изданные книги, представляющие культуру Одессы прежних лет уже не в выдержках и образцах, а в тех ее составляющих, которые постепенно складываются в целостную мозаику. Конечно, нет смысла переиздавать классику русской литературы, созданную писателями, вышедшими из Одессы. Но стоит представить читателю то, что было на долгие годы забыто или практически неизвестно. Это и будет то самое исследование почвы, без которого невозможно понять, откуда взялось роскошное цветение пресловутой южнорусской школы. Вот здесь-то и стоило бы издавать Юшкевича, Кармена или О. Лернера, отца известного пушкиниста (Жаботинского три книги уже изданы). До них пока руки не дошли, но уже изданы книги Семена Гехта и Зинаи-

ды Шишовой, Перикла Ставрова и юношеских, почти детских стихов Семы Кортчика, будущего Семена Кирсанова, стихов и статей Вениамина Бабаджана, стихов Юрия Олеши и Анатолия Фиолетова, Веры Инбер и Натальи Крандиевской. Переиздан редкий феодосийский альманах «Ковчег», а в альманахах воспроизведены (иногда репринтно) «Еврейские поэмы» Георгия Шенгели, «Плеяда» Леонида Гроссмана, «Пенаты» Шишовой и «Плоть» Владимира Нарбута. Да, без особенного труда можно назвать то, что лежит буквально под ногами и заслуживает переиздания, – скажем, поэтические альманахи 1914-1917 годов, о которых в третьем выпуске «Дома князя Гагарина» замечательно рассказал С.З. Лущик (вообще, работы этого знатока Одессы, ее литературы, живописи, книг заслуживают самого пристального внимания), или полный комплект книг издательства «Омфалос», стихи и научные работы поэта и пушкиниста Михаила Лопатто… Но как же хорошо, что есть поле для будущей работы! И как хорошо, что работа эта интересна не только одесситам: в последнем, вышедшем весной 2011 года шестом выпуске «Дома князя Гагарина» появилась статья немецких литературоведов из Бохума Мирьи Леке и Георга Шомахера. «И у Дерибасовской есть поэтесса»: размышления об одесских альманахах в свете «Юго-Запада» Шкловского». А в других, уже не одесских изданиях не так уж трудно найти статьи флорентийца Стефано Гардзонио, посвященные одесским поэтам.

Что же касается самих альманахов, то характерно, что «Дерибасовская – Ришельевская», отнюдь не ограничивающаяся историческими разысканиями, почти неизменно (исключением были первые годы, когда рубрикация еще не установилась) открывается разделом «История. Краеведение». И кажется, вовсе неизменна в ней рубрика «Наши предшественники», посвященная журналам и сборникам старой Одессы.

Таким образом, Одесса предстает перед нами прежде всего как культурное урочище, средоточие разнонаправленных тенденций, в итоге слагающихся в то сложное целое, которое фиксирует для нас и южнорусская школа, и последующая литература, вплоть до самой современной.

Я не буду говорить о статьях, посвященных собственно истории и краеведению, отметив только, что они исполнены, как пра-

вило, на очень достойном уровне. Что же касается литературы, то здесь существенные публикации начинаются с пушкинского времени. Тема «Пушкин в Одессе», кажется, уже исчерпана разными исследованиями, в основном, закончившимися в 1920-е годы, после чего находились только единичные дополнения. Но появившиеся в «Доме князя Гагарина» (вып. 4 и 6) публикации материалов из рукописного журнала одесских лицеистов «Ареопаг», издававшегося в 1828-1829 годах, добавляют существенные штрихи в картину восприятия творчества Пушкина его современниками, только входящими во взрослую жизнь.

И все же более всего нового материала обнаруживается там, где речь идет о культуре 1890-1920 годов, когда в Одессе постепенно формировалась та своеобразная культура, которую мы знаем, когда она достигала своего расцвета – и потом постепенно угасала, оказавшись не в силах бороться с общей обстановкой в Советском Союзе после насильственного прекращения нэпа. Наиболее талантливые писатели разъезжались, кто-то уходил из литературы, а литературные организации или распускались за неимением активных членов (так сгинул «Юго-ЛЕФ»), или же заполнялись малопримечательными людьми.

В общих чертах эта картина уже набросана, а временами и основательно прописана. Но вместе с тем постоянно сталкиваешься с какими-то провалами в истории, которых, очевидно, для современников не существовало. «Юго-Запад» Шкловского наглядно свидетельствует о том, что автор прекрасно понимал закономерности осуществления одесского феномена, не зная их в подробностях. Или – пример из совсем иной области – писавший воспоминания о пушкинисте Н.О. Лернере Ю.Г. Оксман совершенно явно связывал его с одесской действительностью рубежа веков, возводя к ней, а совсем не только к национальности или религиозным исканиям (Лернер был выкрестом и до известного времени своим православием гордился, пока не решил в 1900-е годы вернуться в иудаизм; я не знаю, произошло ли это на самом деле, но намерение примечательно) особенности его личности и литераторской индивидуальности. Увы, нам, не современникам, приходится искать даже самые мелкие элементы этой конструкции в библиотеках и архивах, чтобы потом складывать из них сколько-нибудь достоверные картины.

К счастью для исследователей, пока что, кажется, почти ничто не предвещает оскудения этой нивы. Правда, стоило бы задуматься уже сейчас о том, чтобы соединять усилия ученых, волею судеб оказавшихся по разные стороны ранее не существовавшей границы: материалы, хранящиеся на «малой родине» писателей, художников, театральных деятелей, должны быть соединены с теми, которые остались в Москве и Петербурге, Париже и в разных городах США или Германии. Пока что это происходит, увы, лишь за счет частных усилий отдельных ученых, тогда как здесь нужна система.

Довольно назвать хотя бы некоторые из опубликованных материалов, чтобы понять, насколько существенна деятельность одесситов в этом направлении: стихотворная комедия Э. Багрицкого и Г. Шенгели, юмористическая поэма, приписываемая Багрицкому, крамольный дневник Паустовского за 1920 год и не менее крамольная новелла С. Кржижановского, материалы из архивов И. Ильфа, В. Инбер, С. Гехта, письма Вл. Пяста, С. Кирсанова, А. Козачинского (автора «Зеленого фургона»), С. Бондарина, обзоры рукописных фондов Бабеля и Кирсанова, реконструкция первой пьесы Ю. Олеши и его ранние рассказы. Но не менее существенны републикации из старых и мало кому доступных журналов, а также обзоры их содержания. И еще – практически открытие некоторых совсем забытых писателей для современного читателя. Таковы в последнем на нынешний день выпуске «Дома князя Гагарина» сказки украинского писателя Михайлы Жука (1883-1964) с его же рисунками, опубликованные А.Л. Яворской.

Не тратя лишних слов, любителей и ценителей литературы этого времени следует просто отослать к одесским изданиям, напоминая, что без них уже невозможно сколько-нибудь полное знание эпохи.

Но ведь история не кончается на 1920-х годах, и ее продолжение также попадает на страницы альманахов. При этом «Дом князя Гагарина» больше ориентируется на эпоху 1930-1940-х годов, тогда как «Дерибасовская – Ришельевская» скорее сильна материалами о 1940-х и более поздних годах. Из собственно литературных материалов стоит отметить публикацию И.Г. Саврасовой «Стихи одесских поэтов И. Мадробурского, А. Ждановича и О. Но-

микоса в оккупационной прессе 1941-43 гг.». В республиках Прибалтики изучение культурной жизни на занятых немцами территориях ведется уже давно и плодотворно, но на Украине, как и в России, существует известная предубежденность, восходящая к сталинским временам, против всех, кто оказался из-за полководческих талантов гения всех времен и народов «под немцем». А уж если человек не сидел тихо, никуда не высовываясь, а зарабатывал себе на жизнь, служа в театре или печатая лирические стихи в единственно выходивших газетах, он надолго, если не навсегда, попадал в проскрипционные списки. А стихи опубликованы вполне достойные, хотя, конечно, не первого ряда.

Но чаще печатаются материалы, написанные «для себя». Из них, пожалуй, наиболее неожиданным является «Страна чудес» никому не известного человека – Ивана Федоровича Рубанца, расстрелянного в 1938 году («Дом князя Гагарина», вып. 5). Этот текст писался около 1931 года, однако заглавие его было бы логичней связывать не со сказкой Л. Кэрролла, а с изданной в 1935 году пропагандистской книгой Марии Остен «Губерт в стране чудес». Немецкому мальчику Губерту демонстрировали выдающиеся достижения Советского Союза (чем это кончилось, понятно: Губерт получил срок), а И.Ф. Рубанец показывает истинную суть советского «социализма», направленного против собственного народа.

Другие материалы более традиционны, это дневники, но относящиеся к тому времени, когда не слишком многие люди решались их вести. Таковы, например, «Записки 1941-1944 гг.» Адриана Оржеховского – «Дом князя Гагарина», вып. 4); дневник Д.В. Мартыновой 1941-1945 гг. (Там же, вып. 6); «Гитлеровцы в Париже» В.В. Сухомлина (Там же, вып. 4). Эти материалы как будто бы не несут особенного художественного эффекта, а иногда и вовсе на него не рассчитаны, но вместе с тем в них чувствуется открытое дыхание истории, причем той истории, которую мы до сих пор знаем очень односторонне.

В публикациях же «Дерибасовской – Ришельевской» мы читаем воспоминания о Трифонове, об Окуджаве, о Чичибабине, о Викторе Некрасове, не опубликованное при жизни интервью Андрея Вознесенского, подробную запись о знаменитом вечере памяти Мандельштама на мехмате МГУ в 1965 году, сделанную женой пи-

сателя Сергея Бондарина Генриэттой Адлер, воспоминания незаметных людей о своей жизни в войну, после войны, в пятидесятые и даже более поздние годы. Хотя, конечно, и там публикуется, скажем, фрагмент дневника Н.В. Брусиловой (жены полководца) за 1925 год, где она вспоминает события, связанные с помилованием Г. Котовского в 1916 году, или очень интересная, основанная на документальных материалах статья про родителей Бабеля и про то, как их «дело» вмешивалось в судьбу писателя. Но все-таки основная линия альманаха направлена на ближние времена.

Но теперь, пожалуй, пришла пора объясниться с читателями, многие из которых впервые сталкиваются со словосочетанием «культурное урочище», которое стоит в заглавии статьи. Ввел его в обиход (ограничив только литературой) великий филолог Владимир Николаевич Топоров. Вряд ли мне удастся сказать точнее, чем он: «Литературное урочище – это и описание реального пространства и реальных событий, связанных с ним, и избрание этого пространства для «разыгрывания» поэтических (в противоположность «действительным») образов, мотивов, сюжетов, идей; это место вдохновения поэта, его радостей, раздумий, сомнений, страданий, место творчества и откровений, место, где он живет и где обретает вечный покой, место, где поэзия и действительность вступают в разнородные, иногда фантастические синтезы, когда различие вклада «поэтического» и «реального» становится почти невозможным, место, которое в значительной степени определяется этими, до поры казавшимися невозможными связями…».

Если как следует вдуматься в эти слова, то легко заметить, что части Одессы (а термин Топоров придумывал для отдельных частей Москвы и Петербурга) им не определяются. Но сам город в русской культуре приобретает именно такие свойства. В нем переплетаются реальность и порождение творческого воображения многих художников, чтобы потом передаваться из поколения в поколение. И люди, осознающие себя служителями благородной задачи сохранения памяти, тем самым оправдывают свою жизнь в культурном пространстве.

Дмитрий Глуховский

На свет

Через щелочку под дверью пробивается клинышек света – желтый, слабый. Его не хватает даже на то, чтобы прорисовать очертания нагроможденной в детской дряхлой мебели. Но его достаточно, чтобы мне не было боязно темноты. Я знаю: сюда, в мою комнату, этот луч доползает с кухни. А там горит настольная лампа под тряпичным абажуром и, забравшись на диван с ногами, читает книгу моя мама.

И если мне приснится что-то нехорошее, я могу встать, прошлепать босыми ногами по иссохшему старому паркету, скрипнуть дверью и, пробежав поскорей через коридор, заскочить с ходу на диван. Мама нахмурится, отчитает меня, но гнать не будет – если мне действительно привиделся кошмар, конечно, потому что она всегда умеет разгадать, притворяюсь я или говорю правду.

Было уже такое, что я никак не мог уснуть, и сидел с ней рядышком тихо, и глядел в темное окно, а она всю ночь перелистывала свою книгу, готовясь к каким-то экзаменам. Я сидел, пока не стало синеть черное одесское небо, пока не ушли с него звезды и не стало подниматься над старыми крышами большое солнце.

Только тогда меня забрал сон, а очнулся я уже за полдень.

И было лето, хорошее, настоящее лето, и море разогрелось, и под платанами было уже жарко. Я тогда выбрался из кровати – как же я попал в кровать? – позавтракал оставленными под салфеткой бутербродами с чем бог послал и двинул через парк купаться. И в тот день чуть не потонул, потому что неловко дернулся и ногу свело. Меня вытащил незнакомый бородач и все хотел отвести к маме, но я ни за что не говорил ему, как ее зовут и где я живу, потому что меньше всего на свете хотел, чтобы мама из-за меня рас-

строилась. Я от бородача сбежал и сидел еще долго, дрожа, смотрел на порт и думал, как легко, оказывается, можно умереть. Но потом одесское солнце высушило мою шкуру, и с морской водой испарились все мысли о смерти. Я подумал тогда, что все-таки, наверное, никогда не умру. Хорошо бы было еще и не взрослеть; мама мне сколько раз уже говорила, что терпит эти мои ночные вылазки, только пока я маленький, и скоро надо будет с ними завязывать.

И я вернулся домой, но дверь была заперта: мама еще не вернулась, а тетка, с которой мы жили, ушла на Привоз. Про Привоз выяснилось уже потом, а когда я стоял под дверью, мне думалось, что вдруг обе они больше не вернутся никогда, и я тут останусь совсем один в этом мире. Я боялся даже подумать, как получилось, что ни матери, ни тетки дома нет. И чтобы не бояться, сам решил исчезнуть.

И пошел гулять куда глаза глядят. Был и на Ришельевской, и на Жуковского, и на Бунина, и на площади Веры Холодной, а потом мне надоело читать таблички с именами улиц и я просто шел. Думал потеряться, но к вечеру сам собой выбрел в родной переулок.

Странно, что с тем городом случилось. Есть места, которые вроде бы не поменялись, только состарились очень. Тлен тронул их, штукатурка искрошилась, и краска выцвела. Платаны, меж которых они стояли тогда, все еще тут, ждут. Деревья, вообще, если их не рубить, живут дольше иных домов, не только людей. Платаны, наверное, мне больше всего тот город и напоминают – они, по крайней мере, чуть не единственное живое, что от него осталось.

Другие дома сейчас попали в руки богачей и вроде бы процветают, холеные и лоснящиеся, как набитые чучела зверей. Все внутренности старые выскоблены, внутрь напихан негниющий пластик. Глаза стеклянные, зеркальные. Стоят, словно молодые, а мне кажется – как моложавая старуха Гурченко перед смертью. Не лица, а маски, натянутые косметическим хирургом. А где трещины-морщины, где следы прожитого?

Нет, наверное, во мне беда. Это ведь я хочу вернуться в тот город, из которого уехал когда-то. А города нет.

Стоят одни дома и деревья. А человеческая река, которая Одессу тогда заполняла, вся уж утекла. Воды ее обновились, омолоди-



лись, только мне никакой радости от этого омоложения нет: для меня река эта была живой пятьдесят лет назад, а сегодня безжизненная и чужая. Нет людей, которые делали этот город для меня, нет и города.

И вот я возвращаюсь в Одессу моего детства, желая вернуться в детство. И ложусь спать в старой своей комнате, среди той же мебели, еще более подряхлевшей, и смотрю так же на клинышек желтого света, который пробивается из-под двери.

Думаю, что если мне станет совсем страшно, смогу вскочить, побежать через коридор в кухню, к лампе под абажуром и к маме, залезть к ней на диван и прижаться.

Но не вскочу и не побегу.

Потому что дом пуст, и завтра мамины похороны, на которые я приехал из Киева.

А лампу я сам зажег и оставил на кухне гореть всю ночь.

И мне страшно.

Евгений Голубовский

Верность одесскому братству

Вспоминаю, сколько лекторов общества «Знание» в далекие годы кормились с темы «Есть ли жизнь на Марсе?». Нечто подобное мне напоминает сегодня вопрос: была и есть ли одесская литературная школа? Мне кажется, неповторимость и узнаваемость Бабеля, Ильфа, Петрова, Олеши, Катаева, Жванецкого как единого «одесского текста» у читателей давно уже не вызывает сомнений. У грамотных читателей, которых все меньше и меньше.

Меня же волнует несколько иная проблема. Сосредоточившись на двух десятках фамилий писателей, ставших широко известными, мы забываем о «свите», без которой трудно представить королей. О литературном фоне, бэкграунде, как принято нынче говорить. К сожалению, до сих пор не изданы книги Петра Сторицына, Георгия Цагарели, Эскеса (Семена Кесельмана)… Их произведения можно (и нужно!) собрать по одесской периодике.

Но был в Одессе поэт, младший современник одесситов, ставших уже известными литераторами, писавший во второй половине 20-х – первой половине 30-х годов, которому не удалось опубликовать при жизни ни строки. Звали поэта Петр Кроль.

Впервые я услышал это имя от ленинградского поэта, бывшего одессита, Всеволода Азарова более тридцати лет тому назад.

– По гамбургскому счету, – рассказывал Всеволод Борисович, – Петя был самым одаренным поэтом среди нас, молодых, входил в группу «Перевал», которых тогда именовали «попутчиками». В семнадцать-восемнадцать лет он был как ребенок, мог часами читать наизусть стихи символистов, акмеистов, футуристов, увлекался историей и философией, особенно Шопенгауэром.

Тогда Всеволод Азаров прочитал мне по памяти стихотворение Петра Кроля «Виноградарь». Я запомнил его первые строки: «Виноградарь устал до смерти, виноградарь устал до жизни, он покинул свой виноградник…».

Уже позднее, раздумывая о Петре Кроле, я перечитал «Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра и там нашел фразу, которая, возможно, и подтолкнула к созданию «Виноградаря»: «Смерть так же естественна, как жизнь».

В 1987 году вышла книга мемуаров Всеволода Азарова «Ветры нашей молодости», он прислал ее мне из Ленинграда в Одессу. Добрая, теплая, очень искренняя книга. К счастью, уже началась перестройка, и можно было писать без страха и умолчаний. В этой книге была страница о Петре Кроле. О том, что в начале 1930 года Петя (так называли юного Кроля друзья) приехал в Москву, показал в «Московском комсомольце» стихи Осипу Мандельштаму, который работал в газете литконсультантом. Осип Эмильевич принял его радушно, называл по имени-отчеству – Петр Михайлович (наверное, впервые в Петиной жизни), но посоветовал с этими стихами никуда не ходить, а тихо вернуться в Одессу, от греха подальше.

Рассказ Всеволода Азарова существенно дополняют воспоминания Семена Израилевича Липкина из беседы с Аленой Яворской, заместителем директора по науке Одесского литературного музея. «Это был мой самый близкий друг, – Семен Израилевич оживляется еще больше. – Мы были сверстниками, остальные – намного старше». Липкин уточняет: Кроль – не одессит, его родители переехали в Одессу во время первой мировой войны. В прошлом – люди обеспеченные, все потеряли. Отец был бухгалтером. Петр учился в Одесском университете, был очень неуклюжим, из-за этого у него были плохие отношения с преподавателем военного дела. В начале тридцатых приехал в Москву, Семен Израилевич (у него Петя жил в Москве) познакомил его с Мандельштамом, который очень тепло принял Кроля. Человек, фантастически не приспособленный к жизни, «у него не было силы для этого», – говорит Липкин, Кроль никак не мог устроиться на работу, как бы ни помогали ему друзья».

Кроль послушался Мандельштама и отправился назад, в Одессу. Сняли его с поезда. У него не было документов. Он нигде не

работал. И на годы сослали беспомощного, неуравновешенного, возможно, не совсем адекватного юношу в лагеря.

Неожиданное подтверждение: в конце 90-х годов, читая новый роман Юрия Давыдова «Бестселлер», заметил, что среди его героев, среди зеков, мелькает образ Петра Кроля:

«И в тех же вот краях-широтах мы, зеки... Еврей, замученный чекистами, затем прикончленный нацистами, Кроль, Петр Кроль, поэт несчастный и безвестный, а значит, и высокой пробы, не хныча… валит древесину в груды Весь день и позже, до зари: Осину – дерево Иуды, Его боятся упыри».

А несколькими строками раньше, в этой же главе, Юрий Давыдов пишет: «Семен Израилевич Липкин прав: есть мудрость и в уходе без следа». Сказано как будто о Петре Кроле.

То ли в 1939-м, то ли в 1940-м Петр Кроль вернулся из лагеря в Одессу, жил у сестры, работавшей продавщицей в книжном магазине на Дерибасовской. Жили бедно, на одну ее зарплату. Петя писал стихи.

А потом началась война. Оккупация. Нет, не прав Шопенгауэр. Смерть не естественна. Особенно в гетто.

Но это все рассказ о жизни и смерти. А где стихи? Не осталось ни одного листика, ни одного стихотворения. Вернее, не осталось бы… Если бы не верность одесскому братству. Несколько поэтов, любивших стихи Петра Кроля, знавших многое на память еще с двадцатых годов, в шестидесятые годы решили восстановить их. Над этим работали Всеволод Азаров, Сергей Бондарин, Семен Кирсанов, Семен Липкин.

Сегодня машинопись стихов П. Кроля есть в Одесском литературном музее, есть у меня – я получил ее в подарок от Всеволода Борисовича Азарова.

Семен Израилевич Липкин рассказывал Алене Яворской, что в 80-е годы два стихотворения Кроля он опубликовал в «Литературной газете». В Интернете мне не удалось их найти, как и какие-либо отклики на публикацию (если они были).

Это и побудило меня предпринять новую попытку вернуть в литературу не только имя, но и стихи. Тем более что Одесский литературный фестиваль пробудил у многих желание шире взглянуть на «одесский текст». В моем распоряжении только ранние стихи совсем юного Петра Кроля за 1925-1928 годы. Но уже в них ощущается его своеобразие.

Петр Кроль

* * *

Неба глаз слегка лишь тучами подведен,
На асфальте только тонкой тени грим.
Я хочу, чтоб город в каменистом пледе
Вспыхнул и чтоб крикнул кто-нибудь: «Горим!»
Чтобы дернулся город, заплывший в ласке и лоске,
Чтобы, звездами падая на пол, набатом звенело стекло,
Чтобы быстро бежали и тыкались люди в киоски
И чтоб зарево в небо густейшею кровью текло.
Но этих желаний спугнет кровожадную птицу
Спокойная ночь, отогнав докучающий зной
И ночью во мне уж ничто не бушует, но мстится,
И ночь, как служанка, подняв опахало, шагает за мной.
И тьма, как ярмо на покорно протянутой вые,
И снова запрячется месяц, и снова не видно ни зги.
И вот при свете луны, как белый листок, мостовые,
И что-то на этом листке таинственно пишут шаги.
В городе знойном это бывает так редко.
Вижу заглохших стремлений запущенный сад,
Слышится голос могучий далекого предка,
Суровым и властным призывом зовущий назад.
И кажется, город исчезнул с его мостовыми,
На месте города только огромная гать,
И мир не родился или давно уже вымер,
А я только буду шагать, и шагать, и шагать.

1926

Шопенгауэр

В трактире шум, мелькают кружки,
Усталый бурш храпит в углу.
Вслед затянувшейся пирушке
Остаток пива на полу.

И, прорезаясь в бархат гула,
В разноголосицу и смех,
Проходит жирная Урсула
И трубками обносит всех.
Гуляки пьют и воют «Прозит!»,
И лишь за столиком одним
Старик угрюмый трубки просит
И кольцами пускает дым…
В трактире не мелькают кружки,
Усталый бурш проснулся вдруг,
След пива засыпают стружки,
И старика замкнули в круг.
И дыма серые волокна
Ползут назойливо в глаза,
И в эти маленькие окна
Уже колотится гроза.
Его сверкающие речи
И чубука ритмичный стук.
На старика худые плечи
Надет потрепанный сюртук.
И так беспомощно повисла
Трясясь, седая голова,
Но беспощадны, словно числа,
Его жестокие слова,
Его стальные силлогизмы.
Но ветер стукнулся в окно,
В стакан граненый, в виде призмы,
Налито старое вино.
И кельнер мчится меж столами.
Старик угрюм, пора домой.
От ветра в лампе гаснет пламя,
И зал охвачен мягкой тьмой.
Пусть пьют веселые гуляки
И слышен двери резкий стук.
И он идет в грозу и слякоть,
Одернув старенький сюртук.

1927

Осень

Скучно! Деревья в желтой осенней оправе,
Сморщился день, постарел, поседел и усох.
След слишком резкий нога моя врезала в гравий,
Гравий податлив и мягок, как влажный песок.
Я нездоров, и погода уж слишком сырая,
Слишком сыра и пронзительна. Слишком туга,
Вьется аллейка в саду, как меч самурая,
Кто-то аллейку согнул, и стала она как дуга.
Ворон оставшийся болен, но все-таки важен,
Он неподвижен и важен, как древний друид,
Старый фонтан покрывается сетью бесчисленных скважин –
Восемь уж лет, как он ничего не струит.
Что же, домой? Да и дома не слишком-то сладко,
Гофман, Брамбеус, наскучивший «Вечный жид»,
В книгу аббата Прево вложена кем-то закладка,
Очень и очень желта, но на той же странице лежит.
Часом вечерним идти по аллее все жутче,
Ветер к скамейке несмело швыряет листы.
Эту аллею, наверное, выдумал Тютчев,
Листья как строки – суровы, легки и чисты…

1927. Осень

Сорочья песня

И не от ветра, не от хруста
Привет мне шлет
Кривой забор, закат, и пустошь,
И тонкий лед.

1928. Январь

Олег Губарь

Интеллектуальное оскудение Одессы или скудоумие критиков?

Ежегодно осенью провожу месяц в лесах Винницкой области, как принято говорить, вдали от шума городского. Опыт показал, что обширные вырубки не менее привлекательны, нежели чащоба – как говорят здешние, «корчи». Тут хорош и разнообразен гриб, часто можно наблюдать косуль, оленей и прочую экзотическую живность. Оказывается, вырубки отдыхают, словно поля под паром, причем довольно долго, а затем на них высаживают молодой лес.

Метафора, несмотря на незатейливость, вполне применима к определенным этапам становления и эволюции Одессы. Только не надо мне рассказывать, будто таланты вызревают тут беспочвенно, ни с того ни сего, мистически. Потому что наработанная годами эрудиция позволяет мне видеть физиономический расклад практически любого хронологического среза биографии города. И если кто-либо хочет со мной поспорить, пускай подаст голос и расскажет о выдающихся одесситах по рождению на протяжении первых десятилетий ее истории. Даже не пытайтесь: зубы обломаете.

Правда заключается в том, что в юную Одессу масштабно инвестировали, причем не только материально, но и гуманитарно. Все очень просто: без серьезных вложений не получишь достойного результата. Перефразируя: сперва ты работаешь на авторитет, чтобы впоследствии он пахал на тебя.

По этой причине в «одесский проект» вколотили колоссальные ресурсы. Реестр разноплановых талантов, оставивших отпечаток в его реализации, более чем обширен: финансисты, политики, военачальники, фортификаторы, администраторы, пред-

ставители творческих профессий, просто неординарные и яркие (по Л.Н. Гумилеву, пассионарные) личности, включая авантюристов. Приток талантов отмечен с первых шагов градоустройства, все более нарастая в 1800-1840-е годы. Этому способствовал статус Одессы как резиденции генерал-губернатора огромного региона, соразмерного с крупными европейскими державами, и изначально – ряд льгот, дарованных городу при самом его основании, а впоследствии высочайше подтвержденных.

Не стану углубляться в бухгалтерские исторические подробности, а лишь обращу внимание читателя на некоторые конкретные фигуры, интеллектуально, творчески подпитывавшие юную Одессу. Это представители двух категорий: лица, входившие в административный штат, включая военных и дипломатов, и коммерсанты – не только российские и зарубежные негоцианты, но и землевладельцы, производители предназначенной на экспорт сельхозпродукции. В ранней палитре одесского общества помимо феноменального де Ришелье, а далее де Ланжерона и графа Гурьева, видим братьев графов Рошешуар, графа Растиньяка, графа Сен-При, графа Венансона, маркиза де Кастельно, барона Миллера фон Рефенштейна, князя Мещерского, князя Кантакузина, князя Жевахова, графа Разумовского, графа Эстергази, графиню Потоцкую, графа Браницкого, графиню Маргоцкую, графа Мощинского, графа Шереметьева, барона Штиглица, генералов Волконского, Кобле, Ферстера, Хитрово, иностранных консулов фон Тома, де Кастильо, Гульельмучи, Джеймса, представителей известных семейств Шемиотов, Савоини, Аркудинских, Трегубовых, Кирьяковых, Акацатовых, Курдимановых, Скаржинских, Дембровских, Бларамбергов, Россет, Сикаров, Рено, Ризничей и т. д. и т. п. Беспримерная плотность в едва народившемся городке!

Приток инвесторов и специалистов со всех концов Европы предопределил формирование привычной для них инфраструктуры – не только коммерческой (старейшая биржа, первый в России коммерческий суд, кредитно-банковские учреждения, в том числе страховые общества и тематические СМИ, типография, коммерческая гимназия), но и бытовой. Скажем, выходцам из Леванта, Анатолии, Средиземноморья понадобились не только кофейни, бани, купальни, но и театр, казино, цивилизованная ин-

дустрия развлечений, что обусловило, например, появление итальянской оперы и в целом распространение музыкальной культуры даже среди простонародья. Отсюда и традиционная для Одессы превосходная итальянская струнная школа. Здесь стартовала пресса – сначала в виде так называемых «биржевых листков».

Воронцов застал уже довольно процветающий город, интеллектуальный, творческий потенциал которого сильно повысил набранный им штат и стекавшиеся энергичные аристократы, купцы, разночинцы, простые искатели счастья. Довольно вспомнить такого гениального российского дипломата, каким стал «выкормыш» Воронцова, барон Бруннов, к слову редактировавший «Одесский вестник», или его протеже Закревский, будущий сенатор. Под его покровительством в разные годы перебывали поэты, писатели, зодчие, ученые-энциклопедисты Туманский, Подолинский, Тепляков, Морозов, де Рибас (сын Феликса), Боффо, Стемпковский, Гаюи, Гагемейстер, Андреевский, Монтандон и многие-многие другие. Да и Пушкин едва ли пострадал от переезда в Михайловское, где гениально потрудился во славу российской словесности. Так или иначе, но именно Воронцов согласился принять поэта в штат, и без этой санкции не было бы ни соответствующих одесских знакомств и впечатлений, ни «одесской главы» «Онегина», ни ряда значимых текстов, связанных с Одессой.

В эпоху Воронцова гуманитарное инвестирование города продолжалось с нарастающим успехом: военные и гражданские инженеры, медики, архитекторы, музыканты, актеры, живописцы, скульпторы, литераторы: от Стурдзы и Гросса до Айвазовского и Моранди. Тогда, между прочим, были изданы первые местные литературные и научные альманахи, а «Одесский вестник» параллельно выходил на русском и на французском. Чуть позже одесские банкиры открыли свои представительства в Вене и Париже, их связали родственные узы со всеми крупнейшими мировыми финансистами, включая барона Ротшильда и фон Гирша.

Были ли в числе этих инвесторов одесситы по рождению? Попытайтесь припомнить хотя бы два-три имени… Чтобы получить хороший результат, надо терпеливо и долго вкладывать. В Одессе ожидание всходов растянулось на многие десятилетия. Лет сто мы не имели своих виртуозов, пора которых пришла не скоро. Но

дождались. Теперь принято говорить об одесских школах: скрипичной, вокальной, живописной, литературной, офтальмологической, микробиологической, агрономической и прочее. Имена – смотри в энциклопедиях.

И где же все они, эти наши родные таланты? Волна за волной укатывали – когда в ближнее, а когда и в дальнее зарубежье, что вполне объяснимо. С миру по сосенке – пустошь, вырубка. Одесса давным-давно не административный и коммерческий центр огромной территории, способный задавать тон не то что в Средиземноморье, но даже в своем отечестве, да и реализовать себя, состояться в провинции по большому счету крайне затруднительно. Нет, да и не может быть у нас меценатов уровня Ришелье и Воронцова. Одессу по-хорошему не инвестировали со времен военного коммунизма, а она, бедняжка, все плодоносила и плодоносила на проценты от архаических вложений, истощаясь и хирея. Куда, черт возьми, устремлялась вся советская интеллектуальная элита «на заправку», как не в Одессу и Тбилиси… Мы точно на вырубке, где, конечно, кое-где проклевываются отдельные грибы и ягоды, но в основном наблюдаются настырные кабаны – забегают в корнях нахально покопаться да подкормиться побыстрому. Временщики…

Нет, я могу войти в положение критиков из соперничающих процветающих городов – тут хотя бы политкорректно. Трудно понять бывших одесситов (хотя и утверждают, будто бывших одесситов не бывает), со спекулятивным высокомерием рассуждающих о падении интеллектуального уровня Одессы. Мы, оставшиеся (и уехавшие, но оставившие сердце), разумеется, стараемся хоть лопнуть, но держать фасон. Ничего другого нам, патриотам маминым («терпеть ненавижу» слово *патриот*), просто не остается. Так, делаем кое-что посильное. Отреставрирован Оперный, на выходе «Большая Московская». Построен новый стадион. Установлен памятник Бабелю. Продолжаются ежегодные международные фестивали: театральный, джазовый, музыкальные («Два дня и две ночи» и др.), литературные. Выходят книги, журналы, альманахи – случается, хорошие, а в целом хорошие и разные. Что имеем… (У вас лучше – так присылайте, не шифруйтесь.) Бьемся над созданием мемориала на территории Старо-

го городского кладбища, где покоятся первые одесситы, прошедшие огонь, воду, безводье, чуму, холеру, геноцид. Все-таки движется что-то, изменяется к лучшему, хотя многие потери невосполнимы. Даже если высадили на вырубке молодняк, так деревца не скоро поднимутся.

Проходит в Одессе уже несколько лет турнир поэтов «Пушкинская осень в Одессе». И вот в 2011 году перед началом турнира его организаторами на Дерибасовской был открыт мемориальный знак Левушке Пушкину, брату поэта, работавшему на одесской таможне, долго жившему и похороненному в Одессе. Знак выполнен одесским скульптором Климом Степановым.

На очереди памятные знаки работы ряда одесских скульпторов, связанные с пребыванием в Одессе Александра Сергеевича Пушкина. Так будет начинаться отныне каждый турнир поэтов «пушкинской осенью».

И все это инвестиции в Одессу, в ее культуру, лепта в копилку будущего.



Ольга Ильницкая

Фестивальные игры в бисер

Фестивали – вообще дело хорошее. Полезное. Нужное. А отношение к ним – разное. Очень разное, не всегда однозначное. Но отношение к своему любимому фестивалю – нежное, и даже если ворчливое (а как иначе, критические функции ни у кого не нарушены, хочется думать!), то всегда добродушное. Потому что то, что мы любим, не вне критики, но в сфере критики пристрастной, то есть креативной и «полезной для пользы» своего фестиваля. На том и стоит фестивальный народ. Есть другие мнения? Они приветствуются, кто же отказывается от диалога?!

Фестиваль фестивалю – не друг, не сват и не брат. А почему? Задачи всех фестивалей – привносить праздник в процесс трудовой, трубить в фанфары, бить в барабаны, сиять бенгальскими огнями и предъявлять миру лучшее, что сделано цехом литераторов, – в своей сфере деятельности и в своем времени, на которое смотрит вечность прищуром классиков. И читательские вдумчивые или вовсе не, а только потребительские глаза.

О читателях говорить будем, но позже. Пока же читатель сидит в зале, развесив уши, и пережевывает происходящее пред его читательскими очами, шушукаясь о писателях. Писатели выпекают литературные «пирожки с котятами», поскольку каждый пишущий имеет своего «кота в мешке», но и другая начинка им тоже ведома – та, что удовлетворяет вкусам государственной поваренной комиссии. О комиссии я распространяться не буду, она мне не очень интересна. Больше меня интересуют пирожки, потом пекущие их и только потом поваренные книги с круглой печатью – «залитовано»! Читатели интересуют особо и отдельно.



Что меня не интересует в фестивалях, так это точно – шортлисты и то, как к ним добираются участники фестивалей. Все эти очки, плюсы и минусы, мнения жюри, сводные голосования, тайные и явные обсуждения: кого, куда и на какое место продвигать. Места меня интересуют с единственной стороны: есть или нет денежный эквивалент написанному как заработанный гонорар, окупающий отсутствие гонораров, – и как правило, и в принципе. Что хоть кто-то получает свои нобелевские и прочие премии в этих литературных скачках. Которых, по моему сугубо «собачьему мнению», быть не должно вовсе!

Потому что литературой заниматься – это вам не в спортивных залах мышцы тренировать, и фестивали литературные – это не олимпийские игры по установленной спорткомитетом системе оценок. Я вообще оценок не понимаю, когда разговор заходит о литературе, и… – ну да, хватаюсь за пистолет, именно. А следует раскрывать книгу и журнальные публикации участника фестиваля, критику смотреть, то есть определять уровень участника по уже известному результату, по которому и приглашать (принимать заявки) участников.

Так вот, на моем любимом Международном литературном фестивале, имевшем быть в Одессе и посвященном в том числе

и творчеству замечательной ясности языка писателю Исааку Бабелю, и всей южнорусской школе короткой и не очень прозы, всех этих не нравящихся мне инфантильностей не было. А было знание организаторами литературного времени и имен, временем проверенных.

То есть этот фестиваль был и с бенгальскими огнями начинающих литераторов, что свято, как всякое детство, особенно интересующее нас детство слова, и с фейерверками по-взрослому, когда состоявшиеся писатели показывали свое мастерство, понимая, что смущение уже там, где счастье юности и молодости. Но здесь и сейчас в фестивальном зале – зрелость и понимание того, что сделано, что есть, будет или уже не будет никогда. А после наступившего «никогда» проявится замечательно важное для культуры «когда», как появляются однажды мемориальные доски на продолжающих жить домах, хотя… отдельно взятый за шиворот жилец уже, задрав штаны, бежит безоглядно на оставшееся меньшинство – к поджидающему ушедшему большинству. Это, читатели, Вечность призвала своего новобранца. Писателя.

Вот теперь – о читателе. Том, кому мнение высказывать, перетирая в кулуарах, и набираться материала для манипуляций мнениями в читальных залах, в уединении санаторной тишины – где ни присядешь с книгой, там и пища для души… Равно как – где рот писатель ни откроет, там и рабочее место его. Запомни это, читатель!

Тебе, читающий, – санаторий. Ему, говорящему белому листу свои тексты, – работа. И этим читатель и писатель навсегда отделены друг от друга. Потому что не дано соединить лед и пламень, но и никогда не известно, кто в какой момент чтения ли, письма ли – лед или пламень. Это процесс единый – горения и заледенения, а еще есть процесс таяния… О, эти процессы и есть то, о чем следует порассуждать всерьез, раздумывая о писателе и читателе. Фестивали оказываются в этом процессе совсем не лишней составляющей.

На Международном литературном фестивале, осуществленном совместно усилиями российского журнала «Октябрь» и Одесским литературным музеем, примечательным было продуманное отсутствие спортивно-состязательного момента. Соревно-

вание развивает азарт и болезненные амбиции, но что хорошо для формирования спортивной злости олимпийца, то смерть для литератора.

Организаторы фестиваля учитывают, что пишущий народ остро нуждается в обратной связи с народом читающим. В том числе и поэтому создаются поля для литературной игры – «Игры в бисер» – для всех, кто слышит. И не зря страшным сном, рефреном всех без исключения, больших и маленьких литературных фестивалей стали жуткие своей ясностью формулировки строчки Андрея Вознесенского: «О, эти унылые уши окололитературных евнухов... В стихах есть та особенность, что они, как увеличительное стекло, усиливают чувства слушателей. Если нечего усиливать, поэзия бессильна!».

Международный литературный фестиваль московского «Октября» и Одесского литературного музея показал возможность интеллектуального и чувственно-озаренного праздника в жестком рабочем процессе литераторов России и Украины. Фестиваль умело вписан организаторами во всеобщее мировое литературное поле, где труд и качество Слова оплачены судьбами и жизнями писателей, думающих, говорящих и пишущих на великом и прекрасном русском языке.



Феликс Кохрихт

Бабели и Кохрихты

Все Кохрихты – родственники. Однофамильцев нет. Во всяком случае, мне не встречались. Судя по всему, такое же положение дел и в роду Бабелей. Предвижу, что уже начало этих заметок смутит читателей. И в самом деле: что за аналогия? Великий писатель и… На месте этого многоточия – мой рассказ.

Наши одесские семьи принадлежали одному времени, одному сословию, одной конфессии. Они были, как нынче выражаются, одного круга.

Родословная Исаака Бабеля известна почитателям его таланта, напомню лишь, что с 1907 года семья жила в доме, построенном в начале XX века на углу Ришельевской и Жуковского. Здесь же Эммануил Исаакович Бабель держал и свою контору, где занимался продажей сельхозмашин иностранного производства.

Мой прадед, Исаак Яковлевич Кохрихт, владелец ювелирных магазинов, был купцом первой гильдии. Его большая семья жила в доме Вагнера на Дерибасовской. Главные магазины размещались там, где в наше время было знаменитое кафе «Алые паруса», и в «Пассаже».

Наши предки вполне могли встречаться, а быть может, и познакомились, скажем, в 1910-11-м годах на грандиозной выставке в Александровском парке, где демонстрировали свои достижения промышленники, коммерсанты, деловые люди Юга России. У меня хранится репродукция со старой фотографии: реклама магазинов Кохрихтов у самой арки перед входом на Ланжерон, но может быть, что и плуги фирмы Мельгозе, которые продавал Бабель-старший, находились в соседнем павильоне…

Еще одна точка соприкосновения – благотворительные аукционы, сбор средств, к примеру, на Еврейскую больницу, на создание учебных заведений, в поддержку нуждающихся. Фамилии родичей я видел среди жертвователей, а знаток Одессы Олег Губарь нашел имя моего прадеда среди тех, кто внес деньги на памятник Пушкину на Приморском бульваре…

И наконец, наши семьи могли встречаться в синагоге, что в Базарном переулке, где Исаак Яковлевич был старостой… О том, что он давал внушительные суммы на покупку участков в Палестине для тех, кто мечтал поселиться на Земле обетованной, я узнал совсем недавно в Израиле.

Мой отец и Исаак Бабель – почти ровесники. Будущий писатель родился в 1894 году, а Давид Кохрихт – в 1898-м. Любопытно, что со временем он прибавил себе эти четыре года разницы, чтобы иметь возможность записаться добровольцем на первую мировую войну, и в его наградных документах значилось: год рождения – 1894-й. Кавалер двух Георгиев, имеющий несколько медалей, вольноопределяющийся унтер-офицер – был ранен, и в московском госпитале на Воробьевых горах его, наследника крупного состояния, вчистую распропагандировали большевики…

Как известно, и выходец из буржуазной семьи Исаак Бабель симпатизировал идеям всеобщих равенства и братства, служил в Конармии и мог по долгу службы встречаться с замначальника Бульварного района Красной одесской милиции Давидом Кохрихтом… Отец рассказывал мне, как в 20-е годы «брал» колоритных бандитов – вылитых героев будущих рассказов Бабеля. Он знал Михаила Винницкого – Мишку Япончика, и не считал его прототипом Бени Крика.

В середине тридцатых годов друзья из ГПУ посоветовали отцу (учитывая его классовое происхождение и царские боевые кресты) потихоньку покинуть ряды милиции. И он, уже имея в петлицах два рубиновых ромба (почти генерал), так и сделал. И переквалифицировался в управдомы, что сделало Остапа Бендера его любимым литературным персонажем. И опера угрозыска Евгения Катаева (будущего Петрова, соавтора Ильфа) он тоже знал…

Перед войной от второго отцовского (позднего) брака с Софьей Ставницер (еще одна известная одесская семья) родился я.

23 июня 1941 года ветеран первой мировой Д.И. Кохрихт и мой старший сводный брат Аба, вчерашний десятиклассник, пошли в военкомат. На Великой Отечественной они уцелели, но после нее отцу довелось пережить сына…

За несколько лет до войны у Исаака Бабеля и Антонины Пирожковой родилась дочь Лидия. Ее вырастила мать, отца арестовали и в 1940 году расстреляли…

Впервые я задумался о сходстве судеб наших семей в дни, когда по мере сил участвовал в работе по установлению памятника Исааку Бабелю. На международном фестивале, посвященном одесской литературной школе, познакомился с внуком Бабеля Андреем, а через несколько дней он, актер и режиссер, читал рассказы своего деда в Одесской филармонии.

И тут я подумал: «Вот где наверняка встречались наши предки!». Здание это спроектировал архитектор Бернардацци, оно изначально предназначалось под биржу, и в большом зале (ныне концертном) в начале XX века совершались масштабные и доверительные сделки, сулившие выгоду и ювелирам, и торговцам сельхозмашинами, и банкирам, и судоходным компаниям, а Одессе – процветание.

И как раз в этот момент Андрей Бабель приступил к рассказу «Ди Грассо», моему любимому, где есть дивные строки о нашем городе, об Оперном театре, об уходящих ввысь колоннах Думы, об освещенной листве на бульваре, о бронзовой голове Пушкина с неярким отблеском луны на ней…

P. S. А еще у семьи Кохрихт было много общего с Мильгромами – персонажами повести Владимира Жаботинского «Пятеро». Но это – уже другая история.

Евгения Красноярова

Против часовой стрелки…

Пять дней – с 9 по 13 июля – по инициативе Одесского литературного музея и московского литературного журнала «Октябрь» проходил в нашем городе Одесский международный литературный фестиваль. Семь лет назад в рамках фестиваля «Шелковый путь поэзии» главный редактор «Октября» Ирина Барметова посетила Одессу, и как результат знакомства и общения с местной литературой вышел в свет одесский номер журнала «Октябрь».

Новый фестиваль стал большим событием в городе – именитые гости, программа, вместившая в себя более сорока мероприятий, дискуссии, литературные чтения. «Литературной диверсией» назвал приезд знаменитых литераторов в Южную Пальмиру писатель Вячеслав Пьецух: «Я очень рад участвовать в этой доброй диверсии против Украины. Мы, собственно говоря, и в России диверсанты против своего собственного народа, потому что народа-то практически и не осталось, и нормальные писатели существуют в своей собственной стране, а тем более в таком прекрасном анклаве нашей национальной культуры, как Одесса, на положении городских сумасшедших. Мы с этим давно смирились, но поскольку мы все-таки сумасшедшие, то мы продолжаем гнуть свою линию и на Родине, и на выезде. Мы живем и работаем против часовой стрелки. Уж не знаю, чем это все обернется и во что это выльется, но мы свою линию гнуть не перестанем, и очень рассчитываем на поддержку, сочувствие и любовь к величайшей из литературных культур мира – к русской литературе». В любви к нашему городу признался гость фестиваля Валерий Попов: «Одесса для нас город счастья, город Ильфа, Петрова, Онегина, город наших романов и любовей, поэтому то, что возвращается Одесса

к нам, что два крайних города – Петербург и Одесса – снова вместе, это для меня самое главное», – сказал он на открытии фестиваля в Литературном музее. И поэт Юрий Кублановский, говоря о месте проведения столь масштабного мероприятия, отметил: «Где, как не здесь?».

Фестиваль ждали, и когда он начался, придирчиво сравнивали его с другими, имевшими место в Одессе. Организаторы заведомо не присваивали фестивалю никаких других «опознавательных знаков», кроме прилагательного «одесский», не связывали его с литературными персоналиями. Предполагается, что проводимый раз в два года фестиваль будет посвящен творчеству какого-нибудь одного знаменитого писателя – выходца из Одессы. В этом году фестиваль прошел «под знаком» Исаака Бабеля. Имя «певца Молдаванки», поставленное во главу угла внушительного съезда знаменитостей литературной жизни, искренне порадовало одних, других же, так называемых борцов за разрушение «бабелевского мифа», возмутило не на шутку. «Повернул ли Исаак Бабель колесо судьбы города? Можно ли сказать, что Бабель для Одессы – это Гоголь для Петербурга, Булгаков для Киева, Джойс для Дублина?» – такими вопросами участники фестиваля задавались в первый день на круглом столе под названием «Одесса – множественное число. Город, который построил Исаак». Почему «множественное число», объяснила Ирина Барметова: «Потому что Одесса – это все мы, все те, кто живет не в Одессе и кто живет в Одессе, кого объединяет наш язык». Бабелевская часть фестиваля включила в себя также презентацию переизданий Исаака Бабеля и книг о самом писателе, изданных в Одессе при участии Всемирного клуба одесситов, демонстрацию документального фильма «Роковой треугольник. Исаак Бабель» (2006), снятого по сценарию Александра Громова режиссером Виктором Кукушкиным, и фильма-спектакля ташкентского театра «Ильхом» по рассказам Бабеля. С интересом был встречен и моноспектакль «Как это делалось в Одессе» Андрея Малаева-Бабеля – актера, преподавателя Университета штата Флорида, внука легендарного писателя. На творческой встрече он поделился опытом работы над текстами Исаака Бабеля для театра. В Одессу внук писателя приехал со съемочной группой – он ра-

ботает над документальным фильмом, посвященным дедуклассику, его нелегкой судьбе.

Нужно сказать, что несмотря ни на какие «бабелевские мифы», в Одессе Исаака Эммануиловича любят не меньше, чем за многочисленными «одесскими» границами. Уже назначена дата открытия памятника Бабелю. Энтузиасты создают пусть небольшой, но музей – в доме, где жил писатель в 1920-е годы, – доходном доме Райха, возведенном по проекту архитектора С.С. Гальперсона. Именно напротив дома Райха, через дорогу, и установят памятник, автором которого стал скульптор Г. Франгулян.

Бабеля часто вспоминают и писатели. На открытии фестиваля писатель и поэт Ольга Ильницкая сказала так: «Мне очень хочется заглянуть в сумочки всех присутствующих в зале – одесском, московском, петербургском и всех прочих залах мира, где происходят литературные вечера, потому что Бабель говорил, что он бы двадцать пять рублей отдал, догнав женщину, у которой в руках была сумочка, только для того, чтобы посмотреть, что в этой сумочке лежит. Мы не знаем, догнал он ее или нет, но меня это озадачило и влюбило в Бабеля на всю жизнь. Я очень хочу заглянуть в сумочки литераторов и посмотреть, что там лежит, и чтобы такие фестивали, как этот одесский, вытаскивали материал из сумочек и делали его достоянием читателя».

Продолжением бабелевской темы стал круглый стол под названием «Миф или реальность юго-западной школы». О юго-западной, или одесской литературной школе, заговорили после статьи Виктора Шкловского «Юго-Запад», опубликованной в далеком 1933 году на страницах «Литературной газеты». Сравнив одесских писателей – Юрия Олешу, Валентина Катаева, Эдуарда Багрицкого, Илью Ильфа и Евгения Петрова, Исаака Бабеля, Льва Славина – с эллинскими поэтами, которые жили в египетской Александрии, Виктор Шкловский пытался найти обобщающие творчество одесситов черты, положив начало без малого восьмидесятилетней дискуссии.

Предвосхитив фестивальную полемику, писатель Вадим Ярмолинец в своем исследовании «Одесский узел Шкловского», опубликованном в 1 и 2 номерах журнала «Волга» в прошлом году, утверждает следующее: «Начав в 1933-м году разговор

об одесской школе, Шкловский попытался найти полудюжине очень разных писателей с Юга России литературных родственников за границей, что не встретило понимания у его литературного начальства. Попытка искать их корни на одесской почве была бы обречена в то время на такой же провал. Дискуссия завершилась полной победой оппонентов Шкловского. Они попросту разрубили завязанный Шкловским литературоведческий узел. Но Одесса продолжала давать русской литературе интересных авторов, а постсоветские исследователи начали возвращать забытых. И по мере того как список этих литераторов растет, разговор о школе перестает казаться надуманным. Если в 30-х оснований для описания школы было недостаточно, то они могли появиться позже. Чтобы установить это, следует выработать систему четких художественных ориентиров. Каких? Ответ будет получен лишь после включения в одесский дискурс литераторов, предшествовавших тем, которых назвал Шкловский, а также пишущих в Одессе или об Одессе сегодня. В противном случае попытки создания одесской школы не выйдут за рамки столь же похвального, сколь и бесполезного, с литературоведческой точки зрения, процесса подпитки так называемого одесского мифа, главной составной которого является литература об Одессе».

Что ж, во многом приходится согласиться, хотя до сих пор души одесситов заставляет волноваться ставший знаменитым возглас Сергея Нельдихена: «Помилуйте! Русская литература существовала до двадцать третьего года, а потом пошли сплошные одесситы!». На самом же фестивале поэт Юрий Кублановский высказался все-таки «за» реальность юго-западной традиции: «Потому что одесская литературная школа формировала целое поколение, мое, например. Выходцы из Одессы, так получилось исторически, противостояли рутине соцреализма, даже такой, советский, казалось бы, писатель, как Валентин Катаев, все-таки в своей стилистике был далек от соцреализма. Это, конечно, целое самостоятельное течение». За школу и одесский журналист, автор книги «По следам «Юго-Запада» Елена Каракина: «Одесса дала ряд писательских имен, как громких, так и не очень, которые можно объединить не только тем, что они земляки, современни-

ки и таланты. Можно обозначить то, что их объединяет модным, но, тем не менее, точным словом «менталитет».

Вспоминали на фестивале и других, «не одесских» классиков русской литературы. Показ документального фильма об Анне Ахматовой (2008) режиссера Хельги Ландауэр стал одним из знаковых событий фестиваля. Он построен как монолог поэта Анатолия Наймана, с большого экрана рассказывающего о своих встречах с Анной Андреевной. В фильме уникальные фото- и видеоматериалы, кадры хроники, аудиозаписи, автографы. С нашим городом Ахматова связана напрямую – она родилась в Одессе на 11-й станции Большого Фонтана 23 июня 1889 года, и крестили ее тоже в Одессе – в кафедральном Преображенском соборе на Соборной площади. В августе 1890 года ее семья покинула южный город. Еще несколько раз, в 1904, 1906, 1909 годах Анна Ахматова посещала Одессу, останавливалась у Аспазии Горенко, сестры отца. Именно в Одессе в 1909 она согласилась стать женой Николая Гумилева.

Юбилейной дате – 100-летию со дня рождения писателя Виктора Некрасова, участника Сталинградской битвы и самого молодого лауреата Сталинской премии (за повесть «В окопах Сталинграда» в 1947 году), диссидента и эмигранта, был посвящен документальный фильм «Вся жизнь в окопах» (2010), представленный режиссером Еленой Якович. Весной 1944 года Виктор Некрасов участвовал в освобождении Одессы от фашистских захватчиков и написал об этом небольшой очерк, который впервые был опубликован в Одессе в альманахе «Дерибасовская – Ришельевская» в 2005 году. «В то солнечное весеннее утро, – пишет Виктор Некрасов, – я вступил на Дерибасовскую и Ришельевскую не в первый раз. Бывал в Одессе и раньше. Относился к ней, как истый киевлянин, естественно, с определенным предубеждением. Киев и Одесса спокон веков если и не враждовали, то соперничали. Каждый считал себя выше другого. «У нас море! – хвастались одесситы. – Лучшее в мире Черное море!» – «А у нас Днепр, – парировали киевляне, – воспетый еще Гоголем, с лучшим в мире речным пляжем. А Крещатик? Чего стоит один Крещатик?» – «Хаха, – переглядывались одесситы, – Крещатик… А вы были когданибудь на Дерибасовской? Нет? Тогда молчите… А наш Оперный



театр? Второй в мире после венского. А? А Бабель, Багрицкий, Ильф и Петров – все они одесситы…» – «И Паустовский и Булгаков тоже одесситы? – иронизировали киевляне. – И вообще, мы мать городов русских…» Споры эти продолжаются до сих пор, хотя Одесса потеряла свой вольный, бени-криковский, остап-бендеровский дух, а Киев, став столицей, во многом обогнал провинциальную Одессу». После демонстрации фильма о писателе рассказали Юрий Кублановский и Ирина Барметова. Был показан также документальный фильм «Жизнь нелегка… Ваш Сергей Довлатов». Валерий Попов, автор книги о Довлатове, вышедшей в серии ЖЗЛ в 2010 году, вспоминал о своей дружбе с писателем, рассказывал о нем.

Но не только о классиках шел разговор на фестивале. Конечно, слово было предоставлено и современникам. Состоялись творческие встречи с писателями Вячеславом Пьецухом, Дмитрием Быковым, Дмитрием Глуховским, поэтами Юрием Кублановским и Владимиром Салимоном.

Всемирный клуб одесситов представил выходящий в свет с 2000 года альманах «Дерибасовская – Ришельевская». На своих страницах он публикует не только одесситов, но и тех, кто так

или иначе связан с Одессой, любит этот город, пишет о нем. Сорок пятый номер «Дерибасовской» включил в себя произведения участников фестиваля – прозу и поэзию, краеведческие материалы, изыскания, связанные с одесским периодом жизни Бабеля. Сотрудники Одесского литературного музея рассказали о шестом выпуске сборника научных статей и публикаций «Дом князя Гагарина», о новых исследованиях, об уникальных поступлениях в фонды музея.

Журнал «Октябрь» представила главный его редактор Ирина Барметова. Являясь одним из самых известных литературно-художественных российских «толстых» журналов (а он издается с 1924 года), «Октябрь» продолжает публиковать на своих страницах достойных широкого внимания авторов, выступает организатором фестивалей и культурных акций.

Мастерскую под названием «Драматургия и сценические реальности» вел Резо Габриадзе – писатель, режиссер, один из соавторов кинолент, ставших культовыми, – «Не горюй», «Мимино», «Кин-дза-дза»… Мастерские по поэзии вели Юрий Кубланов-ский и Владимир Салимон, по прозе – Валерий Попов. Многие решили «вкусить» от опыта и мудрости известных литераторов, в основном, те, кто сам пишет.

У Владимира Салимона говорили больше не о душевном опыте, а о назначении поэта. «Я не думаю, что прогресс научно-технический имеет хоть какое-то отношение к культурной эволюции. Эволюция культурная длится значительно дольше, – сказал В. Салимон, – и не надо спешить сбрасывать Пушкина с парохода современности». Показательно, что слова эти прозвучали именно в музее-квартире А.С. Пушкина на Пушкинской улице, 13, в Одессе – именно здесь проходила встреча с поэтом. Поэзия Владимира Салимона, доселе среди одесситов не очень известная, нашла свой отклик в сердцах слушателей. Да и сам поэт внимательно слушал одесских поэтов, не столько, несмотря на иронический склад ума, разнося стихи в пух и прах, сколько предлагая свои варианты решения тех или иных проблем формы и содержания.

Прозаик и сценарист Валерий Попов, президент Петербургского отделения Русского ПЕН-клуба, член редколлегии журна-

лов «Звезда» и «Аврора», предварительно ознакомившись с текстами одесситов, каждому уделил время и подверг рассказы как начинающих, так и состоявшихся наших земляков критическому разбору. Писатель говорил не только о сюжетах и стилистических приемах, но и об отношении к жизни, которое является для писателя основополагающим: «Когда писатель долго пишет, то жизнь начинает работать на него. Жизнь на самом деле очень весела и интересна, просто все зависит от писателя. Вот недавно я из поселка Комарово ехал. Такой был горестный день, похороны близкого человека… Я бежал на платформу, чтоб ехать в город, опаздывал... Думаю – нет, не успею купить билет. Платформа пуста, только впереди стоит молодая пара, очень красивая, обнимаются, целуются. Подходит электричка, солнце выходит из-за туч, и эти красавцы разнимают объятия и оказываются кем – как вы думаете? – контролерами, у обоих бляхи на груди. Я рассмеялся, и жизнь уже казалась не такой неудачной. Есть о чем писать, есть чем жить».

Интересно прошла и творческая мастерская Юрия Кублановского. На сегодня он является одним из самых ярких лирических поэтов, по оценке Иосифа Бродского, поэзия Кублановского стала «событием чрезвычайно значительным» в русской литературе. Стихи пятнадцатилетнего поэта Кублановского получили одобрение Андрея Вознесенского. Через два года он перебрался в Москву, поступил в университет, стал одним из основателей литобъединения «Смелость, Мысль, Образ, Глубина» (СМОГ), которое по причине пристального внимания со стороны властей долго не просуществовало. В 1966 году Кублановский познакомился с Иосифом Бродским, в 1970 году закончил университет и уехал работать экскурсоводом в недавно организованный на Соловках музей – зимовал в той самой келье, где в 1930-е годы отбывал срок заключения «враг народа» академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. В середине 1970-х поэт стал духовным сыном Александра Меня. А в 1975 году, по собственному определению, совершил Поступок. «Я считал, – рассказывал Юрий Михайлович, – что каждый мужчина, поэт тем более, должен совершить в жизни хоть один – но поступок, что называется, с прописной буквы. И я совершил этот поступок – написал письмо «Ко всем нам» – на

двухлетие высылки Солженицына. Оно широко пошло в Самиздате, попало на Запад, его радиостанция «Свобода» цитировала, и после этого я, собственно, не мог работать по основной профессии, в общем – деклассировался и работал уже вплоть до самой эмиграции – осенью 1982 года – сторожем, дворником, истопником, как и многие тогдашние инакомыслящие». Первый сборник стихотворений Юрия Кублановского «Избранное» был составлен Иосифом Бродским и вышел в издательстве «Ардис» в 1981 году.

Общение с одним из авторов легендарного альманаха «Метрополь», возможность прочесть ему свои стихи – одно из впечатлений, которые сделали этот фестиваль уникальным для одесситов, по крайней мере, для тех, кто связал свою жизнь с поэзией, с литературой.

В рамках фестиваля прошел и вечер короткого рассказа, на котором писателям не только читали свои произведения, но и обсуждали судьбу жанра в наш «век скоростей» и Интернета. Беседа об искусстве перевода, прошедшая при участии профессора Римского университета Клаудии Скандура, была посвящена проблемам воплощения поэтического текста в других языках. Об изменении менталитета читателя дискутировали на круглом столе «Будущее без литературы, литература без будущего». В галерее Литературного музея открылась выставка графики академика Российской академии художеств Татьяны Назаренко.

Поэтам-одесситам для выступлений были предоставлены три площадки: галерея Художественного музея, музей-квартира К.Г. Паустовского и Сад скульптур Литературного музея. Первый вечер, «Москва – Одесса, далее везде», в своем названии, казалось, заключал магическую формулу успеха – вырваться из Одессы, по примеру «александрийцев», попасть в Москву, удержаться там… Но – качество стихотворений прежде всего. На вечере выступили члены Одесской организации КЛУ и Южнорусского союза писателей Илья Рейдерман, Ефим Ярошевский, Галина Маркелова, Марк Эпштейн, Анна Стреминская, Ольга Ильницкая, Сергей Главацкий, а также Тина Арсеньева и Ирина Беньковская. И те, кто в силу различных причин Одессу покинул, и те, кто несмотря ни на что остался здесь – показались связанными «одной цепью», наверное, по Елене Каракиной, «менталитетом».

Еще один вечер был отдан в безраздельное пользование одесской молодежи. «Молодая поэзия Одессы» звучала уверенно и цельно. Имена авторов Южнорусского союза писателей Юлии Петрусевичюте, Сергея Нежинского, думаем, литературной Одессе представлять не нужно. Свежо и ярко прозвучали стихи Полины Тараненко и Владиславы Ильинской, действительно «молодо», не теряя при этом ни мудрости, ни гражданского пафоса.

Предпоследним мероприятием фестиваля стал так называемый «свободный микрофон» – поэтические чтения прошли в уютном зеленом Саду скульптур Литмузея. И снова – авторы Южнорусского союза писателей – Александр Хинт, Людмила Шарга, Ирина Василенко, Валерий Сухарев, Олег Дрямин, Елена Миленти, Владимир Кац – у свободного микрофона чувствовали себя свободно. И снова – захотелось вернуться к первому дню фестиваля и говорить о «Юго-Западе», об одесской школе – настолько сильно и стильно звучали стихи одесситов, настолько цельно, что новому Виктору Шкловскому, если таковой, конечно, есть, – не мешало бы обратить на них внимание.

Закончился фестиваль возле дома Бабеля (того самого, доходного, на Ришельевской улице) и в самом доме, в помещениях будущего музея. Фестивальная «толпа» осадила вход в парадное, через которое проходил некогда Исаак Эммануилович в свое жилище. И тут какой-то одессит, которому пришлось обходить по проезжей части «большое собрание», – об этом чуть позже рассказала Ольга Ильницкая, – подошел к группе литераторов и спросил: «И что это тут за холоймис?». Жаль, не слышал Бабель.

Юрий Кублановский

Верю Одессе

Я не был в Одессе пятнадцать лет. Помнится, ходил тогда по городу, едва не касаясь затылком желто-блакитных полотнищ, низко и часто натыканных на каждом шагу, и от этого было, мягко скажем, как-то не по себе. Пушкинская Одесса, *европейский* город, заложенный и отстроенный именно как таковой дюком Ришелье и графом Воронцовым, никак не соответствовал такой истовой самостийности.

Эта «жемчужина у моря» – сама по себе и в своем футляре.

И как я рад был убедиться, что Одесса-мама сумела за себя постоять и, ничуть не теряя ни в своем еврействе, ни в русскости и украинстве, остаться самой собой.

Рискну сказать, что в культурном отношении Одесса и по сей день остается частью Большой России. И именно – в своей *самобытности*. Я убедился в этом и на многих встречах с одесскими литераторами и читателями, и просто в повседневном общении, и на церковной службе, и на православной ярмарке, и на премьере бородинского «Князя Игоря» в несравненном Одесском театре оперы. Там я лишний раз поразился, как такое произведение могло родиться в глухие «чернышевские» 60-е годы XIX столетия.

К сожалению, открытие памятника Бабелю, деньги на который в Одессе собирали всем миром, перенесено на осень. И мы, и наш фестиваль оказались вне этого знаменательного события.

Но, вернувшись к себе в Переделкино, я первым делом перечитал следственные материалы по Бабелю в книге В. Шаталинского «Рабы свободы». И вздрогнул: Бабеля-то забрали именно из Переделкина 16 мая 1939 года. Он прошел через Сухановскую тюрьму, то есть через самые тяжелые пытки. И тем не менее, на-

шел в себе силы отказаться от выдавленных издевательствами показаний, обеспечив себе расстрел.

...Закрываю глаза и вспоминаю Одессу. В третий раз я в ней «по жизни», и с третьего раза чувствую: *полюбил* (а до того только лишь восхищался).

Конечно, мы – благодаря превосходной организации – жили в условиях привилегированных и могли позволить себе то, что рядовому одесситу, очевидно, не по карману: и такси, и с кондиционером номер, и ресторан. Кстати, в одесских кафе и ресторанах официанты первыми вступают в непринужденный разговор с клиентом, дают обстоятельные советы, не дожидаясь, когда их о чем-то спросят. Вначале это шокирует и кажется диковатым, но вскоре начинает восприниматься как чудаковатая и трогательная традиция. Но, конечно, суть дела не в комфортности условий.

Не забыть пешие прогулки по городу, ночью и впрямь оперную луну над Оперой с классицистическими лестничными маршами по бокам и платаны, которым позавидуют и парижские!.. Да еще и колоритные трущобы Молдаванки в придачу.

У одесситов есть воля к достойной жизни, хорошая жадность к хорошей литературе.

Как говорится, *вместе мы победим*. Победим культурную энтропию, политическую бессовестность и сердечное измельчание. Я вам не скажу за всю Одессу. Но скажу за ту, которая приходила на наши встречи. Вот с таким обнадеживающим чувством я и уезжал из Одессы. Спасибо за это ей.



Олег Кудрин

Два мифа и один человек

Как трактовать «Конармию»? А как угодно: от героической симфонии до трагедии. Бабель создает провизорски равновесную структуру, где все виноваты и все невиновны, все правы и все неправы. И в этом смысле «Конармия» внеэтична, скорее даже надэтична, в полном соответствии с ницшевским «жизнь выше морали». Этика «Конармии» (а по большому счету и всего творчества писателя) – это ее эстетика. А с эстетической точки зрения бабелевские новеллы совершенны. Его текст бьет по сознанию так мощно, потому что в нем всегда два полюса. Натурализм, доходящий до жестокости. И лиричность, доходящая до сентиментальности.

В конце 30-х Хорхе Луис Борхес написал серию биографических эссе. Среди них и «Исаак Бабель». В русской традиции относиться к этому тексту с иронией. В нем ужасно много благоглупостей, основанных на стереотипах, иногда – простого незнания, непонимания. «Он родился среди кривых катакомб Одессы». «Катастрофа была для него привычной средой. В ненадежных перерывах между погромами он научился не только читать и писать, но и преклоняться перед литературой, ценить Мопассана, Флобера и Рабле». «Все, на что он мог рассчитывать, было знакомство с официантом, прятавшим его у себя дома, литовский акцент, благоприобретенный в Севастополе, и поддельный паспорт». Однако и сквозь искажения, как через помехи, проскальзывают искры чистого и глубокого смысла. Таково, например, указание на французский «акцент» в творчестве Бабеля, появившийся благодаря любви к Мопассану.

Финал эссе поразительно точен и глубок: «Музыка его стиля (слога) контрастирует (сталкивается) с почти невыразимой (невыносимой) жестокостью некоторых сцен. Одна из историй, «Соль», пользуется славой, присущей, казалось бы, только стихам и редко достигаемой прозой: многие знают ее наизусть». Великий аргентинец констатирует тот же прием, что нами уже рассмотрен. И подтверждает смешение этики и эстетики, точнее, подмену этики эстетикой. А также выводит на важнейшую во всех смыслах новеллу «Соль». Именно в ней соль не только «Конармии», но и всего творчества Бабеля.

Это история молодой женщины, торговки, «спекулянтки», которая везет мешок с солью под видом младенца. Сюжет, начинающийся как плутовской (в соответствии с принципами, которые Виктор Шкловский сформулировал в «Юго-Западе», заканчивается… трагически или драматически? Это зависит уже от позиции читателя. Для того, кто придерживается гуманистических взглядов, – трагически. Женщину, разоблаченную казаком Никитой Балмашевым, на ходу выбрасывают из поезда, и Балмашев убивает ее выстрелом из ружья. «Это всего лишь драма с элементом морализаторства» для сторонников «пролетарского гуманизма», которые считают, что «революция все спишет». Как сетовал советский драматург Александр Гладков: «И это ж надо было убедить людей, что торговать стыдно, а расстреливать – не стыдно».

В воспоминаниях о Бабеле часто упоминается его фразочка: «Он один… Она одна… Одно это… оправдание всей нашей революции. Если бы она, святая, нуждалась в оправдании». Очень важные слова, остро пахнущие тем временем. Большевики устранили Бога, поставив на его место Революцию. Но такая замена немедленно ставила вопрос оправдания революции, ее теодицеи.

Еще на заре советской власти, в ноябре 1917 года, Луначарский страшно радовался, придавая смысл Сретения приветственным стихам одного подзабытого литератора. Но кто же, по Луначарскому, был новорожденным мессией? Сверхчеловек, приходящий, по Ницше, на смену Христу. И уточнение наркома: «Самый близкий к сверхчеловеку тип создается

в России – это большевик». Позже, в 1924 году, Луначарский самочинно скрестил Маркса с Ницше: «Все люди, как выражался Маркс, живут в истории человечества, они – полулюди, дробь человека. Мы только мечтаем о настоящем человеке, и лишь кое-кому, главным образом, из революционеров, удается приблизиться к истинному человеческому облику». (Важно отметить, высказывание Маркса заканчивается на словах «в истории человечества», а дальше уже – чистый ницшеанец Луначарский. И вот ведь незадача: «сверхчеловека» он избежал, но тут же получил «недочеловека» – «полулюди, дробь человека».)

Троцкий, раскритиковав в ранней статье «Кое-что о философии сверхчеловека» (1900) выросшее на «гнилой, злокачественной, зараженной» почве ницшеанство, в изданной в начале 20-х книге «Литература и революция» уже практически дословно повторял ницшеанско-вагнерианский тезис: «Развитие искусства представляет собой самый важный тест на жизнеспособность и значение любой эпохи». Это есть эстетическое оправдание этически небезупречной революции. Похожих взглядов придерживались редактор «Нового мира» Вячеслав Полонский и редактор «Красной нови» Александр Воронский, благоволившие автору «Конармии».

Произведения Бабеля идеально вписывались в ницшеанскую схему оправдания революции. Эта интереснейшая тема подробно рассмотрена в работе Григория Фрейдина (Стэнфордский университет), пожалуй, лучшего на сегодня бабелеведа, «Революция как эстетический феномен: ницшеанские очки на носу и осень в сердце русских читателей Исаака Бабеля (1923–1932)». Однако трагедия Бабеля заключалась в том, что после 1932 года Сталин сменил ницшеанскую теодицею революции, негуманную, но правдивую, макиавеллиевской – циничной, лживой, однако очень эффективной. Прежде всего, взамен «абстрактного гуманизма», то есть собственно гуманизма, был провозглашен так называемый «пролетарский гуманизм». Сила этого утверждения была особенно велика, поскольку прокламировал его уже совершенно прирученный Максим Горький (также один из покровителей Бабеля).

Больно читать его статью «Пролетарский гуманизм»* (1934): «Мир болен», – это утверждают не только большевики, это утверждается и лирически настроенными гуманитариями, которые, наконец, поняли, что «человеколюбие», «милосердие», «великодушие» и прочие чувства, коими двуногие хищники пытались прикрыть волчью свою «натуру», – эти чувства неприменимы в действительности… В наши дни пред властью грозно встал исторически и научно обоснованный, подлинно общечеловеческий, пролетарский гуманизм Маркса-Ленина-Сталина, – гуманизм, цель которого – полное освобождение трудового народа всех рас и наций из железных лап капитала».

Имея в запасе хорошую дубинку в виде максимально широкого определения гуманизма, допускающего пытки, бессудные расстрелы, депортации, Иосиф Виссарионович был не так глуп, чтобы позволить писать (рисовать, снимать) правду об этом гуманизме. И в произведениях искусства, начиная с этого времени, поведение революционеров, большевиков, красноармейцев, как правило, идеально вписывается в рамки именно абстрактного гуманизма, отвергнутого в теории. (А насилуют попутчиц или хвастаются этим как раз пьяные белые офицеры – один из самых банальных советских сюжетных поворотов, этакая архетипическая инверсия.)

Таким образом, сталинское оправдание революции, внутренне абсолютно лживое, внешне чаще всего выглядит гуманистически (что добавляло ему и его режиму симпатий среди западных левых интеллектуалов). Смену парадигмы очень четко зафиксировал Троцкий в статье «Искусство и революция» (1938), писавший: «Октябрьская революция дала великолепный толчок советскому искусству во всех областях (вот он, осколочек старой теодицеи. – **О. К.**). Бюрократическая реакция, наоборот, задушила художественное творчество тоталитарной рукой. Не мудрено! Искусство в основе своей есть функция нервов и требует полной искренности (а это уже просто о Бабеле. – **О. К.**). Даже придворное искусство абсолютной монархии было основано на идеализации,

* Позднее, с «построением реального социализма», этот гуманизм будет переименован в социалистический. Его чуть припудрят и накрасят, упрятав поглубже самые жесткие антигуманистические положения.

но не фальсификации. Между тем официальное искусство Советского Союза – а другого искусства там нет – разделяет судьбу тоталитарной юстиции, то есть лжи и подлога. Цель юстиции, как и искусства, – возвеличение «вождя», искусственная фабрикация героического мифа. Ничего подобного по размаху и бесстыдству еще не видала человеческая история!».

Бабель же с его негуманным, надгуманным, равновесным, «полностью искренним» творчеством в новую схему подложно гуманистической теодицеи абсолютно не вписывался. Максимум правды, которую был готов принять Сталин, это правда «Тихого Дона», столь же страшная, костедробительная, но все же менее равновесная, более позитивная для нового режима. Да и этот роман – реликт вольных 20-х годов, который терпели вынужденно. А в идеале – лживая «Поднятая целина». И совершенно не случайно в письме Кагановичу Сталин четко противопоставил «вертлявому Бабелю», «ничего не знающему» о его родной Конармии, правильного Шолохова, который и станет преемником Бабеля не только в литературном салоне жены Ежова, но и в качестве советского писателя № 1.

В обыденной жизни нравственные рамки Бабеля, совершенно по-ницшеански любившего все дикое, искреннее, необузданное, были весьма широки. Он открыто выказывал небрежение ко многим условностям. Его финансовая необязательность, неверность данному слову, граничила с нечистоплотностью. Незадолго до ареста хладнокровно переехал на переделкинскую дачу Льва Каменева, освободившуюся по понятной причине (а Леонид Леонов, между прочим, отказался). Однако нравственные рамки сужались до игольного ушка, когда речь заходила о творчестве. Тут Бабель не умел врать, не умел писать то, что не чувствует…

Говоря о Бабеле, нельзя не вспомнить «Одесские рассказы». В отличие от универсальной в своем значении «Конармии», их значение – и в русскоязычной среде, и в мировой культуре – куда камернее. И тут вновь обратимся ко второй части эссе Борхеса: «Для славы (не для каталогов) Бабель по сей день – автор одной книги. Эта одинокая книга носит название «Конармия». Вот так! И вообще никакого упоминания об «Одесских рассказах». Они, по Борхесу, только для мировых каталогов.

Для русскоязычного же мира довольно длинная (как для Бабеля), плотно набитая смыслами и оттого трудно читаемая, да еще и жестокая «Конармия» безнадежно уступает в популярности «Одесским рассказам», остро и ярко повествующим о благородных бандитах, изъясняющихся так остроумно и смачно. В 20-30-е годы эти несколько новелл были едва ли не самым большим камнем в фундаменте «одесского мифа». А последующий запрет только добавил им шарма, когда в 50-60-х годах творчество Бабеля опять вошло в литературный оборот. Именно эта, вторая волна сделала их вершиной «одесского мифа» – сакральным текстом, канонизирующим «правильную» одесскую речь.

Но воздух оттепельной свободы, другие произведения одесской школы (легкие, остроумные, веселые), сам статус Одессы как «столицы юмора» сыграли с этим небольшим циклом злую шутку. Их начали воспринимать как юмористические. Даже тончайший Фазиль Искандер свое предисловие к воспоминаниям об Исааке Эммануиловиче назвал вполне ожидаемо: «Могучее веселье Бабеля». В 60-70-е годы уже было вполне естественно, что «Одесские рассказы» априори, по определению «смешные». Тем более когда есть яркие, манкие фразы вроде «Холоднокровней, Маня, вы не на работе», «Нехама, делай ночь», «Об выпить рюмку водки, об дать кому-нибудь по морде». Однако смешных фраз много и в «Конармии» («…Опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели»), но там они не заслоняли страшного содержания. А в «Одесских рассказах» заслонили.

Между тем они страшны почти в той же степени, что и «Конармия». Это та же «Конармия», только вывернутая наизнанку, еврейским мехом наружу. Вместо громимых евреев – громящие евреи-налетчики. Это мир торжествующего насилия, стихия безнадежно искаженной этики. И если вглядеться в героев Бабеля повнимательней, то они не так симпатичны, как кажутся на первый взгляд. (Этот вопрос подробно рассмотрен Наумом Лейдерманом в статье «Романтика изгоев, или Идеалы наизнанку». Хоть в ней и нет ссылок на Шаламова, она во многом повторяет пафос замечательной работы Варлама Тихоновича «Очерки преступного мира. Об одной ошибке художественной литературы».)

В похожем контексте «Одесские рассказы» рассматривают и на Западе. Молдаванских налетчиков изучают в связке с американскими гангстерами (ведь до появления Коза Ностра еврейская мафия наряду с ирландской была сильнейшей в Америке). Также весьма интересно соотнесение «крутых» героев «Одесских рассказов» с их «крутым» автором – чекистом и кавалеристом, на всю жизнь сохранившим дружбу со старыми друзьями из этих кругов…

Посланный Горьким «в люди» Бабель страшно ошибся в выборе друзей. И идей. И идеологии. Поэтому, в отличие от многих других, он не был случайной жертвой. Снедаемый писательским любопытством, он слишком близко подошел к пропасти, слишком часто и подолгу смотрел в ее глаза.

И однажды бездна забрала его к себе.

Очень жаль. Но обстоятельства сложились так, что это было неизбежно. Наблюдательный и пытливый Бабель, читавший историю Французской революции в оригинале, ручкавшийся с московскими дантонами и сен-жюстами, не мог этого не понимать.

Андрей Малаев-Бабель

Долгая дорога домой

Из путевых заметок

В Одессу я впервые приехал ребенком, потом юношей, потом не был в ней двадцать семь лет. И вот я снова в Одессе…

Первый Международный литературный фестиваль, организованный Литмузеем и журналом «Октябрь», был посвящен Бабелю. Посвящен неофициально, но все же в Одессе и за ее пределами фестиваль прозвали «Бабелевский». Не только это привлекло меня, заинтересовал ракурс, под которым рассматривали Бабеля и бабелевскую Одессу. Существует реальный город, и существует город, преображенный писателем. В чем различие и в чем сходство между этими городами? В чем различие и сходство между писателем и рассказчиком, от имени которого ведется повествование? От чьего имени, например, написана «Конармия»: от имени Исаака Эммануиловича Бабеля или от имени Кирилла Васильевича Лютова – корреспондента газеты «Красный кавалерист»? Кто автор «Одесских рассказов»: Бабель, Арье Лейб, или у каждой новеллы свой рассказчик? Меня, человека исполняющего на сцене эти рассказы, волнует этот вопрос. Как внук, лишенный возможности узнать деда, я повсюду ищу его реальный облик. На фестиваль меня привело присутствие на нем литераторов, превративших живого Бабеля в литературный персонаж. Израильтянин Давид Маркиш и москвич Дмитрий Быков вписали новые страницы в жизнь Исаака Бабеля, и без того полную мистификаций.

Мне удалось принять участие в работе фестиваля и даже выступить с моноспектаклем по пяти рассказам Бабеля, благодаря съемкам американского документального фильма «В поисках Бабеля». Фильм этот вылился для меня в месячную поездку по бабе-

левским местам. Одесса и фестиваль пришлись ровно посередине моего путешествия. Поэтому я не могу воспринимать Одессу и фестиваль в отрыве от «документального» путешествия.

Одесса для меня – некая отдушина, передышка на пути по тем кругам ада, которые выпали на долю создателя «Конармии». Я вовсе не хочу сказать, что все одесситы любят Бабеля. Напротив, в Одессе немало людей, которые его не принимают ни как писателя, ни как человека. Некоторые свято верят – или же хотят верить – в то, что Бабель был чекистом, спускался в подвалы Лубянки, присутствовал при расстрелах, сам расстреливал невинных людей. Другие не принимают бабелевский слог – невыносимо плотный. Сотрудник Литературного музея, где проходил фестиваль, Анна Мисюк, рассказывала мне, как ее ученики, бедующие одесские гиды, читают Бабеля. Оказалось, случаются и обмороки: уж очень непривычен для сегодняшних молодых людей, воспитанных на стерильном языке современной прозы, язык Бабеля – тугой, физиологичный.

Бабель неудобен в обиходе. Между тем участники и гости одесского фестиваля – это люди, любящие Бабеля и ведущие с писателем творческий диалог. Посмотреть и послушать их собрались одесситы. В эту бабелевскую ауру мне и удалось окунуться… Но прежде несколько слов о моем путешествии. В Одессу я приехал из-под Львова, а Львову предшествовал Париж.

В Париже я ощутил одиночество Бабеля. Недаром рассказчик, от лица которого ведется повествование в «Улице Данте» (или это сам Бабель?), восклицает: «Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже». Я работал с парижскими актерами над пьесой Бабеля «Мария», беседовал с советологами, переводчиками, литературоведами. Вместе с Мариной Влади, которая рассказала, что В. Высоцкий обожал Бабеля, мы гадали, почему эти двое (Бабель и Высоцкий) Парижу предпочли русский «гибельный восторг»? Я бродил по улочкам Парижа, где когда-то ходил Бабель, по парижским рынкам и барахолкам, заговаривал с парижанами, как делал это когда-то Исаак Эммануилович. За мной неотступно следовала съемочная группа, но ни я, ни собеседники мои, казалось, не замечали ее. Мы все сливались с парижской толпой.



Все это время меня преследовала мысль. На нее натолкнул меня специалист по творчеству Бабеля из Стэнфорда – Григорий Фрейдин. Парижская литературная элита во главе с Андре Мальро – люди, носившие в свое время Бабеля на руках, – предали его в роковую минуту. Почему французские коммунисты, писатели с мировым именем, не заступились за арестованного Бабеля? Они даже не попытались этого сделать, стесняясь тревожить Сталина по пустякам. Ведь от отца народов они ожидали большего: в конце 30-х годов французские коммунисты еще надеялись на его помощь в борьбе с фашизмом. Они жили по выведенному когда-то Бабелем «закону больших чисел». А Сталин на французских коммунистов уже не надеялся. Он к тому времени наметил себе нового союзника – Гитлера. Ведь Сталин его применял, этот «закон больших чисел», оправдывавший «меньшие жертвы». Французские коммунисты принесли в жертву Бабеля. Сталин принес в жертву французских коммунистов. Он им не помог…

Из Парижа мы вылетели во Львов. Но не во Львов мы ехали, нас интересовали бывшие местечки под Львовом, где развивалось в 1920 году действие бабелевской «Конармии»: Берестечко, Броды, Козин. То, что мы там увидели, нельзя было «запланировать». Куда бы мы ни поехали, навстречу нам выплывали бабелевские места; нам встречались люди, будто сошедшие с бабелевских страниц. Местечки в районе Львова до сих пор помнят трагедию гражданской войны, как описана она в «Конармии». Поиски старинного еврейского кладбища, о котором рассказал Бабель в конармейской миниатюре «Кладбище в Козине» и в дневнике 1920 года, привели нас в поселок Козин. Местный

житель вызвался показать нам дорогу на кладбище. Он прыгнул в старенький жигуль – это было приглашение следовать за ним. Мы ехали лесом по узкой дороге. Останавливались, чтобы расчистить путь от упавших деревьев. Водитель нашей иномарки с трудом поспевал за жигулем провожатого. Наконец мы доехали до заросшего бурьяном поля. У кромки его выступал из бурьяна одинокий камень. Надпись на камне: «Тут похоронено 2400 советских граждан еврейского происхождения, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году». Можете себе представить, что мы почувствовали: это было совсем другое кладбище, не то, что описал Бабель в 1920 году, и все же это было бабелевское «Кладбище в Козине». Зверства, учиненные против мирного еврейского населения на львовской земле во времена «Конармии» (начались они, впрочем, задолго до этого), обернулись ужасом Холокоста. Многострадально львовское еврейство. В 20-х годах его оплакал Бабель. Могу засвидетельствовать: на Западной Украине нет больше антисемитизма. Но нет здесь больше и евреев.

За Одессой последовала Москва. В Москве нам пришлось обратиться к событиям, связанным с арестом и казнью Бабеля. Вот некоторые из тех мест, которые мы посетили и сняли на пленку: бывшая тюрьма особого режима – Сухановка, где пытали писателя (в настоящее время там монастырь); общая могила на Донском кладбище, где, по некоторым сведениям, был захоронен его прах; писательский поселок Переделкино, где он был арестован. Везде нас сопровождала охрана – охраняли не нас. От наших кинокамер охраняли покой начальства и нуворишей. Типичная история для сегодняшней Москвы, где количество охранников символизирует статус охраняемого. В Москве мы брали интервью у известных писателей, у бывших узников сталинских тюрем и лагерей, у правозащитников. Интерес московской прессы к Бабелю меня порадовал. Вот один эпизод: меня пригласили на телепередачу, где режиссер и журналист Кургинян спорил с известным тележурналистом Сванидзе. Кургинян цитировал «закон больших чисел»: при Сталине-де пострадало меньшинство населения. «В процентном отношении!..» – заводился тележурналист. А я никак не мог вычислить: какой процент от числа все-

го населения составлял Исаак Бабель – писатель, которого читают сегодня во всем мире?

Вот в каком контексте предстал передо мной литературный фестиваль в Одессе. Я не встречал еще такой любви и энтузиазма по отношению к писателю и к литературе, с которыми я столкнулся в эти дни. Круглые столы, беседы и интервью продолжались в течение пяти дней. Здесь я почувствовал себя кем-то вроде рок-звезды – раздавал автографы направо и налево; на меня были направлены микрофоны и телекамеры. Родной город Бабеля – Одесса – помнит своего великого сына. Я постоянно напоминал себе, что любовь и восхищение не относятся ко мне лично. Они принадлежат Бабелю.

Перед открытием в живописном Саду скульптур Литературного музея бурлил народ. Я пробрался сквозь толпу праздничных изысканно одетых людей к Жванецкому и спросил: «Какие чувства у вас вызывает Бабель?». Профессионал, привыкший к точности в отношении со словом, ответил: «Чувство зависти».

По стенам вдоль лестницы музея висели эскизы памятника Бабелю в Одессе скульптора Франгуляна. Только теперь я сумел проследить эволюцию скульптурного замысла. На первых эскизах Бабель изображен этаким эпикурейцем – жирным похотливым стариком, восседающим на одесском бульваре. Словом, точно таким, каким он сам изобразил себя в старости, мечтая возвратиться в Одессу вместе с другом своим, Багрицким. Может быть, потому, что оба они, Бабель и Багрицкий, не изведали старости, им и не пришлось нежиться на одесском бульваре, «провожая долгим взглядом женщин». Поднимаюсь по лестнице. Постепенно образ Бабеля меняется, становится более одухотворенным. Вот он уже несет на сгорбленных своих плечах беды мира…

Тема дискуссии, которая занимала меня в Париже и под Львовом, – соотношение художественного пространства с пространством реальным. Замысловато название круглого стола: «Одесса – множественное число. Город, который построил Исаак». Так почему же одесситы, интеллигентные и не слишком, любят своего Бабеля, любят, несмотря на то, что он – вместо того чтобы бытописать Одессу – создал одесский миф, изобрел одесский язык. Язык этот не был позаимствован из жизни. Не потому ли,

что Бабель был одесситом по духу, по крови? Не потому ли приехали на фестиваль эти далеко не одесские писатели и литературные деятели, что дух Одессы, независимый и свободолюбивый, – это то самое творческое начало, к которому все мы стремимся? «Сквозь кислое тесто русских повестей» одесский Мопассан, Исаак Бабель, «проложил стремительные рельсы» своих рассказов. Рельсы эти, как это ни удивительно, ведут в светлое будущее.

К счастью, мучившие нас во время фестиваля сомнения насчет даты открытия памятника Бабелю не оправдались, в сентябре я приехал на торжественное его открытие. В этом есть и «вина» фестиваля. Не пришлось ждать еще год, а может, и долгие годы, потому что первый Международный литературный фестиваль проложил Бабелю дорогу домой – в Одессу.



Давид Маркиш

Третья столица

Приношу сердечную благодарность устроителям Одесского международного литературного фестиваля, а также Всемирному обществу одесситов, читателям и почитателям Исаака Эммануиловича Бабеля, самоотверженным сотрудникам Одесского литературного музея, моим коллегам-литераторам по Бабелевским чтениям в этом замечательном музее, прохожим, увиденным на одесских улицах, и пивной торговке Блюме с 16-й станции Большого Фонтана – без них эти заметки не были бы написаны.

Знает и троечник, что литературные отношения между столицами – Москвой и Петербургом – развивались не ахти как. Даже скорые на расправу большевики с привольно раскинувшимся ГУЛАГом с его широким разлетом полей, лесов и рек не справились с принуждением к миру петербуржан и москвичей. Москвичи заносчиво считали, что их литературная школа куда глубже, шире и лучше, чем петербуржская. Петербуржские писатели глядели на московскую похвальбу с ироническим прищуром и не удосуживались опускаться до публичной дискуссии на тему «кто лучше»… Я, чужак, оставлю при себе свое мнение на этот счет, кто лучше, а кто хуже.

Но неизбывный этот спор нескончаемо тлел и чадил, и только Иосиф Бродский не обращал никакого внимания на обидные пустопорожние разговоры: его и в Петербурге, и в Москве принимали как «своего».

Большевистские литературные комиссары трудились за страх и за деньги, дикарский социалистический реализм колотил в барабан советской культуры, и миллионы подцензурных читателей

наплывающих поколений потихоньку забыли о третьей столице русской литературы – Одессе; по звездам, по рыбам уже не проносило шаланду греков-контрабандистов, и более не белел парус одинокий в тумане моря голубом. Одесса превратилась в провинциальный южный город с красивыми домами, помнившими лучшие времена. Советская духота подействовала, как видно, на нервы блистательным одесским писателям, публицистам и музыкантам, медленно погружавшимся в захолустное болото, – подобно чеховским сестрам, они мечтали о Москве. Перебираясь в Белокаменную, они как индульгенцию везли с собой яростную любовь к своей Одессе, к ее необыкновенному языку, к ее Дюку и головоломной лестнице, ведущей к морю, где белый парус бесповоротно исчез за горизонтом, а Янаки, Ставраки и Папа Сатырос сидели под замком в Губчека.

Десяток литературных звезд первой величины и намного больше, скажем так, писателей второго плана переехали из Одессы в Москву в 20-е годы. И столица пала под их великолепным натиском. Столица пала и получила максимум удовольствия. Став московскими знаменитостями, вчерашние одесситы сохранили все обаяние приморского Юга. Одесская литературная школа получила постоянную прописку в Москве. А осиротевшая Одесса на вечные времена сохранила за собою право называться колыбелью этой школы, этой литературы. Остался на своем месте бронзовый Дюк, и Потемкинская лестница осталась. Но шаланды, полные кефали, Костя больше не приводит к берегу, а портовые грузчики стоптали до дыр свои со страшным скрипом башмаки. Владимир Агатов, в девичестве Велвл Исидорович Гуревич, придумавший этого самого Костю, при появлении которого в пивной все биндюжники вставали как по команде, тоже надолго не задержался на Украине – я встречал его в Москве, в кафе «Националь», в конце 50-х. А песня о Косте, влюбившемся в рыбачку Соню, этот истинный гимн Одессы сохранился неприкосновенным:

Я вам не скажу за всю Одессу,
Вся Одесса очень велика.
Но и Молдаванка, и Пересыпь
Обожают Костю-моряка.

И Исаак Бабель расцвел в Москве, как райское древо; слава его была непомерна. Впрочем, он остался в Одессе больше, чем кто-либо из его собратьев-писателей. Уехав оттуда, он, можно сказать, там остался; трудно представить себе Одессу без Бабеля. Без Олеши – можно, без Катаева – можно, а без Бабеля нельзя.

Литература, разумеется, не слепок с жизни, будь то одесская жизнь, московская или хоть миргородская. Но никто и не сращивал в единое целое литературу и жизнь, как и не рассекал надвое, отделяя литературу от жизни, это воображенное целое. Вот все мы и живем на свете, фантазируя и воображая, но плоды фантазий и воображения преображаются в Слово не у каждого – хороших писателей мало. Не наступил еще плодоносный год, предсказанный Андреем Платоновым: «И народятся хорошие писатели».

Литературный феномен Одессы, быть может, самый загадочный и удивительный в истории мировой литературы. Никто внятно не сумел, да и в дальнейшем едва ли сможет объяснить, как и почему случился почти сто лет назад этот вулканический выброс литературного творчества на отлогом, довольно-таки унылом черноморском берегу. Даже Яков Блюмкин, одессит, один из самых блистательных авантюристов прошлого времени, и тот сочинял стихи и даже подписал вместе с Есениным, Мариенгофом, Кусиковым «Устав Ассоциации вольнодумцев». Некоторые любители наводить тень на плетень приписывают Блюмкину авторство гениального есенинского предсмертного стихотворения «До свиданья, друг мой, до свиданья, / Милый мой, ты у меня в груди…»

Литературу нельзя вывести из крови, она уходит лишь вместе с кровью. Одесса жива и относительно здорова, кровь ее исправно пульсирует в венах. И хотя пивная торговка Блюма с 16-й станции Большого Фонтана даже отдаленно не напоминает куриную торговку тетю Песю со Старого базара, дух и образ этой бабелевской куриной тети Песи не развеялся, и вряд ли выветрится в обозримом будущем. Как и образ нестареющего сказочного разбойника Фроима Грача, пристреленного большевиками, как и Менделя Крика, который и среди биндюжников слыл грубияном. Как и всей этой красочной галереи изумительных вообра-

женных одесситов во главе с самим изобразителем – Исааком Бабелем, у которого на носу очки, а в душе – осень. «Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря – на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом», – фантазировал Бабель. «Мы» – это два одессита: Бабель и Багрицкий. Ни тот, ни другой не дожили до старости: одного убила болезнь, другого – чекистская пуля. Но и сегодня, шатаясь по Приморскому бульвару, я перевожу взгляд со скамейки на скамейку: где он, жирный улыбающийся старик в круглых очках в железной оправе?

Одесса стала другой, подновленной, а литературные герои не изменились, и придумавшие их писатели не состарились: мертвые не стареют. Литературный фестиваль пришелся здесь ко двору и был принят одесситами с трогательным расположением, а ведь забот у горожан, сколько можно понять, полон рот, и что им, казалось бы, за дело до рассказов Исаака Бабеля! Могло бы сложиться и иначе, да не сложилось: это ведь «их» Бабель, они готовы им делиться с целым светом, но отдавать не собираются никому.

Нынешний фестиваль, нынешнее чествование мастера Бабеля приурочены к 117-летию со дня его рождения: его именем названа маленькая площадь на углу Ришельевской и Жуковского, напротив дома, где жил Исаак Эммануилович Бабель и его родители.

Загадочный город, странные времена! Покинув Одессу, Бабель остался в своем городе, но и оставшись, – исчез на два десятилетия. После его ареста и казни в 1940-м книги его не переиздавались и, разумеется, были изъяты из библиотек, оказались под запретом – до смерти Сталина, начала «оттепели» и медленного загнивания империи. Молодое поколение слышало его имя, но немногим посчастливилось его читать тайком, по углам. Я, двадцатилетний, оказался в числе счастливчиков. И был ранен в душу «Одесскими рассказами» и «Конармией». Мне казалось, что Исаак Бабель, убитый на Лубянке, единственно в Одессе остался жив.

В Одессе я появился впервые пятьдесят с лишним лет назад. Я приехал туда из Грузии, где к тому времени вышли мои первые книжки, приплыл морем на борту ныне покойного теплохо-

да «Адмирал Нахимов». Надо сказать, что я немного бродяжничал в те годы, поэтому плыл я на «Адмирале» безбилетником, без копейки в кармане, был выловлен, мне грозили неприятности. Но пассажирский помощник капитана, которому я презентовал мою книжку, меня помиловал, и я беспрепятственно сошел на берег, еще не забывший, как мне хотелось думать, уверенную походку того самого Кости-моряка.

Мне не терпелось получить подтверждение моим предположениям. Приметив на бульваре старика в белом жеваном пиджаке, с колючей седой рожей – он предлагал всем желающим взвеситься за пятачок на стоячих «курортных» весах со скользящими никелированными гирьками, – я подошел к нему без колебаний. Старик глядел на меня без всякого интереса.

– Вы случайно не знаете, – сказал я, – где тут жил Бабель, писатель? На какой улице?

– Бабель? – переспросил старик. – Какой Бабель? Я знаю Бебеля, он был революцьонер, – и повторил внятно: – Бе-бель!

На дворе стоял 1958-й, восемнадцать лет прошло с тех дней, когда Бабеля расстреляли... Теперь он возник вновь, вернулся из тени – книгами, памятью, памятником, клубом.

Будем надеяться, что надолго.

Валерий Попов

Одесская малина

В Одессе хорошо. Не тревожат бандиты с Молдаванки, не грубят биндюжники, не слышны дальние артиллерийские залпы наступающей Конармии. Герои Бабеля, ради которого мы собрались в Одессе, восхищают нас в его книгах, но возвращения этого «жизненного материала» никто не хочет: страшно даже представить. Значит ли это, что второй Бабель или равный ему гений никогда больше не появится в этом городе?

Встретившие нас одесские писатели, а именно – группа симпатичных юмористов, которую возглавляет Валера Хаит (может быть, «возглавляет» – не совсем точно?), перед гостями ничуть не робели, и с какой стати? В развернувшейся мягкой литературной полемике Валера провозгласил такой принцип их работы: литература негативная, маргинальная, кровавая может создаваться лишь рукой гения, каким был Бабель. Его гениальность как-то уравновешивает ужас событий. Нормальной же литературе, как говорил Валера, вполне достаточно материала нормальной жизни, и в ней есть достаточно эмоций, в том числе – положительных, и есть о чем писать. Когда сын Хаита и друг сына поступали в Москве в театральный, Валерий позвонил в семью друга сына и осторожно спросил: «Какие новости?». «Дедушка танцует на балконе», – ответили ему. И так Хаит назвал свою книгу. И он по-своему прав. Зачем слезы и ужасы? Пусть книга радует. Пусть одесситы (а за ними и все) радуются удачам жизни. Одесский писатель Г. Голубенко прочел на вечере короткого рассказа в Саду скульптур трогательную историю о старом еврейском портном, который все разговаривает и даже советуется со своей женой, которая, ока-

зывается, десять лет уже как умерла. Вот вам и слезы – и без них не обойтись.

Писательница с хорошей литературной фамилией – Гончарова – прочла рассказ «Битлз» о жуках, которых она чуть не раздавила в траве, но успела их заметить и помиловать. Она «услышала» разговор перепугавшихся жуков, а потом песню «Естердей» в их исполнении, когда жуки на радостях вечером напились.

Любителям комфортного чтения такая литература нравится. И это нормально. За что же еще платить деньги, как не за комфорт? Валерий Хаит и его группа успешно издают свои книги в самом тиражном издательстве «Эксмо» в серии «Новый одесский юмор», и они хорошо продаются. И не будем сбивать авторов с пути разного рода претензиями, которые не имеют к ним никакого отношения.

В последний день я пошел на Привоз и, не встретив там бандюжников и бандитов, ходил и смотрел. Обычный рынок, как везде. А ты что хотел? Беню Крика?

Съев стаканчик малины, я вытряхивал последнюю раздавленную ягодку, и она попала на штанину, оставив на ней пятно. «Одесская малина, на память, – подумал я. – Скоро это понятие здесь только в таком, ягодном, смысле и останется».

Вячеслав Пьецух

Серьезные писатели таскаются по конференциям, книжным ярмаркам и литературным фестивалям не за тем только, чтобы сладко есть и сладко пить, а преимущественно затем, чтобы обогатиться свежими впечатлениями, которые потом могут претвориться в какой-никакой сюжет.

Ниже следует образчик того, как это бывает на деле. Вроде бы и к одесскому паломничеству сей текст отношения не имеет, и Бабель тут ни при чем, ну разве что автор по его милости прокатился из Москвы на Черноморское побережье и в результате этого богомолья сочинил путевой рассказ. За что он приносит создателю великой «Конармии» искреннюю благодарность.

Полоса отчуждения

Дорога. Как только наши русские авторы ни расписывали ее животворные прелести, ни твердили о благотворном влиянии на психику человека, ни наводили на мысль о дороге как о побочном образовании, а все кажется мало, хочется добавить что-нибудь освежающее, свое.

Да вот хотя бы взять историю четы Говорковых, Миши и Маши, на которых сравнительно дальняя дорога подействовала так же, как на страдающих мигренями действует анальгин.

Оба они были родом с Украины, из Конотопа, кровей смешанных, ходили в одну школу, только Миша был двумя классами старше, оба учились в Нежине на филфаке, потом поженились и ворковали в Конотопе же, на улице Красногвардейской, дом 44, строение № 2. Однако идиллия продолжалась недолго, частью из-за

того, что оба лишились работы по причине перманентного экономического кризиса, а недостаток в семье всегда провоцирует состояние междоусобицы, частью же из-за того, что у них не было детей, которые представляют собой особо связующий элемент. Пошли раздоры, препирательства по самым вроде бы отвлеченным поводам, например, в связи с национальной принадлежностью писателя Гоголя, причем оба постоянно сбивались со своей первоначальной позиции на позицию оппонирующей стороны.

Положим, во вторник Миша мог заявить:

– Вот если бы у Гоголя была фамилия Пушкин, я бы и слова встречного не сказал. А то у него была фамилия Гоголь-Яновский, типичная украинская фамилия с польским уклоном, и лицом он нисколько не был похож на средневзятого москаля.

Маша ему в ответ:

– Лицом он был похож больше на иностранца, славянского в нем не было ни грамма, и вообще он ел макароны и пил разбавленное вино.

– Тогда чего он не писал по-итальянски?!

– А он и по-украински не писал! Я даже думаю, что он совсем не знал *мовы*, а сочинял по-русски из-за того, что этот язык – самый художественный язык в мире, на котором и не захочешь, а того и гляди что-нибудь сочинишь.

Но, положим, в среду Миша мог запросто объявить:

– Нет, Гоголь был точно русский человек, от макушки до ногтей, потому что он сам себя уморил. Если бы он принадлежал к какой-то другой национальности, то преспокойно жил бы себе в Москве до морковкина заговенья или в Риме, ел бы свои любимые макароны и пил разбавленное вино. А он довел себя самокопанием до истерии, перестал принимать пищу и в конечном итоге умер неведомо от чего. Конечно, русский, двух мнений быть не может, потому что только они склонны к самоуничтожению, если не считать якутов и лопарей.

Маша ему в ответ:

– Это еще бабушка надвое сказала. То есть, с одной стороны, Гоголь был прямой русский, потому что он любил Италию, а Россию скорее презирал, но, с другой стороны, чистой воды хохол. Как же не хохол, если все его произведения светятся настоящим

украинским юмором, в то время как русская литература мрачная, рассудительная и постоянно упирается в разные тупики. Всего Толстого прочтешь – и ни разу не улыбнешься, а над Гоголем животики надорвешь!

– А Чехов?

– Да и Чехов был хохол! Он так и писал про себя – хохол!

Обыкновенно эти прения выливались в банальные домашние ссоры, даже с горючими слезами и битьем посуды, поскольку мало-помалу выяснялось, что ежели жена постоянно перечит мужу, а муж настолько нетверд в своих суждениях, то тут и до супружеской измены недалеко.

Дело закончилось тем, что молодые надумали развестись. К этому времени они уже перебрались в Москву, спасаясь от безработицы, Миша трудился на стройке в Мытищах, а Маша подвизалась на Лужниковском вещевом рынке. Как-то под вечер Говорковы зашли в первый попавшийся загс, чтобы подать заявление о разводе, но там им объявили, что поскольку они граждане Украины и заключали брак в Конотопе, то пускай и разводиться отправляются в Конотоп. То ли действительно существовало такое положение в бракоразводной практике, то ли над супругами от скуки решили поиздеваться – это у нас бывает, – но так или иначе молодым пришлось возвращаться на родину, чтобы расторгнуть несчастный брак.

Они, как полагается, купили билеты, сварили в дорогу курицу и с полдюжины яиц вкрутую, сели на поезд Москва – Одесса, который отходит от Киевского вокзала, и пустились в путь с таким чувством, словно они отправляются в никуда. Соседями по купе у них были: моряк торгового флота из Одессы, страдающий странным тиком, – он то и дело закатывал глаза, и немолодая женщина, ехавшая до Брянска, которая всю дорогу вязала что-то, противно щелкая спицами, и шевелила губами, видимо, считая петли, но вообще производила впечатление не совсем нормального существа. Поезд как-то нечувствительно тронулся, как проснулся, и медленно поплыл вдоль перрона, едва-едва набирая ход.

Вот уже остались позади пакгаузы, еще какие-то закоптелые железнодорожные службы, древние, черные, как уголь, паровозы на запасных путях, заводские корпуса промзоны, заборы, сплошь

покрытые граффити, проплыла над головой Московская кольцевая дорога, а за нею потянулись пригородные платформы, дачки, окутанные, как облаком, яблоневым цветом, водонапорные башни, шлагбаумы и при них будки с маленькими темными окошками, за которыми, поди, вековали стрелочницы в годах, после с обеих сторон пошли сплошные лесопосадки, образующие полосу отчуждения, и Говорковым показалось, как будто от души что-то оторвалось. Как будто вдруг началась совсем другая жизнь, отгородившаяся от основной полосой отчуждения, словно на каком-нибудь острове в океане, где обитает отдельная нация пассажиров, действуют иные правила и законы, вкушаются необыкновенные яства и ведутся разговоры, не похожие ни на что.

Только пошли лесопосадки, как моряк выставил бутылку «Камю» и предложил спутникам выпить «по маленькой», Маша, в свою очередь, достала вареную курицу с яйцами, и соседи принялись угощаться, сладко хмелея от французского коньяка. Замечательно, что вроде бы обыкновенная курица оказалась на удивление хороша.

– Вот домой еду, – между тем говорил моряк, – из самого Марселя, где у нас постоянно меняется плавсостав. И какие сюрпризы меня ожидают дома?.. – даже загадывать не хочу.

– А что такое? – поинтересовался Миша.

Моряк сказал, закатив глаза:

– Если начистоту, то вот какое дело – жена у меня гулена, и как ни придешь из рейса, всегда у нее для меня сюрприз. То спутается с главным инженером порта, пока я хожу в морях, то у нее синяк под глазом, то на какой-нибудь вечеринке у нее украдут фирменные очки.

– Странно… – сказал Миша, немного ошарашенный слишком уж откровенным сообщением моряка. – Зачем же вы терпите такую жену? Взяли бы и по-хорошему разошлись.

– За то и терплю, что она мне жена, а не «девушка Прасковья из Подмосковья», – как говорится, родная кровь. И чего расходиться-то, если лучше все равно не будет, потому что счастливых браков не бывает, и каждая семья – это маленькая война.

На самом деле такой оголтелой откровенности, какую продемонстрировал моряк, не следовало удивляться, поскольку дорога

вообще располагает к излияниям на самые сокровенные темы, и даже подследственных надо вывозить на допросы, к примеру, поездом Москва – Владивосток, – все выложат, как на исповеди, ни грана правды не утаят.

Тем временем за окном купе промелькнул одинокий домик техника-смотрителя из силикатного кирпича, при нем огород, обнесенный низким штакетником, колодец под шиферной крышей, собачья будка и нужник на задах, выкрашенный в едко-зеленый цвет. Подумалось: вот тоже живут люди, небось в десяти километрах от ближайшей станции и в десяти километрах от ближайшего сельского поселения, а живут… И может быть, даже лучше, истиннее живут, чем окнами на Арбат. Кругом тишина, только что скорый поезд прогрохочет пять раз на дню, по которому можно проверять время, покой, как в больничной палате на одного, необременительная работа, хлеб собственной выпечки, своя бражка на случай праздника, а по вечерам весело строчит женина швейная машинка, малыш посапывает под пологом от комаров, радио погоду передает…

А колеса все постукивают, навевая дрему, вагон приятно покачивает в утешение моряку, и чайные ложки чуть дребезжат в стаканах с подстаканниками, которые изобрели в России, немного припахивает чем-то горелым и, кажется, еще постельным бельем казенного образца.

Вдруг за окном – это уже после Малоярославца, – откроется неоглядная даль, поля, только-только покрывшиеся зеленями, луга, перелески, словом, наш родимый простор, который тянется до самого Тихого океана и наводит на мысль: ну, послал Бог страну! Это какая-то планета, а не страна! Потом опять глаза застит лесополоса, уже нахмурившаяся с наступлением сумерек, и небо охватит предвестник ночи – темная-претемная синева. В эту пору хорошо бывает забраться на верхнюю полку и приняться за книжку или в полудреме поразмышлять. Положим, придет на ум: «Великая вещь – дорога! В проклятой суете городской жизни, за бесконечными заботами о хлебе насущном, о том, как бы исхитриться оплатить квартиру и электричество, некогда по душам бывает поговорить, да и не с кем, и годами ни одна отвлеченная мысль не придет в голову, а в дороге ты свободен, как

туарег, и ни в чем не замешан, как старая дева, и можно, наконец, призадуматься над смыслом личного бытия.

– Что это вы вяжете? – спросила Маша у дамы со спицами, которая не оставила свое занятие даже после порядочной порции коньяка.

– Свитер из собачьей шерсти, – отвечала дама, – на случай исключительных холодов. Муж у меня сидит в лагере под Брянском, уже третий год пошел, как я мотаюсь туда-сюда. Вот я ему, стервецу, свитер-то и вяжу.

– За что же его посадили? – спросил моряк.

– За озорство. Он, как бывало, зальет глаза, так давай меня лупцевать по чем попало, а то возьмет туристический топорик и начинает крушить мебель – по его изречению, «на дрова».

– Следовательно, вы его и посадили?

– Я и посадила, тут никакого секрета нет. А ты не безобразничай, веди себя, как полагается нормальному мужику!

– Ничего себе семейка! – заключил Миша и сделал выразительные глаза.

За окном купе уже совсем стемнело, ночь навалилась на отечество, и в вагоне сам собой загорелся свет. Проносились мимо редкие огоньки, иной раз встречный поезд обдавал попутчиков грохотом и словно взрывной волной, а то попадется на пути какой-нибудь городок, который светится в ночи темно-оранжевыми окнами и приглушенным сиянием уличных фонарей. Подумается: «Господи, Твоя воля – это сколько же обитает на свете добрых, симпатичных людей по городам и весям нашего обширного государства, которые радуются и печалятся за своими темно-оранжевыми окнами, и которых ты никогда не узнаешь, точно их вовсе не было на земле. Может быть, где-то тут собирается на боковую писаная красавица, каких поискать, или предается ночному бдению изобретатель вечного двигателя и начинающий поэт, будущий классик, кропает свои стихи. А ты проносишься себе мимо, и писаная красавица, то же самое, никогда не улыбнется тебе в ответ…». Вроде бы все это так, измышления, но почему-то тягостно и грустно становится на душе.

Наутро, во время вынужденной стоянки на какой-то небольшой станции, Миша Говорков вышел на платформу и купил у те-

ток четыре бутылки пива, горячей вареной картошки с укропом и ведерко раков, настолько свежих, что, видимо, они *перешептались* не далее как вчера. Моряк и дама со спицами еще спали, и пир у четы Говорковых выдался на двоих. Раки были чудо как хороши, а от пива на обоих напало благодушное настроение, и они опять заговорили о Гоголе, но по-иному, отнюдь не переча друг другу, а напротив, соглашаясь почти во всем. Когда уже подъезжали к Конотопу, в то время как Маша самозабвенно развивала мысль о влиянии нездорового пищеварения на авторскую позицию, Миша вдруг призадумался и сказал:

– Поехали, что ли, обратно, Маш?

– Ну, поехали, – сказала Маша. – Так вот, у Гоголя желудок располагался вверх тормашками, это научный факт…



Илья Рейдерман

Место встречи изменить нельзя

Ах, фестиваль, фестиваль… Давно уже он отшумел – Одесский международный литературный… А мысли, рожденные им, разбегаются в разные стороны. Но ведь кажется, точка, в которой все собирается и итожится, была поставлена уже после фестиваля. Отлитая из бронзы. Памятник к Бабелю в Одессе наконец-то установлен. Следовало бы осмыслить, что это значит. Слово бронзовеет, слава звенит, памятник стоит. Что-то закончилось. По-моему, – пришли к концу споры о том, составляли ли писатели-одесситы литературную школу, и что такое одесский миф, к созданию которого они приложили руку. Миф состоялся! Миф вообще сильнее «сермяжной правды». Что такое «одесская литература»? Это слово, освобождающееся из плена старых смыслов и еще не попавшее в плен навязанных новых смыслов, в плен советской идеологии. И поэтому оно сияет, золотится, серебрится, блестит – словно протертое тряпочкой от пыли или промытое ливнем.

…Впрочем, писал я с радостью эти слова – до того, как запоздало прочитал статью Дмитрия Быкова в «Новой газете». Оказывается, торжество одесского мифа не дает кому-то покоя. Очень уж велика инерция демифологизации, «разоблачения предрассудков» – с этого начиналось Новое время, этим оно в эпоху постмодерна и заканчивается. Только ведь если какое-то иное время и должно наступить, то наступит оно лишь при условии признания прав мифа на существование, необходимости мифа! Рациональная истина хороша – в том смысле, что ей можно пользоваться, как пользуются энциклопедией или таблицей умножения. Но жить ею – нельзя! Для жизни человеку – миф нужен! Разумеется,

не миф массовой культуры, не идеологический миф, а миф высокий, культурный, излучающий бытийные смыслы.

Ирина Барметова, редактор журнала «Октябрь» – много сделала для Одессы, для того чтобы одесский литературный миф продолжился во времени и не потерялся в сегодняшнем «гиперпространстве» с его инфляцией слов и смыслов. Вот и этот фестиваль, связанный с именем Бабеля, был бы немыслим без ее усилий. Ей удалось высадить в Одессе целый десант крупных писателей и литературоведов. Открывал фестиваль «круглый стол», посвященный как раз одесскому литературному мифу, – «Город, который построил Исаак». Не будучи его непосредственным участником, в этих своих заметках я хотел бы высказаться именно на эту тему. Тем паче что, как выяснилось, в моем архиве есть и работа о Бабеле, недавно опубликованная «Дерибасовской – Ришельевской», и статьи о феномене Одессы.

Один из участников «круглого стола», литератор из молодых да ранних, в ходе дискуссии с почти с цирковым профессионализмом стал крутить интеллектуальное сальто-мортале: дескать, одесская школа – может, вовсе и не школа, а миф – вовсе и не миф… И вообще это, знаете ли… волна, ну, вот как во французском кино новая волна. Волна – это нечто, что пришло и ушло. Получается, что Одесу прославил случай. Да и писатели все эти появились в ней случайно. Ан нет! Тут не волна, а волны, следующие одна за другой, даже потом, в условиях, которые культурной жизни уже не слишком благоприятствовали. Сначала французы Де Рибас, Ришелье, Деволан. Потом знаменитые негоцианты, а там и Ришельевской лицей, и великие медики. Впрочем, о последовательности этих волн лучше скажут специалисты-краеведы. Меня же интересует дух города. По этим улицам ходил Врубель – ему было у кого учиться. Его первые учителя – иностранцы, фамилии которых малозивестны. Здесь учились братья Бахтины – правда, к тому времени университет уже не блистал, но именно здесь один швейцарец подарил Михаилу Бахтину томик Кьеркегора с дарственной надписью от автора. В каком еще городе России можно было найти такой томик Кьеркегора и, добавлю, такого швейцарца, внимательного к пытливым юношам? Литературная волна, вознесшая Бабеля и Олешу, – лишь одна из волн. А уже

в середине двадцатого столетия, на нашей памяти, – волна живописи, поднявшая поразительно интересных художников.

Одесса – город-миф не потому, что ее мифологизировал Бабель. А потому что это город – перекресток культур, город, в котором духовная жизнь бурлила, и волны то и дело вздымались… Именно в этом смысле это и был европейский город – в смысле открытости всем ветрам, в смысле культурной открытости, готовности к диалогу, взаимовлиянию многих национальных культур. Главное в городе – это дух, – легкий на подъем, творческий, импровизационный, открытый и доброжелательный, ироничный, но беззлобный. А дух не подделать. «Здесь все Европой дышит, веет…» Вот первый эскиз одесского мифа, и Пушкин – первый создатель его. Вот наш «патент на бессмертие». И если спрашивать, что же именно объединяло писателей-одесситов, то можно ответить с абсолютной точностью: все они – европейцы! Я бы даже сказал – французы, выученики французских поэтов и новеллистов. Все они в Европу глядят, всем им важен блеск стиля, культура формы.

Одесса – это место, где встречаются Европа и Азия (а также Израиль, США и даже Австралия). Именно Одесса, а не Урал, как можно подумать, глядя на географическую карту. Вовсе не случайно именно сюда Ирина Барметова и привезла свою «команду», свой десант. Место встречи изменить нельзя!

* * *

«Есть ли сегодня одесская литература?» Таков был вопрос, витавший в воздухе, – и на него пытался ответить фестиваль. В отличие от предыдущего фестиваля, Гоголевского, одесситам (и таким мастодонтам, как приехавший из Германии Ефим Ярошевский, и молодым) дали возможность поучаствовать, почитать стихи. Только вот интересовало ли кого-нибудь всерьез их творчество? Дмитрия Быкова, особенно активно отрицающего значимость творчества сегодняшних одесских литераторов, – я в числе слушателей не заметил.

...«Серапионовы братья» в начале 20-х годов в уже переименованном Ленинграде, встречаясь, произносили: «Писать, брат,

трудно!». Это своего рода «пароль» тех, кто действительно пишет, а не сочиняет, для кого писательство – экзистенциальное занятие. Но ведь что писать трудно – полбеды, а беда – когда брезгливо глядят сквозь тебя, как будто даже и бренного тела твоего на этой земле нет. Когда печатают «списки» тех, кого почитают писателями, – и ты своего имени в них регулярно не находишь. И нет этому конца. Вот и пиши, зная: то, что напишешь, уже заранее встречается «словом отрицанья». Я бы мог назвать много достойных, с моей точки зрения, имен, – но ведь это будет заведомо мой список, субъективный! А у редактора «Дерибасовской – Ришельевской» Феликса Кохрихта (кстати, любопытная деталь: его прадед, купец первой гильдии, жертвовал деньги на памятник Пушкину, а он сам сделал взнос на памятник Бабелю!) – будет свой список. А у редактора «Октября» Ирины Барметовой – тоже список свой. И это естественно. Не можем мы быть абсолютно объективными и избавиться от собственных вкусовых пристрастий. Вот почему и списка своих любимых поэтов не перечисляю – в нем наверняка «кого-то не будет». Зачем же огорчать человека, который, может быть, мнит себя первым и лучшим? Но в то же время – не могу не задуматься о специфике сегодняшней ситуации, характерной не только для литературы, а для всех сфер жизни. Нет больше единого пространства – литературного, культурного, духовного, и даже государственного, на котором владела умами русская литература, А есть группки, кучки, поразительная пестрота и эклектика, соединение несоединимого с помощью групповых интересов. Что же такое «одесская литература» – галактика, все звезды которой разбегаются, удаляются в разные стороны? Бывших одесситов не бывает, уехавшие из Одессы писатели весьма успешно работают во многих странах. Но, к примеру, в посвященном одесской литературе памятном номере журнала «Октябрь» многих из них посчитали чужими. Да и по сей день не замечают, о чем говорилось в посвященном все тому же фестивалю интервью Беллы Верниковой (Израиль) для программы Вадима Ярмолинца на русском радио в Нью-Йорке, перепечатанном в местных интернет-изданиях. Впрочем, как говорится в том же интервью, точно так же не замечают и иных заслуживающих внимания авторов, продолжаю-

щих жить и писать, никуда не уезжая из родного города. Вот и еще один «список»!

…Вместо моря или хотя бы реки – отдельные ручейки и даже полупересохшие лужи. Мы боготворим короткий период расцвета одесской литературы. Люди были молоды. Спорили. Ссорились и мирились. «Сегодня будут бить поэта Шенгели». Понятно, что это была мистификация. Но ведь нельзя же жить, все время лукавя, чтобы поддерживать добрые отношения. Нужно и правду говорить. Порой даже жесткую. Спорить всерьез. Литературные события нужны, а не просто «презентации». Собирающие не одних только господ писателей. А спорить то нужно о том, зачем пишем. Слово в рифму, слово, летящее в вихрях созвучий, – опасно. Закружит, станет ворожбой, игрой. Оно норовит оторваться от земли и – утонуть в небесах. Как сделать так, чтобы жизнь превратилась в поэзию, а поэзия не перестала быть жизнью? Вот идеал – труднодостижимый.

«Жизнь перемалывается в стихи», – написал я когда-то. А жизнь ли перемалывается? Или литература размножается почкованием, порождая из себя же вторичную и третичную литературу? Читаешь и видишь: слишком литература, слишком умно, с демонстрацией эрудиции, с множеством ученых словечек, названий, имен. Герметичная, замкнутая в себе литература. Или «слишком жизнь» – как бы голая.

Великие писатели-одесситы, конечно, были литераторы, очень литераторы, и потому нуждались во встрече с «сырым материалом жизни», как Бабель. Вот Кирсанов – виртуоз, но материал жизни не всегда умел зачерпнуть. Бабель же за всех расплатился, за всю одесскую литературность, сполна нагрузил слово. Одессит, даже когда прозаик – поэт! Как Бабель, Олеша, даже Ильф… Поэт – и порою еще и иронист. Ирония бросается в глаза. Но и восторг, душевный восторг, как бы не до конца преодоленный юношеский романтизм! Нынче восторга стыдятся. И какой же русский не любит быстрой езды? И какой же одессит способен без восторга в глазах смотреть на мир, на море, на город? Это непросто, это иногда больно – быть поэтом, лириком. Но современные поэты кое-что придумали – они… перестали быть лириками!



Не стану называть имен – и так поймет тот, кто умен. Литературная мельница мелет, но то, что выпекается из этой муки, часто непитательно. «И вы будете голодать у накрытых столов» – написал древнеармянский поэт. Он имел в виду голод духа. Сенека, будучи очень богатым человеком, обычно посылал на базар за покупками рабов. Но однажды он решил пройтись по базару и, вдоволь на все насмотревшись, воскликнул: «Как много здесь всего, что мне не нужно!». Увы, такое же ощущение возникает, когда включаешь телевизор. И даже… когда порой открываешь страницы толстого журнала. Последнее особенно досадно. Потому что во время оно журнал передавался из рук в руки и говорили о чем-то: обязательно прочти! Нужно было и прочесть обязательно (иной раз – ночью), и обязательно высказаться в кругу интеллигентных друзей. Литература была хлебом, духовной пищей, она продолжала быть властителем дум. Сейчас она выступает в, так сказать, другой функции. Досугово-развлекательной. Замечательный прозаик В. Пьецух в своем выступлении на фестивале откровенно сказал, что такой профессии, как русский писатель, сегодня нет, писатель на жизнь заработать не может, а если он хочет как-то выживать и даже печататься, он должен рассказывать интересные истории. По возможности не слишком длинные! Ах, какую историю рассказывал Асар Эппель! Умопомрачительную по своей комичности и абсурдности. Я его

помню как потрясающего переводчика польской поэзии – в юности встретил его в квартире Андрея Сергеева, моего литературного друга-учителя, и был свидетелем долгого лингвистического спора, впечатление от которого пронес через всю жизнь. Передо мной были люди образованные. И вот Эппель, который знает много всего, чего мы с вами не знаем, и, может быть, даже и не узнаем… перелицовывает анекдот. И я невольно спрашиваю: зачем? Выражусь сдержаннее: ну, может быть, кому-то он и нужен, но мне-то (сегодня, сейчас!) хочется чего-то более содержательного! Из чего вовсе не следует, что я свысока отношусь к анекдотам. Присутствовавший здесь же Валерий Попов, замечательный питерский прозаик, помню, в те годы опубликовал замечательный рассказ. Человек утром вместо зубной пасты, взял тюбик с мгновенно склеивающим клеем. Кажется, ему позарез нужно было где-то высказаться, но рот заклеен! Хотелось и хохотать, и плакать. Потому что тогда это было обо всех нас!

Литература – это «такая игра»? Не хуже других? Дмитрий Быков и начинал с игры в «куртуазных маньеристов». «Вот – вознесут на миг. О, сколько криков! Да ты у нас писатель, ты поэт! Еще стишок напишет Дима Быков. Стишок неплох. Ну, а поэта – нет». Поэта – нет. В том, прежнем смысле этого слова. Того, у которого за словом «дышат почва и судьба». А прозаики – историю расскажут. Но ведь кроме рассказываемой истории есть История – с большой буквы. Или она уже «умерла»? История ничему не учит? Читая сегодняшнюю литературу, не прогуливаем ли мы уроков истории? Предположим, что История сегодня – это очень древняя старушка, которая почти при смерти. И вот она что-то бормочет, может быть, пытаясь напоследок нам что-то самое важное сказать. Но мы на ее бормотание не обращаем внимания: собрались в соседней комнате за накрытым столом и травим «истории». И весело хохочем. Тем паче, что все равно она нашего хохота не слышит.

* * *

Читатель уже заметил, как много внимания здесь уделяется господину Быкову. Возможно, он сочувственно поймет меня, прочитав последнюю часть этих заметок.

«Я очень рада, что в городе, который отец так ярко и красочно описал, установили ему памятник, кстати, первый в мире. Есть мемориальные доски, но не памятник», – говорила Лидия Бабель. Итак, памятник все же установлен, и притом не просто так, а по инициативе Всемирного клуба одесситов, руководители которого делом доказали, что они отнюдь не липовые патриоты своего города. Казалось бы, точка поставлена. Но в воздухе витает какое-то глухое раздражение. Какое-то желание принизить значение этого факта. Ну что вы, одесситы, все еще носитесь со своим Бабелем? Ну, было, ну прошло, а вот что вы, одесские поэты и прозаики, нынче собой представляете?

В статье москвича Дмитрия Быкова в «Новой газете» прочитал: «Сейчас Одесса пребывает… в явном духовном упадке… здесь очень мало своих поэтов, а те, что есть, — несопоставимы с титанами двадцатых и даже с лучшими из киевлян. С прозой все тоже как-то не очень…». Это его отклик на литературный фестиваль.

В числе мероприятий фестиваля был и круглый стол, посвященный одесскому мифу. Но г. Быков решил, видимо, что он на эту тему высказался не до конца. И вот высказывается. «Нужно, чтобы кто-нибудь громко сказал о пошлости одесского культурного мифа, который в свое время был очарователен, но время это прошло». Нужно совершить «акт освобождения – и отринуть изношенные мифы ради нового величия. Иначе Одесса таки будет ходить по кругу тудой-сюдой и говорить за Беню, чтоб он так был здоров, хотя шо может быть хорошего, я вас умоляю, в бандите, который давно умер-шмумер? Дело надо сделать, одесситы, и потом можно слюни пускать».

Подделка под одесский язык в данном случае мне не кажется слишком удачной. Но Бабель, его личность, его загадка давно не дают покоя Быкову. Бабель – герой романа Быкова «Оправдание»: писателя, согласно достаточно фантастическому сюжету, не расстреляли, а сослали в особые лагеря, где воспитывались некие «сверхлюди», и вот после смерти Сталина он появляется из небытия… Не стану этого комментировать, тем паче что не читал романа, – некогда мне читать современные «бестселлеры». Но психологическую тайну едва ли не мучительного интереса Быкова к Бабелю объяснить попытаюсь. Когда писатель – твой ге-

рой, невольно соизмеряешь себя с ним. И… испытываешь некий дискомфорт. Не в несоизмеримости талантов дело. Дмитрий Быков, вообще-то, способный человек. Но он… беллетрист. А Бабель – писатель. Он трагической судьбой оплатил не только все слова в своих произведениях, но даже точки и запятые. А ведь и до того, как пришла пора расплаты, – знал, с чем играет! Экзистенциальный вес Слова! Этим всегда славилась русская литература. А беллетрист просто пишет, деньги зарабатывает, за успехом гонится. Помните, у Чехова? «И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо, больше ничего, а когда умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: «Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева». Как далеко вперед глядел Антон Павлович! Это ведь сегодня повальное бедствие. Калифы на час – написанное ими и через лет десять читать уже никто не будет.

Дмитрий Быков, видя в Бабеле создателя одесского мифа, хочет этот миф выбросить за борт. «Одессе, если она хочет остаться культурной столицей евразийского Юга, нужен новый миф, – и необязательно ждать нового первоклассного прозаика, чтобы его создать». Звучит вроде бы неплохо. Только вот настораживает некая тенденция – общая для нашей эпохи постмодерна: непременно нужно все предшествующие мифы разрушить, «разоблачить», демонтировать, деконструировать. А потом придумывайте что хотите. Но на каком месте? На пустом?

За внешней эффектностью тезисов кроется поверхностность суждений. Она в природе яркого и многообразного дарования Дмитрия Быкова – он блестящий «фельетонист» нашей «фельетонной эпохи» (в том широком смысле, в каком говорил о фельетонизме Г. Гессе). С концепцией Быкова, что Одесса рифмуется с Петербургом, что это женственная ипостась северной столицы – не стану спорить. Но ведь это лежит на поверхности: Северная Пальмира – Южная Пальмира. А вот ассоциировать Одессу с бабелевскими бандитами не стоит. Нужно различать миф Одессы, как он живет в массовой культуре (именно он у всех на устах, и в силу самой природы массового сознания не может не быть пошлым и убогим), и миф как «дух города». Именно последний и улавливается чутким сознанием человека культуры, именно он

и артикулируется ее творцами-одесситами. Но не сочиняется ими, ибо миф должен возникнуть сам. Отношения писателей с мифом – примерно такие же, как это сформулировал Михаил Глинка: музыку создает народ, а мы ее только аранжируем. В силу счастливого стечения обстоятельств Одесса возникла как город-миф, и этот миф – и в изгибах одесских улиц вкупе с еще чудом сохранившейся архитектурой, и в южнорусской школе живописи, и в особом характере и языке коренных одесситов, и, простите, даже в неуклюжей грации и аляповатой красочности бабелевских бандитов. Но последние, как видим, всего лишь частный случай, отдельное выражение одесского мифа.

А что же это за миф? Миф свободы. Утопия «вольного города». Возникший в силу переменчивых исторических обстоятельств сокровенный замысел европейского города, открытого города, города, в котором осуществляется роскошь человеческого общения. Да к тому же общения разных народов, разных культур. Место, где возможны пиршества духа, какие бывали в счастливые времена, скажем, в эпоху Возрождения. Утопия, разумеется, не осуществилась сполна, как и всякая утопия, но она отбрасывает идеальный свет былых (а может, и будущих) обещаний. Город – перекресток культур, город «разномыслия» и диалога. Одесса как нечто самоорганизующееся, как пространство свободы и жизни. Где в империи можно жить? Там, куда еще не дотянулись костлявые щупальца власти. Как только свобода кончилась, – кончился и феномен Одессы. Но длится традиция. Герои одесской литературы – свободны. Пусть это бандиты, пусть это жулик Бендер, конармейцы и даже маргинал-интеллигент Олеши.

…Дмитрий Быков говорит, что нынешние одесситы несопоставимы с «титанами двадцатых годов». А сам он – сопоставим? И что за дурацкое слово – «титаны» (в мое время так называли баки с кипятком). Дело не в масштабе таланта, но в других временах. Подлых временах, антипоэтических, когда все представления о подлинных поэтических ценностях сместились. Вот, кстати, исполнилось 80 лет поэту Игорю Павлову. Настоящий поэт, который ведет себя совершенно безалаберно, как и положено поэту, наплевательски относясь и к славе, и к изданию книг (я-то уже

не в счет – «пиариться» начал, потому что вынудили, «достали»!). Очень боюсь, что мы можем не увидеть более или менее полного собрания стихотворений Павлова, – да и денег у него на это нет. Ни гроша! Потому что он – страшно сказать… даже пенсию не получает. Вот бы господину Быкову (у которого огромный авторитет, влияние и возможности) и помочь, да заодно и послужить одесской литературе. Ведь глядишь – через пару десятков лет нынешние ее хулители вынуждены будут признать свою позорную близорукость.

Новый миф действительно нужен. Но он не может быть без нового понимания и преобразования мифа старого. Верно, что нельзя жить прошлым, застраивая всю страну памятниками, нужно иметь и будущее. Но для этого нужно, по крайней мере, не затаптывать ростки того что есть в одесской литературе, проявляя московский снобизм и одновременно упрекая обиженных одесситов в провинциализме. Кстати, здесь совсем недавно вышел толстый (!) литературный журнал «Южное сияние». Получивший финансовую поддержку городских властей. О содержании журнала, вероятно, можно спорить… Но сам факт – выразительный.



Владимир Салимон

Ланжерон

Было жарко, и мы с женой вставали рано, чтобы успеть пройтись по остывшему за ночь городу.

На задворках Одесса похожа на древний город, заселенный туземцами. Веселые одесситы сумели сымитировать имперский стиль настолько ловко, что я понял, откуда растут ноги у одесского юмора. Одесса – пародия на мировую столицу. Не являясь таковой ни по содержанию, ни по сути, она напоминает подростка, который в силу своего легкомыслия фотографируется в отцовском кителе, увенчанном орденами и медалями. На узеньких мальчишеских плечах генеральские погоны выглядят смешно, но безобидно. На Одессу нельзя обижаться за ее легкомыслие, ведь в самом деле она – не Москва, не Санкт-Петербург. Она – Одесса!

В парке имени Т.Г. Шевченко по веткам сосен скачут узкоглазые белки с пушистыми хвостами. Жена угощает их дорогими московскими конфетами, а я сижу на скамейке и смотрю на это безобразие с усмешкой. Совсем не потому, что я такой умный и талантливый, просто мне хорошо. Мне не мешает жить жена, меня не раздражают белки, мне нравится Одесса.

Если не лениться, то до Ланжерона можно дошагать за пятнадцать минут, а на большее я не способен. Ланжерон – мой предел.

Сегодня днем наше совместное с Вячеславом Пьецухом выступление в Литературном музее. На обратном пути нужно обязательно зайти в гостиницу и привести себя в порядок, чтобы не выглядеть на фоне тамошней роскоши босяком.

Из новых стихотворений

* * *

В соседней комнате – потемки,
а в нашей – сухо и светло.
Как лента клейкая, к клеенке
прилипло бабочки крыло.

На ум приходит неизбежно
сравнение с сухим листом,
что поднял я с земли неспешно
в лесу холодном и пустом.

* * *

Я вдруг почувствовал волнение,
как будто слабый ветерок,
как будто ветра дуновение,
как если б не был сон глубок.

Но спал я крепко и, наверное,
в известном смысле глубоко,
недаром утро было скверное.
Туманное. Как молоко.

Мне снились женщины счастливыми,
какими не были давно,
поскольку мира под оливами
мужчинам не было дано.

* * *

Большие листья лопуха
покрыты толстым слоем пыли,
как если б их из сундука
достать едва не позабыли.

Случайно вспомнили о них,
поскольку много есть на свете
мест безнадежных и глухих,
где в радость будут листья эти.

* * *

От лыжных палок по весне
в песке еще заметны дырки,
следы немного вдалеке
ужасной чей-то носопырки.

Среди товарищей моих
один я мучаюсь вопросом:
какой зверек оставил их
своим чрезмерно длинным носом?

Откуда он такой урод
среди уродов прочих взялся?
Что мы за люди, за народ? –
спросить хотел, но побоялся.

* * *

Взявшись рассматривать руки свои,
очень я им удивился –
словно проели бетон муравьи.
Камень в песок превратился.

К пальцу большому прилипший табак
выглядел раной глубокой.
Руки такие у нищих бродяг,
смертью погибших жестокой.

Клаудия Скандура

Моя Одесса

Одной июльской ночью я приехала в Одессу. Самолет вылетел из Киева гораздо позже намеченного времени: может быть, в авиакомпании решили, что пассажиров слишком мало, и надо нас объединить со следующим рейсом. Было так жарко, будто я и не уезжала из Италии. В темноте я пыталась найти дома и улицы, которые видела мельком много лет назад.

Я уже приезжала в Одессу в 70-е годы, всего на несколько дней, тогда мы вместе с тремя друзьями – двумя англичанами и одним немцем, которые, как и я, были «стажерами из капстран» при Воронежском университете, – решили вернуться домой морем. Мы задумали своего рода литературное паломничество: на поезде из Воронежа через Кишинев, чтобы своими глазами увидеть места, знакомые нам по произведениям Пушкина, Бабеля, Олеши, и знаменитую лестницу, которая благодаря фильму Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» и сцене с коляской стала, как мы бы сказали сейчас, культовым местом.

Наше путешествие начиналось в Одессе, проходило через Стамбул и Афины и заканчивалось в Венеции, откуда каждый из нас должен был вернуться домой и зажить взрослой жизнью, закалившись за десять месяцев на стажировке в России. Учеба подходила к концу, и мы хотели понять наконец, на что способны. Сейчас, думая об этом, я понимаю, как мы тогда выросли, прикоснувшись к другим культурам и цивилизациям.

Благодаря поэту-одесситу Борису Херсонскому, с которым я познакомилась в Риме, я примкнула к Международному литературному фестивалю журнала «Октябрь» и Одесского литературного музея, поражавшему своей насыщенной программой: на

протяжении пяти дней сплошные чтения, спектакли, концерты, фильмы, встречи с писателями и переводчиками, а кроме того экскурсии по музеям и литературным местам, и наконец, торжественное открытие памятника Бабелю.

Здесь не обойтись от отступления, потому что мое путешествие проходило под покровительством Иосифа Бродского, и тому было несколько причин.

Во-первых, Бродский был в Одессе в 1971 году, был приглашен сниматься в роли секретаря Одесского горкома компартии Украины Н.П. Гуревича. Но когда съемки уже подходили к концу, кто-то донес в Киев, что в Одессе снимают в фильме «Поезд в далекий август» Иосифа Бродского. Режиссер фильма Вадим Лысенко был вызван в Киев, где ему предложили или найти другого актера, или фильм будет закрыт. Бродский вынужден быо уехать, нашли другого актера, но все же на общих планах до сих можно увидеть в фильме Иосифа Бродского.

Во-вторых, именно благодаря тому путешествию я с 2000 года сотрудничаю с нью-йоркским Фондом Бродского («Joseph Brodsky Memorial Fellowship Fund») и постоянно встречаюсь в Риме с выдающимися современными русскими поэтами, куда те приезжают на три месяца, получив стипендию фонда. Я не стану здесь пересказывать историю возникновения и деятельности фонда Бродского: недавно я уже довольно подробно рассказала об этом на страницах вышедшей в Москве книги («Рим совпал с представлением о Риме…» Италия в зеркале стипендиатов Фонда…»).

Напомню только, что 17 и 18 марта 2011 года Американская академия в Риме устроила два вечера, посвященных Иосифу Бродскому, в которых приняли участие близкие друзья, поэты и писатели: Роберто Калассо, Мэри Джо Солтер, Марк Стрэнд, Дерек Уолкотт, Адам Загаевский и Борис Херсонский, один из последних стипендиатов фонда. По этому случаю в университетах Одессы и Рима выпустили небольшую русско-итальянскую книжку Бориса Херсонского «Мраморный лист», иллюстрированную прекрасными фотографиями Людмилы Херсонской. В книге собраны итальянские стихи в моем переводе и стихи из сборника «Семейный архив» в переводе Алессандро Ньеро, Екатерины Марголис и Марко Саббатини.

Особый подход и железная самодисциплина (наблюдать, вспоминать, писать каждый день) сближают Херсонского, как мне кажется, с Юрием Олешей, кстати, тоже одесситом, который пишет: «Итак, я совершенно утратил способность писать… Я сочиняю отдельные строчки. Это возможно, когда человек пишет стихи: проза, статья, драма так не могут быть создаваемы. Я не сочиняю, размахиваясь вперед, а пишу, как бы оглядываясь назад, – не сочиняю, штрихуя, строя, соображая, а вспоминаю: как будто то, что я только собираюсь написать, уже было написано. Было написано, потом как бы рассыпалось, и я хочу это собрать – осколки опять в целое».

Понятно, что Юрий Олеша пишет «Ни дня без строчки» – нечто среднее между дневником и стихами в прозе, – начиная со второй половины 30-х годов прошлого века из-за невозможности писать что-то другое, из-за безвыходности своего положения во времена, уже не позволяющие экспериментов в литературе. Писатель искал новый «способ», новую форму, и вышли строчки, отрывки, которые дали ему чувство полной свободы.

К тому же результату приходит Борис Херсонский, но двигается он от другой, противоположной отправной точки: он предпочел молчать в молодые годы и только после распада Советского Союза стал печататься. Он не пишет прозу, как его предшественник из Одессы, но стихи, в которых постепенно растягивает строки, чтобы описать ежедневную жизнь со всеми ее обстоятельствами, своего рода стихотворения в прозе.

Все образы в его стихах появляются из прошлого, из воспоминаний, из книг, из встреч, которые происходили в Италии, в Одессе или Тернополе.

Камни, лишенные цвета,
среди плотной зелени
всех оттенков с намечающейся желтизной,
все же осень, а есть деревья
с розовой листвой или темно-красный
дикий виноград на оградах,
совсем как у нас, в Одессе.

Одной из причин моей поездки в Одессу было желание представить там эту книгу, к тому же мне очень хотелось принять участие в литературном фестивале наравне с известными российскими авторами.

Многих участников фестиваля я знала только по их книгам, поэтому появление знакомого лица меня очень обрадовало: пришел Асар Эппель, с которым я много лет назад познакомилась дома у Евгения Солоновича. Мы часто встречались в Москве, и я знала его как ироничного и умного прозаика, как переводчика. Но одним незабываемым вечером в 2000 году у меня дома в Риме мы с моим мужем Клаусом и поэтом Тимуром Кибировым были сражены его невероятным талантом сказочника, рассказчика, который фотографирует парадоксальную, гротескную реальность и воспроизводит в ослепительных вспышках фейерверков.

Когда я узнала, что он автор сценария и стихов к мюзиклу по Бабелю «Биндюжник и Король», то ничуть не удивилась, этот мюзикл чем-то похож на работу режиссера и актера Мони Овадии, чей взгляд на творчество Бабеля, по-моему, очень близок Асару Эппелю.

Музыка – главное действующее лицо спектакля «Конармия – L'armata a cavallo» Мони Овадии, которым Городской театр Болоньи открыл сезон 2003-2004 годов, и этот спектакль потом побывал и в Москве.

Некоторые музыкальные части, особенно из той эпохи, были переписаны, чтобы подчеркнуть эпический ритм, риторику военных маршей. Если же говорить о стилистике, в спектакле доминирует новый для Овадии язык – язык эпоса, находящий выражение в поэзии образов и короткометражных фильмов, созданных на компьютере и преобразованных в рисунки, «картины в движении».

Спектакль играется на русском, идише и итальянском. Как объясняет Мони Овадия: «Первые два языка соответствуют музыкальному духу спектакля, его внутреннему миру, потому что язык, в первую очередь, – это звуковая система». Отрывки играются и на итальянском – «языке понимания и смысла». «Конармия» разворачивается как партитура из образов, звуков, музыки, пения и слов, как борьба хора большевиков с хором монархистов.

Между двумя «армиями» – небольшой красный отряд музыкантов на лошадях, под их революционную музыку актеры рассказывают и кричат о смятении побежденных маленьких людей.

Язык живо обсуждался и на круглом столе, посвященном переводу, который вел Асар Эппель, и в котором мне довелось принять участие. Слушатели забросали переводчика А. Глущака вопросами о переводе с русского на украинский, о его необходимости и пользе.

«Будущее без литературы, литература без будущего» – так называлась дискуссия на тему: обретет ли снова литература то же значение для русского общества, что и в прошлом? Вдохновенная речь Ю. Кублановского, с которым я позволила себе поспорить, подняла все еще острый для России вопрос: является ли она частью Европы, или находится за ее пределами? Или, может, она ближе к Америке? Елена Якович попыталась ответить на эти вопросы как во время обсуждения, так и в своих интереснейших фильмах о Викторе Некрасове и Сергее Довлатове.

Пять дней встреч и разнообразных событий, закончившихся не-открытием памятника Бабелю (открытие перенесли на сентябрь), в прекрасном солнечном городе, похожем скорее на Вену с ее австро-венгерским духом.

В Рим я улетела через Киев (на этот раз по расписанию) вместе с Давидом Маркишем. По прибытии я сменила его на его брата Симона, автора исследований о Гроссмане и Домбровском, которого читают все мои студенты в университете. Я приехала в Рим с уверенностью, что не стану ждать еще тридцать лет, чтобы вернуться в Одессу!

Асар Эппель

И вдоволь не мог надышаться

Время, как известно, бывает озабочено своей злобой. Останкинскую башню воздвигнут нескоро. Если глядеть туда, где на фоне купоросных небес она со временем заторчит, увидишь пустое покамест небо.

Тут окраина Москвы, где проживает наша семья. А коль скоро здесь окраина, тут тебе и шпана, и травой все заросло, и корова пасется на улице, и белье с веревки могут покрасть тоже.

После дождя остаются большие лужи. Обойти их не всегда получается. Мешает корова. Остается перепрыгивать. Шпана перепрыгивает. Если при этом она успевает поглядеть на комсомолку у забора, приподнявшую юбку, чтобы прицепить отцепившийся от разлохмаченной резинки фильдекосовый чулок, перескок лужи нарушается, и шпана двумя ногами в нее обрушивается.

Брызг видимо-невидимо. Мат угодившего в лужу уголовен, корова шарахается, комсомолка приникает к забору, так и не прицепив чулок, в прыжке многое окрест видно, но Одессы не видно – хотя она всегда у нас присутствует, – только что шпана, поднимая пыль, отбивал чечетку и пел:

мне здесь знакомо каждое окно, здесь девушки фартовые такие, а мне уже не пить твое вино и не утюжить клешем мостовые…

В тумане скрылась милая Одесса…
Ты ж одессит, Мишка!..

А еще была откуда-то взявшаяся полуизорванная страничка:

…начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца… Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей, с гладкой рысью. Но он дер-

жал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часу и дождался его.

После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошении резолюцию: «Возворотить изложенного жеребца в первобытное состояние», – и Хлебников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивиллове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную салопницу. Он жил один, смещенный начдив, лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива.

Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках. Израненный истиной и ведомый местью, Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору.

– Личность моя вам знакомая? – спросил он у Савицкого, лежавшего на сене.

– Видал я тебя как будто, – ответил Савицкий и зевнул.

– Тогда получайте резолюцию начштаба, – сказал Хлебников твердо, – и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом...

– Можно, – примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом.

– Павла, – сказал он, – с утра, слава тебе господи, чешемся... Направила бы самоварчик...

Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину.

– Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся, – сказала она с ленивой и повелительной усмешкой, – то того вам, то другого...

И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.

– Целый день цепляемся, – повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди.

– То этого мне, а то того, – засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Хлебникову помертвевшее лицо.

– Я еще живой, Хлебников, – сказал он, обнимаясь с казачкой, – еще ноги мои ходют, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут и пушка моя греется около моего тела...

Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона.

Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова.

– Твое дело, командир, решенное, – сказал начальник штаба. – Жеребец тебе мною возворочен, а докуки мне без тебя хватает...

Он не стал слушать Хлебникова и возвратил наконец первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье…

А дальше шли вовсе уж изодранные фрагменты невесть каких страниц, а внизу одной стояла не совсем сохранившаяся надпись: «И. Баб… сказы…».

А еще были «Два бойца», и «Шаланды, полные кефали», и «…молоденький парнишка в бушлатике морском…» Ну да, Утесов же!.. И еще я дважды побывал в ней, Одессе этой. Два раза по одному дню. В первый раз – приплыв на огромном теплоходе с кавказского берега. Теплоход на исходе ночи причалил к спящему пустому городу, по косогору которого поднималась несказанной высоты, ширины и красоты лестница, а на ее вершине виднелся стройный медный аристократ в античной тоге. Мы же, палубные пассажиры, жутко закоченели и поэтому были раздражены и капризны.

Мимо нас проходила какая-то вставшая затемно женщина, а рядом находилась заклеенная афишами тумба. Афиши объяв-

ляли выступления футуристов, в том числе Крученыха и Маяковского.

– Твою такую-то мать! Откуда эти кадавры взялись?!

– Да это же ж не кадаверы. Это же ж фильму снимают… – невозмутимо объяснила женщина…

Так я впервые услышал натуральную одесскую речь.

Во второй раз я был в Одессе тоже всего один день и весь этот день проискал троюродного брата Эдика, адрес которого дал мой московский двоюродный брат, большой фантазер.

Адрес был обстоятелен, но в некоторых частностях оставался непостижим: по нему выходило, что дом одесского родственника находится на перекрестке двух параллельных улиц, находящихся друг от друга на расстоянии квартала. Группы одесситов, собравшиеся вокруг, настаивали, что так быть не может, опровергали друг друга, предполагали невероятные адресные сочетания, но зато у них в конце концов все почему-то согласовалось.

Мама Эдика, пышная дама, сказала мне на одесском наречии, что Эдик или там, где «пароходá», или гуляет по Дерибасовской. «Пароходá» было вторым перлом одесской речи…

…из параллельных непересекающихся улиц стала возникать «*милая Одесса*…», а потом?

Потом был напрасный поиск каких-то неведомых девушек, якобы с нетерпением ждавших нас, но очень удивившихся нашему посещению, по какому случаю пришлось вместо них разыскивать знаменитую цирковую актрису – тогдашнюю пассию моего красавца брата (он действительно был прекрасен!). Увы, поиски оказались безуспешными…

Больше я в Одессе с тех пор не бывал, зато внимал Жванецкому, восхищался романом Жаботинского «Пятеро», ревниво ожидал мюзикла «Гамбринус», потому что сам стал автором спектакля «Биндюжник и Король», широко пошедшего по стране, включая город Одессу, который затем преобразился в двухсерийный кинофильм.

И вот… И вот я наконец стал «*утюжить клешем*» мостовые того города, который по-прежнему зовется Одесса, где трогательно заботились обо мне и моих коллегах, задавали лестные вопросы и ожидали исчерпывающих ответов, где я познакомился с ве-

ликолепным Жванецким, где не услышал ни звука поразительного одесского слога, где во все глаза глядел на высоченные деревья и жил в гостинице «Бристоль», оказавшейся декорацией тысячи и одной ночи. Где повидал новых одесситов, но, как ни старался, не встретил ни Альталены Жаботинского, ни моих драгоценных наставников Аркадия Акимыча Штейнберга, Арсения Александровича Тарковского и Семена Израилевича Липкина – вероятно, мы ходили по параллельным улицам с высокими деревьями и почему-то не достигли ни одного перекрестка.

Но перекрестки же в Одессе есть! Уж кто-кто, а я это знаю. Перекрестки попадаются!.. У одного сейчас вольготно сидит медный Бабель и отделывает фразу из давнего своего рассказа 1918 года, что Одесса расцветет еще «ярким, собственноручно сделанным словом».



Елена Якович

Первое свидание, или «Фонтан черемухой покрылся»

Начну с анекдота. Все-таки про Одессу речь. В Литературном музее мне рассказали историю главного одесского хита «Шаланды, полные кефали…». Автор стихов, киевлянин Агатов, и композитор, ленинградец Никита Богословский, в Одессе к тому времени не бывали и дали в газете объявление, приглашавшее на «Мосфильм» всех, кто знает одесские песни. Пришли одесситы – от профессоров до бывших карманников. Так родилась бессмертная песня к фильму «Два бойца».

И поэтому, сказали мне в музее, там есть ошибки, заметные каждому одесситу. Например, «Фонтан черемухой покрылся». Ну не растет черемуха на Большом Фонтане, только акация, посаженная еще Дюком…

Какая же это мелочь по сравнению с тем, как я понимала эту строчку: «фонтан черемухой покрылся»! Примерно так: на какой-то одесский фонтан упали цветки черемухи, ведь «бульвар Французский весь в цвету». Как же смеялись в музее… Каюсь, не знала я ничего про район Большой Фонтан и про пляжи его знаменитые, и что Ахматова там родилась, и что любимый с детства «Гранатовый браслет» тоже оттуда.

В каждом анекдоте есть доля анекдота. В нашем насквозь залитературенном сознании Одесса никогда не была просто городом, это легенда, миф, от нее всегда чего-то ждешь – языка особого, выходок, стиля.

По сути, это было мое первое свидание с Одессой. Нет, я в Одессе до этого была лет тридцать тому назад, но как-то мы с ней тогда не глянулись друг другу. Я мучительно пыталась найти город Бабеля и Куприна, но помню только, что лифт в гостинице закры-

вался на обеденный перерыв, что «Гамбринус», который мы долго искали, показался подозрительно ненастоящим, ну еще лестницу помню и Дюка… И чувство глубокого разочарования: то ли Одесса уже не та, то ли не мой город.

И вот Международный литературный фестиваль. В этот раз я нашла свою Одессу.

Бабушка, показавшая нам, где Привоз, сама была тем Привозом, которого уже нет и никогда не будет. С этим просто нужно смириться. Нет больше Одессы Бабеля. В Одессе проступают европейские, аристократические, даже, если хотите, дворянские черты. Вольный город Одесса и впрямь напоминает Петербург, о чем шла речь на круглом столе «Одесса – множественное число».

И мне такая Одесса нравится.

«Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря», – вертелась строчка Бродского. В конце концов, первый поэт второй половины XX столетия рифмуется с первым поэтом XIX века, в Одессу сосланным. Только вот империя распалась – даже дважды, да и Одесса провинцией никогда не была. Говорят, во времена Пушкина из Одессы могли выслать в Киев, и это считалось наказанием. Сегодня Одесса превращается в культурную столицу Украины, и не только Украины. В этом смысле Международный литературный фестиваль очень Одессе к лицу. Где, как не в Одессе, и кто, как не Бабель, восстановит связь литературных времен?

Внук Бабеля, Андрей Мамаев-Бабель, привез из Америки моноспектакль по рассказам деда «Как это делалось в Одессе». Вполне себе американский господин, но когда в Золотом зале Литературного музея его окружили одесские старожилы, у него даже лицо поменялось, как будто домой вернулся. Пронзительная выставка замечательной художницы Татьяны Назаренко «Фамильный альбом» о том же: кто мы и откуда, из чьей шинели вышли. И конечно, Михаил Жванецкий, Резо Габриадзе, Давид Маркиш, Асар Эппель – люди-легенды, объединенные любовью к Одессе и к Бабелю.

Странное, давно забытое чувство – слушать стихи в Саду скульптур Литературного музея, когда публике не хватает стульев, и некоторые слушают с окрестных балконов. А читают такие разные поэты, как Юрий Кублановский и Дима Быков.

По воскресеньям в городском саду играет духовой оркестр, и Приморский бульвар все тот же, и дворик в гостинице «Лондонская»… А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем…

В такси, в котором я ехала с Ривьеры до Ланжероновской, диспетчер запрашивал по рации: «Ребята, кто поможет с автовокзалом или Дерибасовской?». Молодой водитель отвечал с чисто одесским достоинством: «Через пятнадцать минут я помогу с Дерибасовской»...



ДЕРИБАСОВСКАЯ ↑ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

История, краеведение

106 **Ева Краснова, Анатолий Дроздовский**
Одесское пехотное юнкерское училище

122 **Юрий Гудыменко**
Неизвестный Сольферини

135 **Олег Губарь**
Энциклопедия забытых одесситов

141 **Олег Сивирин**
Пушка

160 **Геннадий Гребенник**
Записки обитателя одесского истфака

Ева Краснова, Анатолий Дроздовский

Одесское пехотное юнкерское училище

В Российской империи в 1860-1870-х годах проводилась основательная военная реформа, мощным толчком к которой послужило бесславное поражение России в Крымской (Восточной) войне 1853-1856 годов. В реформируемой армии явственно ощущалась нехватка младшего офицерского состава, и поэтому на подготовку офицерских кадров было обращено особое внимание.

С этой целью, согласно приказа военного министра Российской империи Д.А. Милютина № 203 от 17 июля 1865 года, в образованных в ходе реформы военных округах были открыты более



Сабанские казармы



Сабанские казармы

20 новых военных училищ. Тогда и появилось в Одессе первое военно-учебное заведение – пехотное юнкерское училище, призванное заниматься подготовкой нижних чинов пехоты к офицерскому званию.

15 сентября 1865 года на Канатной улице в Сабанских казармах собрались первые 200 будущих воспитанников юнкерского училища, решивших получить необходимое для офицера «научное и строевое образование».

Здание, которое одесситы спокон веку упорно называют Сабанскими казармами, изначально представляло собой обширный магазин (склад) для хранения и сушки зерна несметно богатого помещика и зерноторговца Иеронима Сабанского – мужа блистательной красавицы Каролины Сабанской, которой посвящали стихи поэты Адам Мицкевич и Александр Пушкин. В наказание за участие Сабанского в польском восстании его имущество было конфисковано, передано военному ведомству и перестроено под казармы. Так в Одессе сложился и существует по сей день сборный топоним «Сабанские казармы». Именно в этом здании разместилось в 1865 году вновь созданное юнкерское училище.

Причем, как свидетельствует в своих мемуарах один из первых сотрудников учебного заведения квартирмейстер Иван Елисеевич Бачей, училище располагалось «во второй части Сабанских казарм; передняя часть была занята стрелковым батальоном». Мемуары И.Е. Бачея опубликованы и прокомментированы его внуком, писателем В.П. Катаевым, в повести «Кладбище в Скулянах». Фамилию своего деда Бачея, вышедшего в отставку генерал-майором, и девичью фамилию матери Валентин Пет-

рович дал герою своей автобиографической тетралогии «Волны Черного моря».

Квартирмейстер юнкерского училища И.Е. Бачей занимался хозяйственным обеспечением жизнедеятельности одесского военного учебного заведения несколько лет, пока не перешел служить в штаб округа.

Сам о своей службе в училище он писал, что был казначеем и адъютантом. Канцелярия его помещалась «в нижнем этаже возле ворот, с левой стороны входа; тут же в нижнем этаже были столовая и гимнастический зал».

Занятия в училище начались 2 октября, а «1-го было молебствие и освящение помещений». Продуман был и отдых юнкеров. Как пишет дедушка писателей В.П. Катаева и Е.П. Катаева (Петрова) Иван Елисеевич Бачей: «На Рождество и масленую устраивались у нас в училище спектакли или танцевальные вечера, на которых юнкера и начальствующие плясали до света». На вечера приглашались барышни из епархиального училища и института благородных девиц, за поведением которых неусыпно наблюдали сопровождавшие их строгие классные дамы.

Возглавил юнкерское училище при его создании один из выдающихся военных педагогов, будущий директор Нижегородской графа Аракчеева военной гимназии Генерального штаба капитан И.И. Ордынский, ставший вскоре полковником.

По свидетельству И.Е. Бачея, Ордынский читал по вечерам сверх учебной программы замечательные лекции по русской истории и литературе, привлекавшие и юнкеров и служащих училища. И.И. Ордынский был из плеяды офицеров-просветителей, стремящихся поднять престиж офицерского звания.

Учебный процесс в юнкерском училище поставлен был на очень высоком уровне. В младшем классе изучали общеобразовательные предметы: Закон Божий, русский язык, математику, историю и географию, воинские уставы. В старшем классе – русский язык, воинские уставы, тактику, сведения об оружии, военную администрацию с необходимыми сведениями о способах обучения подчиненных, сбережении здоровья в войсках, военном судопроизводстве и военно-уголовных законах, некоторые сведения об артиллерии, полевую фортификацию, топографию. Кроме специаль-

ных и общеобразовательных предметов юнкера обучались езде на велосипеде, верховой езде, музыке, танцам. Обучение в училище было бесплатным, курс обучения юнкеров продолжался два года.

Для практического изучения воинской службы после первого курса юнкера распределялись по ближайшим частям. Юнкера старшего класса летом занимались в поле съемками, разбивкой и трассировкой окопов.

Общеобразовательные предметы в училище читались преподавателями Новороссийского университета и многочисленных одесских гимназий, для преподавания военных дисциплин прикомандировались офицеры генерального штаба.

В 1876 году для юнкерского училища было построено специальное здание в самом начале Малофонтанской дороги (ныне Французский бульвар). Однако еще долгое время Сабанские казармы использовались как казармы для желающих поступить в юнкерское училище.

В 1878 году после службы в армии во время русско-турецкой войны 1878-1879 годов в одесское юнкерское училище поступил в будущем великий украинский актер Панас Саксаганский (Тобилевич).

В своих мемуарах «Театр и жизнь», изданных в 1932 году, он писал: «В ожидании экзаменов две недели я жил в Сабанских казармах на Канатной улице. Юнкеров приехало около двух тысяч, а принимали в школу только 400 душ. Без денег, без средств к существованию, пошел разгружать пароход с углем и заработал рубля 3 в день. Днем работал, а вечером в уголку при коптящей лампе я старательно готовился к экзаменам».

Саксаганский окончил училище в 1880-м году, служил в армии несколько лет, но любовь к театру пересилила, и он навсегда предпочел сцену армейской службе.

С 1866 по 1902 гг. училище выпустило подпрапорщиками 4701 человека. Многие из них прославили училище, честно служа отечеству в мирное время и на поле брани. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов особо отличились четыре выпускника Одесского юнкерского училища, удостоенные высшей воинской награды Российской империи – ордена святого Георгия Победоносца.

Одним из первых стал георгиевским кавалером, геройски проявив себя при переправе авангарда нашей армии через Дунай 15 июня 1877 года, выпускник 1870 года поручик 54 пехотного Минского полка Иван Моторный. При взятии Шейновского укрепленного лагеря турок 28 декабря 1877 года отличился уроженец Болграда, выпускник 1875 года поручик Данаил Николаев, ставший впоследствии военным министром Болгарии, получивший чин генерала пехоты. Подвиг И. Моторного, Д. Николаева и их товарищей – яркое подтверждение боевой подготовки, даваемой одесским училищем своим питомцам. Всего георгиевских кавалеров – выпускников училища было до начала первой мировой войны 28.

Начиная с 1904 г., юнкера, окончившие училище, выпускались уже не подпрапорщиками, а производились высочайшим приказом в подпоручики в части войск согласно выбранным вакансиям.

Но вернемся к новому солидному зданию юнкерского пехотного училища, сооруженному архитектором В.Ф. Маасом в 1876 году вблизи Малофонтанской дороги (Французского бульвара). На выделенной городом территории архитектор расположил здание, рассчитанное на 250 учащихся, в виде печатной буквы «Т». «Верхняя перекладина» была вытянута вдоль Старопортофранковской улицы в той ее части, которая со временем стала на-



Юнкерское училище

зываться Итальянским бульваром. «Ножка» буквы «Т» рассекала внутренний двор и тянулась почти до забора военного госпиталя. На самом краю ее волею архитектора высится и поныне оригинальная башенка-бельведер в виде античного храма с многочисленными колоннами.

На обеих почтовых карточках – фасадный вид громоздкого здания юнкерского училища. Одна из открыток, согласно типографским пометкам на обороте, издана в 1902 году Фототипией Шерер, Набгольц и К° в Москве. Ей присвоен номер 57 в серии из 150 прекрасных открыток лучших видов Одессы, выпущенных этим солидным печатным заведением.

«Шереровская» открытка показывает здание училища со стороны Мариинской улицы, а вторая из известных «юнкерских» открыток – с противоположной стороны, от Французского бульвара. Открытки изданы примерно в одно и то же время, о чем свидетельствуют одинаковой высоты деревья перед фасадом училища и оборотные стороны открыток с разметкой, применявшейся до 1904 года. На открытке типографская пометка: «Ф.Б.Б. № 904», что, по всей вероятности, означает, что отпечатана она в одном



Юнкерское училище



Юнкерское училище. Литография

из лучших типографских заведений Европы – «Фабрике бумаги в Берлине».

Кроме открыток с видом юнкерского училища известна более ранняя по времени изготовления литография здания, размещенная в альбомчике с литографированными видами наиболее привлекательных зданий Одессы.

Здание училища изображено, как и «Шереровская» открытка, со стороны Мариинской улицы.

Во время Великой Отечественной войны верхние этажи здания были разрушены, в послевоенные годы бывшее юнкерское училище восстановлено в прежнем виде, правда, из трехэтажного оно превратилось в четырехэтажное. Все эти годы и до сих пор здание служило военному ведомству. Поэтому заглянуть внутрь всегда было не так-то просто, но, обратившись вновь к творчеству В.П. Катаева, мы легко обнаружим описание некоторых внутренних помещений училища. Подростком Валентин Петрович посещал его вместе с отцом, статским советником Петром Васильевичем Катаевым, преподававшим юнкерам дважды в неделю русский язык и географию.

«И вот наступил день, когда мы с папой, поднявшись по холодной парадной лестнице юнкерского училища, где в нише стоял гипсовый бюст государя императора, а невдалеке от него сидел на стуле дежурный трубач со своей медной трубой, очутились в громадном сводчатом коридоре, служившем одновременно и церковью, и столовой, и гимнастическим залом, и театром, где на маленькой сцене раза два в год юнкера-любители, загримированные, переодетые, в накладных бородах, усах и париках, разыгрывали разные водевили».

Как видим, на протяжении всех лет работы училища учебный процесс был построен так, чтобы юнкера получили хорошую

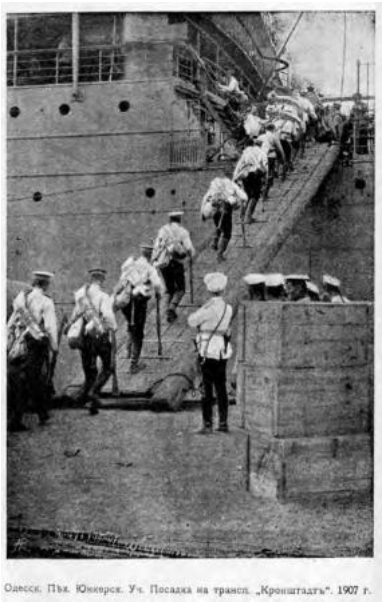
теоретическую и практическую подготовку, и при этом могли полноценно отдыхать.

В училище постоянно устраивались всевозможные военно-спортивные соревнования: по фехтованию, верховой езде, даже по скоростному перепиливанию деревьев. Момент вручения призов юнкерам – победителям соревнований в 1907 году во внутреннем дворе училища стал сюжетом одной из открыток, отпечатанной в одесской фототипии и литографии А. Новака и К. Побуды. Призы вручал полковник И. Микулин, руководивший учебным заведением с 1901 по 1908 год. Эту открытку можно считать хронологически первой из серии ненумерованных, но датированных типографским способом 1907 годом «юнкерских» открыток.

Очень эффективным видом практической подготовки будущих офицеров были маневры. Летом 1907 года юнкера были отправлены на маневры в Крым, причем с ними был откомандирован фотограф, запечатлевший некоторые моменты полевых занятий юнкеров и посещение ими достопримечательностей Крыма. Открытки по выполненным негативам были отпечатаны также в графическом заведении А. Новака и К. Побуды.



Одесское пехотное юнкерское училище. Раздача призов подпоручикам. 1907 г.



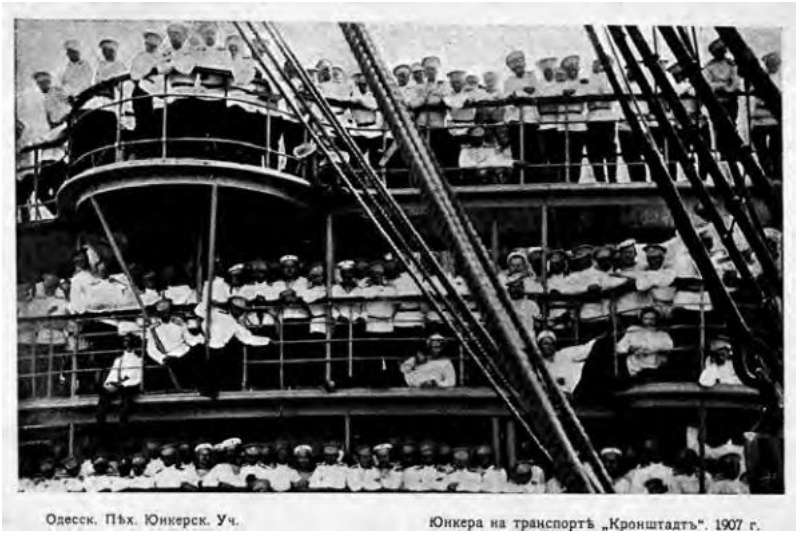
Посадка на транспорт «Кронштадт». 1907 г.

Фототипия была создана в конце XIX века Алоизом Новаком, подданным Австрии, и находилась вначале на Ямской (Новосельского), 77, затем – на Соборной площади. В 1906 году к своему соотечественнику присоединился Карл Побуда, и с тех пор совместная фототипия, цинкография и литография активно и плодотворно работала на печатной ниве Одессы. Логотипом заведения стали слитные первые латинские буквы фамилий владельцев «N» и «P». Их можно увидеть на множестве одесских открыток, фотографиях в иллюстрированных периодических изданиях, путеводителях и т. п.

Если в заведении Новака и Побуды была создана фотолетопись крымских маневров, происходивших летом 1907 года, то описание этих событий было размещено в издававшемся с 1909 по 1911 год журнале юнкерского училища «Юнкерские досуги». Отъезд из Одессы был обставлен очень пышно:

«20 июля 2 роты юнкеров с командой разведчиков и хором музыки в составе 14 штаб- и обер-офицеров, 270 юнкеров, 50 нижних чинов и служителей прибыли в Практическую гавань для посадки на пароход.

Звуки маршей юнкерского оркестра привлекли большое количество зрителей, благодаря чему гавань приняла особенно оживленный вид. Светлые туалеты дам, провожавших своих родственников-юнкеров, смешались с серым – защитного цвета – обмундированием последних. Походное снаряжение придавало им особый боевой оттенок. Но вот отданы концы. Заработал винт, и тотчас же на спардеке грянул марш».



Юнкера на транспорте «Кронштадт». 1907 г.



Бивак у Сара-Алупки. 1907 г.

Иллюстрируют это действо две колоритные открытки: «Посадка на транспорт «Кронштадт» и «Юнкера на транспорте «Кронштадт», не нуждающиеся в комментариях. Последняя открытка – борта отходящего от причала военно-транспортного парохода «Кронштадт», облепленные отъезжающими юнкерами, отражает радостное настроение молодых людей в предвкушении ждущих их в Крыму впечатлений.

Хронологически следующий сюжет – крымская открытка, на которой прибывшие на маневры юнкера обустроили бивак в живописнейшем месте южного берега Крыма – Сара-Алупке.

Лишь одна из коллекционных юнкерских открытых, изданных в фототипии А. Новака и К. Побуды, отражает военные занятия будущих офицеров: «Выстрел из мортиры». Именно эта суровая военная фотография, главное место на которой занимают клубы дыма после выстрела пушки, по задумке дизайнера издательства заключена в живописный круг, украшенный по моде того времени цветовыми узорами в стиле модерн.

Кроме А. Новака и К. Побуды учения в Крыму одесских юнкеров запечатлел и вездесущий одесский издатель Михаил Пиковский,



Одесское пехотное юнкерское училище. Выстрел из мортиры. 1907 г.



Группа юнкеров у памятника Корнилову

создавший фотографическую летопись Одесского кадетского корпуса (о нем и открытках мы писали в соответствующей статье).

Из трех коллекционных юнкерских открыток фототипии М. Пиковского одна прошла почту в 1913 году из Омска в Семипалатинск. Типографская надпись на всех трех открытках: «Одесское пехотное юнкерское училище» – указывает на то, что они вышли в свет не позднее 1.09.1910 года, когда училище было официально переименовано в «Одесское военное училище».

Сюжеты этих открыток – посещение юнкерами памятного места героической и трагической обороны Севастополя во время Крымской войны Малахова кургана и памятника адмиралу В.А. Корнилову – руководителю обороны Севастополя, павшему на поле боя на Малаховом кургане 5 (17) октября 1854 года.

Видимо, юнкера фотографировались на местах былых боев поротно. Поэтому фотограф М. Пиковского сделал два снимка в разных ракурсах одесских юнкеров у памятника легендарному адмиралу. Оба негатива попали на открытки, на обороте одной из них поздравление некой Марии из Павлограда с днем ангела от двух юнкеров, сфотографированных у памятника. Один из них пишет по-украински, но русскими буквами, только так было разрешено писать в Российской империи до 1906 года: «Мы тутечки, но треба цілий телескоп, щоб нас знайты». То есть, чтобы найти знакомые лица среди сотни людей в одинаковой военной форме под памятником, необходимо очень большое увеличение. Открытка хранилась много лет в семейном альбоме, о чем



Группа юнкеров на Малаховом кургане

свидетельствуют характерные навсегда отпечатавшиеся следы его уголков.



Конечно, число открыток, показывающих жизнь Одесского военного училища несравнимо меньше, чем открыток кадетского корпуса. Но существуют, в том числе и в нашей коллекции, оригинальные индивидуальные и групповые фотографии юнкеров вместе с руководством училища.



Юнкер В.В. Горский

Маститый одесский фотограф Б.Ф. Готлиб запечатлел в своем фотосалоне юнкера В.В. Горского. А некий пожелавший остаться неизвестным мастер снял в первой половине 1910-х годов большую группу юнкеров, в центре которой начальник военного учебного заведения с 1908 года генерал-майор М.Н. Голеевский и инспектор классов с 1901 года генерал-майор Г.В. Путято.

Обратимся вновь к уникальному журналу «Юнкерские досуги», один из номеров которого украшает наше одесское собрание. Это № 4 за январь 1911 года, где опубликована групповая фотография взвода юнкеров с начальником училища генерал-майором М. Голеевским, исполняющим обязанности батальонного командира подполковником А. Вахниным и младшим офицером гвардии поручиком И. Петровым. Все военные в новой, только что введенной парадной форме с непривычными металлическими шлемами. Фотография подготовлена для печати в графическом заведении Новака и Побуды.

Журнал отлично оформлен рисунками, заставками и концовками, выполненными юнкерами. Они же – главные авторы рассказов, сказок, статей о воздухоплавании и истории армии, юмо-



Журнал «Юнкерские досуги»

ресок, размещенных в ученическом издании. Можно смело утверждать, что училище выпускало отнюдь не тупых солдафонов, а достойных, образованных и развитых офицеров русской армии.

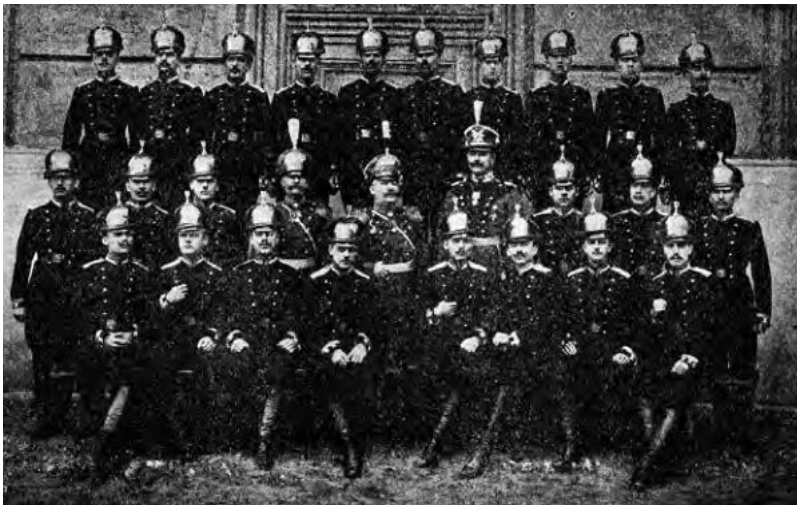
Успехами юнкеров в учебе, изучении теории и практики военного дела остался доволен и инспектор военных учебных заведений великий князь Константин Константинович, отчетом которого открывался коллекционный номер «Юнкерских досугов».

Высокопоставленный инспектор не был удовлетворен состоянием здания училища, возведенного в 1876 году и изначально предназначенного для обучения 250 человек: ведь в 1910 училище готовило 400 юнкеров. Планам строительства нового здания военного училища, предложенного великим князем Константином, не суждено было сбыться.

Как и всякое периодическое издание, «Юнкерские досуги» размещали на своих страницах рекламу. В нашем номере на последней странице обложки реклама солидных одесских парфюмерных магазинов отца и сына Аудерских и мануфактурного магазина Бродского. Предприниматели предлагали господам военным высококачественные товары.

Как видим, не случайно престиж военных был 100 лет назад, да и позднее, очень высок. Готовя достойных младших офицеров, Одесское военное училище внесло свою лепту в укрепление армии Российской империи.

Сведения о судьбе юнкеров, получивших военное образование в Одессе, об организации работы одного из старейших военно-



Взвод юнкеров Одесского военного училища в новой форме во главе с начальником училища г.-м. Голеевским, и. о. батальонного командира подполковником Вахниным и младшим офицером гвардии поручиком Петровым II

учебных заведений Юга России, об истории здания, в котором училище проработало более 40 лет, продолжают появляться в среде коллекционеров, исследователей и потомков.

Юрий Гудыменко

Неизвестный Сольферини

Два портрета из собрания Эрмитажа



Д. Сольферини. Портрет генерал-лейтенанта С.А. Тучкова. 1834. Государственный Эрмитаж

Имя итальянского живописца первой половины XIX в. Джузеппе Сольферини (Giuseppe Solferini) почти ничего не говорит специалистам по истории искусства. В художественных словарях его фамилия встречается крайне редко. В *Thieme und Becker* мы узнаем только, что «живописец из Триеста» Сольферини в 1827 г. был учеником венецианской академии, а в городском музее истории и искусства в Триесте хранится его картина «Каин»; не указаны даже годы жизни*. Поэтому два живописных портрета работы Сольферини, обнаруженные в собрании Эрмитажа, чрезвычайно интересны. Изучение их позволило не только добавить несколько фактов к жизни малоизвестного итальянского художника, но и определить имя изображенного на одном из портретов.

На первом портрете изображен генерал-лейтенант С.А. Тучков (инв. № ЭРЖ-197; х., м. 67×54,5). Память потомков сохранила име-

* См.: Thieme und Becker. Allgemeines lexicon der bildenden künstler. XXXI. Leipzig, 1937. S. 241. Та же информация содержится в Bénézit: Dictionnaire des Peintres, Sculpteors, Dessinateurs et Graveurs. Tome neuviéme. Paris, 1976. P. 689.



Наклейка с текстом на обороте портрета С.А. Тучкова работы Д. Сольферини

на его братьев, участников войны 1812 г.: Александра, Николая и Павла; их портреты украшают Военную галерею Зимнего дворца. Иная судьба оказалась у Сергея Алексеевича Тучкова (около 1766-1768 – 1839), имя которого после его смерти было почти забыто, и восстановлено только в 1874 году публикацией в «Русском архиве» статьи Г.Н. Александрова**. Отметим основные вехи жизненного пути С.А. Тучкова.

Участник войн со Швецией (1788-1790), Польшей (1792-1794), военных действий в Грузии (1801-1804), Молдавии и Турции (1808-1812), Тучков был образованнейшим человеком своего времени; был знаком с А.Н. Радищевым, А.С. Пушкиным, будущими декабристами; знал французский и немецкий языки, политическую историю, географию, артиллерию и фортификацию. В молодости занимался словесностью, перевел на русский язык несколько французских трагедий, написал несколько драматических пьес***; позже оставил автобиографические «Записки»****. Черная полоса в его жизни началась в 1812 г., когда он вместе с армией П.В. Чичагова участвовал в сражениях против австрийских, саксонских и польских войск. С конца этого года Тучков состоял под следствием, числясь по армии без должности. На основе приводимых архивных документов Александров предполагает, что связано это было с доносами польских жителей на злоупотребления

** Александров Г. Черты из жизни генерал-лейтенанта Сергея Алексеевича Тучкова // Русский архив. Год двенадцатый. Тетрадь пятая. М., 1874. Стб. 1131-1148. В приводимых ниже фактах биографии используется данная публикация, а также вступительная статья К.А. Военского к «Запискам Сергея Алексеевича Тучкова. 1766-1808» (СПб., 1908). Авторы этих статей указывают на 1766 г. как год рождения С.А. Тучкова. В другой справочной литературе дается 1867 г., а в тексте наклейки на обороте эрмитажного портрета – 1 октября 1868 г.

*** Тучков С.А. Сочинения и переводы. СПб., 1816-1817. Ч. 1-4.

**** См. также: Записки Сергея Алексеевича Тучкова. 1766-1808. Под ред., вступ. статья К.Е. Военского. СПб., 1908.

войск, бывших в корпусе Тучкова*. Результатом начавшегося разбирательства стал тот факт, что Тучков «был оставлен в Минске и устранен от действия против врагов России»**. Следственное дело Тучкова было завершено только в 1826 г., но лишь через два года он был определен в армию П.Х. Витгенштейша в связи с начавшейся войной с Турцией. Тогда же он переселился в основанный им (еще в 1812 г.) город, получивший впоследствии название Тучков***. В 1828 г. был назначен градоначальником Бабадагской области, в следующем году был произведен в генерал-лейтенанты, а в 1830 г. стал градоначальником Измаила. Памятуя заслуги С.А. Тучкова, император Николай I в 1834 г. наградил его орденом Белого орла (с которым он и изображен на эрмитажном портрете). Однако здоровье Тучкова было уже основательно подорвано, и в 1835 г. он был уволен с должности градоначальника и отчислен из армии. В уважении его заслуг по высочайшему повелению Тучкову было оставлено содержание в три тысячи рублей серебром в год и казенная квартира в Измаиле. Последние годы жизни Сергей Алексеевич провел в Москве.

На обороте портрета С.А. Тучкова сохранилась наклейка с текстом, из которого следует, что картина была исполнена художником «Сульферини» в Одессе «с натуры» в 1834 г. Этот текст подтверждает фрагмент подписи в левом нижнем углу (*ferini*) и сохранившиеся две последние цифры «34». Таким образом, выясняется факт работы итальянского живописца в Одессе «около 1834 года». Известно также, что Сольферини был автором портрета Е.К. Воронцовой, с которого была выполнена литография****. Благодаря О.И. Губарю удалось установить, что в 1836 г. «г-н Соль-

* Более определенно об этом говорит К.Е. Военский: «В конце этого [1812] года, находясь в Минске, Тучков внезапно устранен от должности и предан суду вследствие жалобы Адама Чарторыжского и польской партии по обвинении в разграблении якобы войсками его корпуса имений кн. Радзивилла и захвате 10 миллионов злотых» (Записки Сергея Алексеевича Тучкова. 1766-1808. С. VII).

** Александров Г. Указ. соч. Стб. 1143.

*** Начало строительства города относится к 1810 г. Он был построен близ восточных стен крепости Измаил и получил название Тучков в 1812 г. по указу Сената (с присоединением к нему территории крепости Измаил). В 1818 г. Тучков получает статус уездного города.

**** Княгиня Е.К. Воронцова, урожденная Браницкая (1792-1881) – жена М.С. Воронцова, с 1823 г. генерал-губернатора Новороссийского края и Бессарабской

ферини» числился учителем рисования в Одесском институте благородных девиц*****. Тот же исследователь указал на объявление, напечатанное в «Одесском вестнике» за 1837 г., в котором сообщается, что в октябре 1837 г. «австрийский подданный Иосиф Салферини с семейством» выехал в Италию******. То, что Сольферини назван австрийским подданным, объясняется тем, что его родной город Триест в XIX столетии был столицей Австрийского Приморья – обособленной свободной территории, находящейся под властью австрийских Габсбургов. Как удалось выяснить, отъезд художника мог быть вызван распространением в Одессе чумы, продолжавшейся с октября 1837 по февраль 1838 гг.*******

В каком собрании находился портрет С.А. Тучкова до революции, выяснить не удалось. В Эрмитаж он поступил в 1941 г. в составе коллекции Историко-бытового отдела Государственного Русского музея, где находился с 1929 г.

Второй портрет работы Сольферини (также поступивший в Эрмитаж в 1941 г.) был записан в инвентарь как работа неизвестного художника. Несмотря на то, что на фотографии, запечатлевшей портрет до его реставрации, подпись читается хорошо – справа на уровне плеча: «G Solferini fecit 1832», имя художника было дописано в музейную карточку хранителем А.В. Помарнацким лишь спустя некоторое время. Личность изображенного долгое время оставалась неизвестной. Единственной возможностью определить его имя стало изучение истории бытования этого произведения.

Оказалось, что этот портрет в 1918 г. был передан в Государственный музейный фонд, который располагался в особняке, ранее принадлежавшем А.А. Бобринскому (Галерная ул., д. 58-60). В 1920 г. этот особняк со всем содержимым был передан Историко-бытовому отделу ГРМ как помещение для фондов стремительно разраставшейся коллекции Историко-бытового отде-

области; фрейлина, статс-дама, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины; адресат многих стихов А.С. Пушкина.

***** Автор выражает благодарность историку О.И. Губарю (Одесса) за предоставленные сведения и ссылку на источник информации: Новороссийский календарь на 1837. С. 115 (цензурное разрешение – 1836).

****** Одесский вестник, 1837, № 81 и 83; 9 и 16 октября.

******* См.: Из дальних лет. Воспоминания Т.П. Пасек. Том II. СПб., 1879. С. 278–282.

ла. На момент передачи в особняке Бобринских находились следующие национализированные коллекции: Бобринских, Голицыной, Долгоруковой, Зилоти, Капнист, Крейц, Мещерской, Нарышкиной, Новиковой, Орлова, Салтыкова, Шереметева, Якунчикова, Ферзен, а также «археологическая коллекция» и вещи «неизвестного происхождения».

В трехтомной рукописи особняка наш портрет указан как принадлежащий собранию Бобринского (№ 145-7), то есть он не покидал этот дворец после революции. Поиск имени следовало начинать со знакомства с родословной Бобринских. К счастью, их генеалогическое древо было не очень разветвленным. Род Бобринских вел свое начало от Алексея Григорьевича (1762-1813) – сына императрицы Екатерины II и графа Г.Г. Орлова. От брака Алексея Григорьевича и Анны Владимировны Унгерн-Штернберг родилось четверо детей: Мария*, Алексей**, Павел*** и Василий****. Однако предположение, что на портрете изображен кто-то из Бобринских, не подтвердилось. Павел умер в 1830 г., за два года до написания портрета, а имеющиеся в собрании Эрмитажа дагерротипные и графические портреты Алексея и Василия***** свидетельствовали, что на интересующем нас портрете изображен другой человек. Для дальнейших поисков и предположений необходимо было более подробно ознакомиться с собранием, в котором находился этот портрет до революции.

Для авторов рукописной описи особняка на Галерной совершенно точно было известно, что в собрание Бобринского входило

* М.А. Бобринская (1798-1835) была замужем за Н.С. Гагариным и имела детей: Леониллу (1822-1887), Николая (1823-1902) и Льва (1828-1868).

** А.А. Бобринский (1800-1868) был женат на С.А. Самойловой и имел детей: Александра (1823-1903), Владимира (1824-1896) и Льва (1831-1915).

*** П.А. Бобринский (1801-1830) был женат на Ю.С. Белинской и имел детей: Юлию (1823-1899), Ольгу (1825-1888), Алексея (1826-1894) и Павла (1829-1860).

**** В.А. Бобринский (1804-1874) был женат первым браком на Л. А. Горчаковой (1807-1826); вторым браком на С.П. Соковниной (1812-1869), от которой имел сына Алексея (1831-1888).

***** Внешность А.А. Бобринского известна по дагерротипам (инв. № ЭРФт-27796, ЭРФт-35847) и раннему фотографическому отпечатку, раскрашенному акварелью (инв. № ЭРФт-11263); В.А. Бобринский запечатлен на раннем фотографическом отпечатке, раскрашенном акварелью (инв. № ЭРФт-11265), из собрания Государственного Эрмитажа.



П.Ф. Соколов. Портрет графа Н.А.Самойлова
Начало 1820-х. Государственный Эрмитаж

как минимум двадцать пять живописных портретов, которые были помечены номером «145» и «145в». Большая часть из них в настоящее время находится в собрании Эрмитажа. Их анализ позволяет сделать вывод о том, что все изображенные связаны между собой родственными связями: это, скорее, фамильные портреты, чем «коллекция портретов современников». Среди портретов Бобринских, Екатерины II и Потемкиных значительное место занимают портреты Самойловых: Николая Борисовича******, Александра Николаевича и Екатерины Сергеевны, Николая Александровича и Юлии Павловны.

После изучения «собрания Бобринских» единственно возможным претендентом в качестве изображенного на эрмитажном портрете стал Николай Александрович Самойлов – фигура не очень заметная в русской истории, но по-своему колоритная и характерная. Сын действительного тайного советника графа Александра Николаевича Самойлова, Николай Александрович родился около 1800 г.******* Получил домашнее образование. В июле 1815 г. он был переведен из 4-й конноартиллерийской роты прапорщиком в Лейб-гвардии Преображенский полк. В апреле-октябре 1817 г. участвовал в посольстве генерал-лейтенанта А.П. Ермолова в Персию и затем состоял при нем адъютантом. В августе 1821 г. пожалован во флигель-адъютанты; с июля 1827 г. – полковник в отставке. В 1825 г. Самойлов женился на графине Юлии

****** Н.Б. Самойлов был женат на М.А. Потемкиной (сестре князя Г.А. Потемкина) и был дедом С.А. Самойловой, в замужестве Бобринской.

******* См.: Федорченко В.И. Свита российских императоров. Кн. 2. М-Я. М., 2005. С. 271.



Д. Сольферини. Портрет графа Н.А. Самойлова. 1832. Государственный Эрмитаж

Павловне фон дер Пален, с которой жил в разъезде; от этого брака не было детей, и со смертью Самойлова в 1842 г. пресеклась графская ветвь дворянского рода Самойловых.

Все имущество Николая Александровича (в том числе и фамильные портреты) перешло в собственность его сестры, Софьи Александровны Самойловой, в замужестве Бобринской, бабушки последнего владельца портретов А.А. Бобринского. Это подтверждает бумажная наклейка с текстом на обороте портрета Г.А. Потемкина-Таврического (также происходящего из собрания Бобринских): «Портретъ Князя Потемкина Таврическаго, // перешедшій по наследству Графине Софье Алекс- // сандровне Бобринской от Отца Ея Графа // Александра Николаевича Самойлова. Картина // эта находилась въ местечке Смеле, Кіевской губ. // въ старомъ господскомъ доме, (потом сгоревшемъ) // рядомъ съ костеломъ и перевезена въ Петербург // около 1854 года»*.

Упомянутое местечко Смела находилось в Киевской губернии Черниговского уезда и в XVIII столетии было передано Ксаверием Любомирским князю Г.А. Потемкину-Таврическому, а после смерти последнего в 1793 г. – перешло к графу А.Н. Самойлову. После смерти его сына Николая Александровича Самойлова Смела перешла во владение графов Бобринских. Вероятно, «около 1854 года» в Петербург были перевезены многие фамильные портреты Самойловых, в том числе и портрет работы Сольферини.

* Портрет князя Г.А. Потемкина-Таврического хранится в собрании Эрмитажа (инв. № ЭРЖ-1879).



Сравнительная характеристика черт внешности
изображенных на портретах Д. Сольферини и П.Ф. Соколова

Происхождение эрмитажного портрета из коллекции Самойловых-Бобринских стало не единственным доказательством для предположения, что на нем изображен Николай Александрович Самойлов. Существенным для нас является установленный выше факт работы художника Д. Сольферини в Одессе (можно предположить, что в Одессе написан и портрет 1832 г.), а также свидетельство одного из современников о пребывании в этом городе Самойлова. Так, А. де Рибас писал о нем: «Кутила граф Самойлов, гроза всех увеселительных домов Одессы, ломавший для демонстрации своей феноменальной силы рессоры старомодных одесских дрожек и щедро плативший за все эти бесчинства звонкими рублями»**. К сожалению, обратившись к периодическим изданиям, в полной мере подтвердить нахождение Самойлова в Одессе в 1832 г. не удалось. Мы можем утверждать лишь то, что в этот год его не было в Петербурге.

Дело в том, что объявления в газете «Одесский вестник» о приезде граждан и отъезде из города стали печатать лишь с 1 сентября

** Цит. по: Федорченко В.И. Свита российских императоров. С. 271.

1832 г. (!). С этого числа и до конца года Самойлова в Одессе не было. 24 декабря того же года Н.А. Самойлов въехал в Петербург, о чем сообщили «Санкт-Петербургские ведомости»*. Также стало известно, что «отставной полковник гр. Самойлов» прибыл в столицу из Киева. Оставалось только узнать, в какое время 1832 г. Самойлов прибыл в Киев и откуда. Однако «Киевские объявления» стали выходить лишь в 1835 г.; сведений о других газетах Киева автору настоящей статьи в библиографических справочниках найти не удалось.

Сохранилось два основных иконографических типа Н.А. Самойлова (из известных автору); эти портреты изображают совсем юного графа после 1821 г., – когда он был пожалован во флигель-адъютанты. Речь идет о портретах работы Б.-Ш. Митуара** и П.Ф. Соколова***. «Митуаровский» портрет написан с использованием асфальта, потемневшего со временем и поглотившего существовавшие ранее в живописи полутона. В связи с этим, а также с тем, что голова Самойлова изображена строго анфас, данный портрет трудно сравнивать с портретом работы Сольферини. Зато иконографический тип Соколова обнаруживает много сходства, которое будет более очевидным, если мы мысленно уберем очки, бороду и усы в «сольферинневском» портрете. При всей некорректности данной «операции» (так, трактовка глаз без изображения очков была бы несколько иной), очевидно несомненное сходство в отдельных чертах внешности обоих изображенных. Прежде всего, совершенно одинаковы удлиненный овал лица и несколько тяжеловатый подбородок, прямые брови и нос, рисунок рта и глаз, вьющиеся волосы (более тщательно уложенные на позднем портрете).

Таким образом, бытование портрета в коллекции Самойловых-Бобринских, написание его художником Сольферини в 1832 г. (вероятнее всего, в Одессе), возможное пребывание в Одессе в том

* «Санкт-Петербургские ведомости», 1832, 30 декабря. С. 3092.

** Государственный Эрмитаж; инв. № ЭРЖ-155. Х., м. Время написания портрета неизвестно, между 1821-1826. Вероятно, портрет Ю.П. Самойловой был написан около 1825 г. в «пандан» к уже написанному ранее портрету Николая Александровича. Это предположение связано с тем фактом, что портреты выполнены в разных художественных манерах.

*** Государственный Эрмитаж; инв. № ЭРР-9377. Известно также повторение с этого портрета работы неизвестного художника, выполненное сепией и также хранящееся в Эрмитаже (инв. № ЭРР-504).



Б.-Ш. Митуар. Портрет графа Н.А. Самойлова
Первая половина 1820-х. Государственный Эрмитаж

же году Николая Самойлова, а также сходство «неизвестного» с портретами, изображающими молодого Самойлова (работы Митуара и Соколова) – все это свидетельствует о том, что на эрмитажном портрете изображен именно Николай Александрович Самойлов.

Характер этого незаурядного человека раскрывается нам через скупые строки воспоминаний современников, чаще всего основанных на слухах и домыслах; в этом смысле фигуру Самойлова можно в полной мере назвать мифической.

Большинство дошедших до нас отзывов рисуют графа Самойлова человеком смелым и незаурядным; не случайно за красоту и беспутство он носил в обществе прозвище «русский Алкивиад». Так, А.И. Герцен приводил следующие любопытные анекдоты из жизни Самойлова (насколько они правдивы, судить теперь сложно): «Рассказывали, что как-то на ученье великий князь (Николай Павлович. – **Авт.**) до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера. Офицер ответил ему: «в. в., у меня шпага в руке». Николай отступил назад, промолчал, но не забыл ответа. После 14 декабря он два раза осведомился, замешан этот офицер или нет. По счастью, он не был замешан». И далее в примечании Герцен продолжает: «Офицер, если не ошибаюсь, граф Самойлов, вышел в отставку и спокойно жил в Москве. Николай узнал его в театре; ему показалось, что он как-то изысканно оригинально одет, и он высочайше изъявил желание, чтоб подобные костюмы были осмеяны на сцене. Директор и *патриот* (выделено Герценом. – **Авт.**) Загоскин поручил одному из актеров представить Самойлова в каком-нибудь водевиле. Слух об этом разнесся по городу. Когда пьеса кончилась, настоящий Самойлов взошел в ложу директора и просил позволения сказать несколь-

ко слов своему двойнику. Директор струсил, однако, боясь скандала, позвал гаера. «Вы прекрасно представили меня, – сказал ему граф, – но для полного сходства у вас недоставало одного – этого брильянта, который я всегда ношу; позвольте мне вручить его вам: вы его будете надевать, когда вам опять будет приказано меня представить». После этого Самойлов спокойно отправился на свое место»*.

В настоящее время, вероятно, невозможно утверждать, являются рассказанные Герценом истории выдумкой или былью. Но современники именно так воспринимали этого человека. Долли Фикельмон оставила в своем дневнике (11 апреля 1833 г.) следующее впечатление о Николае Александровиче Самойлове: «...на вечере у Давыдовых интересным был разве что только Самойлов – красивый, гордый, искусный в разговоре, с совершенной осанкой и манерами человека из хорошего общества, хотя ему приписывают все самые дурные пороки; действительно, ничто в нем не внушает доверия, и он мне представляется злым гением»**. Удивительно, как эти слова совпадают с внешностью человека на эрмитажном портрете.

Сборник научных статей
XVII Царскосельской конференции. СПб., 2011

Художник и натура встретились в Одессе

Здесь был бы не к месту подробный рассказ о «русском Алкивиаде пополам с Геркулесом» графе Н.А. Самойлове и его приключениях на одесском театре действий. Важно то, что Одесса занимала значительное место в его биографии. В свою очередь, граф изрядно расцветил синхронную светскую летопись города.

Отсутствие упоминаний о Самойлове в «Одесском вестнике» за сентябрь-декабрь 1832 года вовсе не означает, что в тот период его в городе не было. Изучение сообщений о прибытии и отъезде тех или иных чиновников, военных и в целом социально значимых фигур за все

* Герцен А.И. Собр. соч. в тридцати томах. Том 8. Былое и думы. 1852-1868. Части I–III. М., 1956. С. 58.
** Долли Фикельмон. Дневник. 1829-1837. Весь пушкинский Петербург / Публ. и коммент. С. Мрочковской-Балашовой. М., 2009. С. 268-269.

1830-е годы свидетельствует: сказанная ротация фиксировалась далеко не всегда или не в полном объеме. Скажем, можно видеть публикацию о приезде, но не видеть публикации об отъезде и наоборот. Нередко присутствие в городе того или иного лица надежно фиксируется другими первоисточниками, однако не отражено в газете.

Подобные нестыковки объясняются просто. Информация о перемещениях в пределах империи носила не столько официальный, сколько информационный характер, в отличие от официальных публикаций, связанных с прошениями о выдаче заграничных паспортов. Во втором случае публиковались сведения обо всех лицах, намеревающихся пересечь границу – будь то купцы, мещане, чиновники, аристократы, военные, священнослужители, иностранные подданные. Делалось это для того, чтобы препятствовать бегству банкротов, должников, разыскиваемых нарушителей закона. Что до рубрики «Приехали-выехали», ее скорее можно приравнять к светской хронике: читатели, подписчики живо интересовались появлением известных персон. При этом легко видеть, что такого рода сообщения нередко подверстывались по мере наличия свободной газетной площади, периодически вовсе исчезая, случается, даже в разгар «сезона посещаемости». Поэтому Самойлов мог быть в Одессе как в упомянутые месяцы, так и ранее.

Сказанное наглядно подтверждается разрозненными газетными публикациями разных лет, фиксирующими его перемещение. Например, есть сообщение о прибытии графа Самойлова в Одессу в интервале меж 4-м и 7-м февраля 1836 года[***]. Об отъезде нет ничего. Следующая публикация датируется январем 1837 года: меж 12-м и 15-м числами граф выехал из Одессы в Киев[****]. В следующем газетном номере сообщается о его возвращении, меж 15-м и 19-м числами, но не из Киева, а из Одесского уезда[*****]. Далее находим публикацию об отъезде графа Самойлова из Одессы меж 14 и 17 сентября того же года, без указания направления[******]. В следующем году имя его и вовсе выпадает из «визитной рубрики», тогда как по целому ряду других источников пребывание Самойлова в Одессе в конце 1830-х совершенно очевидно.

*** Одесский вестник, 1836, 8 февраля, № 12.
**** Одесский вестник, 1837, 16 января, № 5.
***** Одесский вестник, 1837, 20 января, № 6.
****** Одесский вестник. 1837, 18 сентября, № 75.

Из крайне любопытного, рельефного текста Болеслава Маркевича, который в юности лично общался с Самойловым в Одессе, можно сделать вывод о наездах графа сюда, начиная со времени его развода с женой, то есть еще с конца 1820-х. Он же, Маркевич, говорит о практически непрерывном проживании Самойлова в городе на протяжении трех-четырех лет во второй половине 1830-х*. Видный медик, общественный деятель, мемуарист Э.С. Андреевский, служивший в Одессе с 1832 года, повествует о светских выходках графа в 1830-х годах**. О, скажем так, пролонгированном и насыщенном событиями пребывании Самойлова в Одессе пишет и авторитетный старожил, думец Иосиф Чижевич***.

Известный бытописатель А.М. де Рибас тоже неоднократно поминает поистине легендарного графа Самойлова****. При этом один из сообщенных эпизодов позволяет однозначно привязать пребывание нашего героя в Одессе еще ко второй половине 1820-х годов. Речь идет о том, что выдающийся сердцеед домогался расположения знаменитой вокалистки Риккорди до ее вступления в брак и смены фамилии на Морикони, под которой она и прославилась*****. Но дело в том, что брак этот состоялся ранее 1832 года, ибо итальянская оперная солистка носила фамилию Морикони и выступала под ней на одесской сцене, по крайней мере, в мае 1831 года******. А.А. Скальковский, приехавший в Одессу летом 1828 г., вспоминает, что Риккорди уже называли Морикони.*******

Резюмируя изложенное, можно с большой уверенностью говорить о том, что пути Самойлова и Сольферини пересеклись в Одессе в 1832 году.

Олег Губарь

* Б.М. Маркевич. Полное собрание сочинений. Т. XI. – СПб., 1885, с. 405-409.
** Из архива К.Э. Андреевского. Записки Э.С. Андреевского. – Т. I. – Одесса, 1913, с. 277.
*** Из прошлого Одессы. – Одесса, 1894, с. 73, 82.
**** Александр де-Рибас. Старая Одесса. – Одесса, 1913, с. 74, 90.
***** Александр Де Рибас. Старая Одесса: забытые страницы. – Киев: «Мистецтво», 2004, с. 328.
****** Одесский вестник, 1831, 2 и 9 мая, №№ 35, 37.
******* Труды Одесского статистического комитета. Вып. IV. Одесса, 1870, с. 55.

Олег Губарь

Энциклопедия забытых одесситов

«И в схватке рукопашной один он стоил двух»

Фамилия этого необыкновенного человека когда-то сохранялась в названии второстепенного переулка старой Молдаванки, меж улицами Прохоровской и Комитетской. Прототип, впрочем, звался по-разному, причем даже в официальных документах: Третецким, Трететцким, Третеским, Третесским, Трететским. Полковник Иван Егорович Третецкий (1789-1853) известен специалистам в области региональной истории главным образом как командир Одесского батальона внутренней карантинной стражи. Подразделения подобного типа были сформированы в Таганроге и Одессе в соответствии с высочайше утвержденным 18 февраля 1818 года мнением Государственного совета «для предохранения от моровой язвы», то есть от чумы. Чинов карантинной стражи тогда и даже гораздо позднее именовали гвардионами, их уважали и одновременно опасались. Гвардионы носили специальную яркую амуницию и обязаны были пресекать всякие попытки проникновения посторонних в карантин, а равно вылазки оттуда лиц, проходящих обсервацию. Они даже имели право решительно применять оружие в случае неповиновения правонарушителей.

Как раз в пору службы Третецкого командиром карантинной стражи, в 1845 году, Одессу посетила популярная в свое время русская писательница Олимпиада Петровна Шишкина, запечатлевшая весьма любопытные детали: «Перед нами и за нами шли с булавами гвардионы (сторожа). Все здесь служащие носят красные рукава, чтобы издалека было видно, что они принадлежат к карантину, и не должно до них дотрагиваться; на офицерах

красные шарфы и красная перевязь на левой руке; часовые стоят с заряженными ружьями, готовые выстрелить в дерзкого, который вздумал бы уйти от надзора». И далее: «Чума была здесь в 1829 году, а потом в 1837. Одно это слово, как страшное привидение, должно смутить все умы, поразить все чувства! Теперь служба в карантине не труднее другой службы, но когда черное знамя возвещает, что в страшном чумном квартале есть жители, малейшая оплошность, неуместное сострадание могут погубить тысячи людей».

Чудовищные подробности чумных эпидемий приведены мной в очерке о докторе Капелло. Здесь считаю необходимым прибавить, что именно чины карантинной стражи в первую голову становились жертвами «моровой язвы». Так, в 1837 году в числе прочих от чумы погибли: карантинный надзиратель Иван Исаев и его супруга Анна, жена гвардиона Мария Куликова, рядовой карантинного батальона Тихон Дудин, отставной солдат карантинной стражи Никита Васильев, фельдфебель 2-й роты карантинного батальона Улыбкин и другие. Что касается Третецкого, он, что называется, ходил по лезвию ножа. И если в 1829-м занимался преимущественно карантинами, то в 1837-м по доброй воле параллельно исполнял обязанности комиссарского помощника в одной из частей города, то есть дополнительно подвергал себя опасности. В эти годы к боевым орденам прибавились… нет, не трудовые, а скорее награды за мужество и самоотверженность, в том числе – медаль за ликвидацию чумы 1829 года.

Мужества ему было не занимать. 16-летним юношей, юнкером, подольский дворянин Иван Третецкий участвовал в кавалерийской атаке под Аустерлицем. Раненный саблей в голову, недолго отлеживался, и с 1806-го по 1814-й год сражался во всех турецких, а затем европейских военных походах российской армии. Бывалые вояки с восторженным недоумением наблюдали, как бесстрашный мальчишка, едва получивший первый офицерский чин, совершает подвиг за подвигом. В 1809-м, прапорщиком, при штурме турецкого укрепления под Браиловым он осуществлял связь меж главнокомандующим Молдавской армией, генералом от инфантерии Н.М. Каменским, и передовыми колоннами, под сильным огнем беспрестанно появлялся то на одном, то на другом участке пе-

реднего края. В том же году участвовал в боях под Исакчой и Тульчой. В следующем году оказался в жерновах еще нескольких сражений, отличился при взятии Базарджика, за что был награжден так называемым Базарджикским золотым знаком.

Направленный с командой в разведку к крепости Рущук, столкнулся с неприятельским отрядом, выполнявшим аналогичное встречное задание. Неустрашимо атаковал и опрокинул врага, переколов штыками 20 лазутчиков, за что получил орден Святой Анны 3-й степени с гравировкой «За храбрость». Буквально через несколько дней после захвата крепости Рущук, при селении Батине, ворвался в расположение турецкой артиллерийской батареи, где в рукопашной схватке собственноручно зарубил и заколол несколько неприятельских чинов. За неустрашимость и воинскую смекалку был пожалован орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом.

В грозном 1812 году, уже в составе армии адмирала П.В. Чичагова, отправился в поход против французов, участвовал в известном сражении на переправе через реку Березину. Снова отличился и получил чин поручика. В 1813-м воевал с французами уже в Германии, за очередные военные подвиги был произведен в штабс-капитаны, прошел еще несколько кровопролитных сражений, участвовал во взятии Гамбурга и в 1814-м вернулся в Россию.

Происходивший из мелкопоместных дворян Каменца-Подольского, Третецкий, как и многие другие офицеры, не имел должного для обеспечения семьи материального достатка. Молодой, отчаянный, он не задумывался о будущем, десять лет отдал бивуакам, получал, вероятно, лишь жалованье, не нажил ничего, кроме боевых ран. Если сравнить его карьеру со стремительным восхождением протежируемых, как говорили впоследствии, детей ответственных работников, мы заметим существенную разницу. Великосветские отпрыски за те же подвиги дослужились бы тогда как минимум до полковников.

У меня пока нет известий о дате женитьбы Третецкого, но берусь датировать ее косвенно. Во-первых, в 1821 году в том же Каменце-Подольском родился его сын Иустин (Юстин) Иванович, впоследствии очень известный военный инженер, изобретатель.

Во-вторых, в 1820-м Третецкого взял под покровительство так называемый Комитет, высочайше учрежденный в 18-й день августа 1814 года. Институция эта, сформированная в годовщину победоносного для россиян сражения при Кульме (1813), занималась оказанием социальной помощи отставным воинским чинам – раненым, увечным, больным, неимущим. То есть Иван Егорович вынужден был прибегнуть к содействию благотворительной организации явно в связи с женитьбой.

Опять-таки, это мое предположение, но, полагаю, вполне обоснованное: Третецкий появился в Одессе, очевидно, не без участия кого-то из его бывших воинских начальников, ветеранов турецких и наполеоновских кампаний. Вспомним, например, о том, что И.Н. Инзов был в тех же сражениях – при Березине и др., не говоря уже о М.С. Воронцове, долго воевавшем в составе Молдавской армии Каменского, и, несомненно, информированном о помянутых неординарных рукопашных схватках и юном герое. Во всяком случае, в 1826-1827 годах Иван Егорович служил комиссаром Одесского карантина, в 1827-1829 гг. Воронцов доверил ему пост полицмейстера в Таганроге, а при появлении чумы Третецкого перебросили на ответственный участок – управлять карантинами на Днестре: в Дубоссарах и Могилеве. В звании директора Одесского карантинного дома он устраивал временный карантин в Маяках. В эти годы генерал-губернатор также возлагал на неутомимого комиссара задания «по карантинному очищению возвращающихся из-за Дуная войск». Кроме того, имевшему опыт военных рекогносцировок и полицейских операций Третецкому поручали розыск и задержание опаснейших степных разбойников, грабителей, аферистов и прочих рецидивистов, стремившихся пересечь границу, каковые поручения «он все исполнял успешно».

27 февраля 1833 года его назначили командующим, а 27 января 1834-го официально – командиром Одесского карантинного батальона. В этой должности Третецкий оставался до самой своей кончины, за эти годы удостоен многих наград и чинов: произведен в полковники (1836), получил пенсию, ордена Святого Станислава 2-й степени (1849), незадолго до кончины – Святой Анны 2-й степени с императорской короной (1853), ранее – знак

отличия беспорочной службы за XXV лет (1830), серебряные медали в память 1812 года и вступления в Париж, золотую медаль «За прекращение чумы в Одессе 1837 г.» (1838) и др. Если бы Господь на два года продлил его дни, он получил бы редкостную награду – за 50 лет беспорочной службы.

При всем служебном рвении обремененный многочисленным семейством командир карантинной стражи вынужден был заниматься бизнесом, и уже в 1835 году устроил черепично-кирпичный завод на Молдаванской слободке. Это был один из двух лучших заводов подобного рода, и его продукция в 1837 году экспонировалась на Первой одесской художественно-промышленной выставке, приуроченной к визиту императорской четы. Согласно архивным документам, хутор на Водяной балке граничил с хутором небезызвестного графа П.А. Разумовского, причем первый владел им еще до окончательного переселения в Одессу, по крайней мере, в самом начале 1830-х. Во второй половине 1840-х здесь было только садоводческое заведение, лишенное каких-либо строений, а потому оно даже не подлежало оценке для платежа полупроцентного сбора в городской бюджет.

Дом Третецкого стоял на углу Прохоровской улицы и переулка, получившего его имя вскоре после постройки, и ранее 1848 года оценен в 1.428 рублей. Впоследствии в нем помещался съезжий дом IV полицейской части города, другое принадлежавшее ему строение (500 руб.) тоже находилось на Молдаванке, на Картамышевской улице. Как видим, недвижимость довольно скромная, хотя для этого района вполне пристойная. Место под этот дом Одесский строительный комитет отвел 17 апреля 1837 года, то есть не позднее весны 1839-го постройка должна была быть закончена. Супруга Третецкого Марья Андреевна показала себя активной сотрудницей Женского общества призрения бедных в Одессе, куда вступила в 1836 году, она и унаследовала недвижимость мужа. К слову, малообеспеченный, в общем, Третецкий и сам фигурирует в перечнях жертвователей в пользу бедных по разным поводам.

Еще живая деталь. Газетное объявление от 24 мая 1844 года сообщает об утере полковником либо его супругой «связки маленьких ключей». Нашедшего убедительно просят доставить

оные в их дом «на Молдаванке, за что получит приличное награждение».

Иван Егорович скончался 6 июля 1853 года нестарым человеком, в возрасте 64-х лет, погребен на Старом городском кладбище. Ни кладбища, ни могилы нет. То есть погребение, вероятно, сохранилось, но место это атрибуции пока не поддается. Одесская глава биографии Третецкого оказалась и деятельной, и счастливой. По крайней мере, он не очень нуждался, пользовался заслуженным уважением горожан и лаской начальства, был окружен и любим большим семейством. Дети не посрамили отцовскую честь. Один из сыновей, Владимир, служил под началом генерал-майора Ф.Ф. Крузенштерна, участвовал в кровопролитном сражении при Силистрии 29 мая 1854 года. Другой сын, известный военный инженер, в том числе теоретик воздухоплавания, пропагандист дирижаблей, подполковник (впоследствии генерал-лейтенант) Иустин Иванович Третесский (1821-1895), выпускник Главного инженерного училища и Инженерной академии в Петербурге, служил помощником начальника инженеров Одесского военного округа (1865); в этой же должности полковник (1866). В реестрах одесских домовладельцев и землевладельцев 1800-1820-х зафиксирован ротмистр Людвиг Третецкий – вероятно, родственник.

Переулок Третецкого с 1950-х именуется Банным. Убежден, он вернет себе прежнее имя, а парк Преображенский, разбитый в середине 1930-х годов на месте Старого кладбища, в конце концов, станет мемориальным, и в числе других на плитах будет высечено имя достойнейшего человека – Ивана Егоровича Третецкого. Вместе с инициативной группой старожилов – М.Б. Пойзнером, А.Ю. Розенбоймом, Ф.Д. Кохрихтом, Е.М. Голубовским, В.И. Хаитом и другими хорошими людьми – предпринимаем возможные усилия по реализации идеи создания мемориала. Присоединяйтесь!

Олег Сивирин

Пушка*

Из документально-художественного цикла «Закопанная война – Одесса 1941-1944»

* * *

После завершения Одесской операции и освобождения территории в несколько десятков тысяч квадратных километров вся брошенная техника, в том числе и стоявшая в балке пушка РаК-40, как и другое имущество, попадало в поле зрения трофейного отдела 3-го Украинского фронта. О работе трофейных отделов не писали героических мемуаров и не снимали пафосных фильмов. Их деятельность всегда была покрыта мраком, словно окутана густым черным дымом от догорающих на поле брани остовов разбитой трофейной техники. Тем интересней было заглянуть в текст документа, раскрывающего особые функции этого таинственного органа. Одним из таких документов является «Постановление Государственного Комитета Обороны № 3210 сс» от 19 апреля 1943 года «Об улучшении сбора и вывоза трофейного вооружения, имущества и лома черных и цветных металлов с полей сражений».

Созданный постановлением ГКО 5 апреля 1943 года Трофейный комитет всю работу должен был организовывать и проводить через Управление трофейного вооружения, имущества и металлолома (УТВИМ) и его фронтовые и армейские органы – трофейные отделы.

Согласно пункту № 1 постановления, на Трофейный комитет при ГКО возлагалось:

а) организация сбора и вывоза всего трофейного вооружения, военного имущества, продфуража и других народнохозяйственных ценностей;

* Окончание. Начало в кн. 47.

б) организация рассортировки трофейного вооружения и имущества (годного для дальнейшего использования, требующего ремонта, подлежащего использованию как лом);

в) организация сбора в прифронтовой полосе и вывоза в тыл всего металлического лома…

Для работы с трофеями при армейских трофейных складах (на всех фронтах) формировались специальные демонтажные группы численностью по 30 человек в каждой из специалистов-танкистов, автомобилистов, артиллеристов и слесарей для извлечения годных агрегатов и узлов из разбитой техники (пункт № 8).

Для работающих в трофейных отделах устанавливался фонд премирования в размере 15% от стоимости отгружаемого лома черных металлов и 5% от стоимости отгружаемого лома цветных металлов. Премии устанавливались и для шоферов в размере 3-5 рублей (в зависимости от расстояния) за тонну доставленного лома (пункт № 20).

При этом к контролю и сохранности собранных трофеев отношение было очень бережное. Пункт № 7 устанавливал, что военные советы фронтов и армий не имеют права своим распоряжением изымать из трофейных складов и использовать трофейное вооружение и имущество…

Судя по некоторым пунктам постановления ГКО, брошенную немцами пушку РаК-40 ожидала база «Вторчермета». Ну, в лучшем случае, были бы отобраны годные для использования детали и узлы. А если бы эта пушка находилась в исправном состоянии? Что ждало трофейную РаК-40 в СССР в будущем? Конечно, это информация многие годы являлась настоящей военной тайной. Однако сегодня уже можно заглянуть в послевоенное время и с удивлением узнать, что захваченные у немцев в годы войны пушки через восемнадцать лет после Победы 1945 года снова начали стрелять на войне. Дело в том, что практически все хранившиеся на складах в СССР трофейные немецкие 75-мм противотанковые пушки РаК-40 в конце 1950-х годов Советский Союз передал вооруженным силам Северного Вьетнама. Там из них были сформированы несколько противотанковых батальонов. Также пушки РаК-40 использовались вьетнамцами как бе-

реговая артиллерия. На появившихся в последнее время в интернете фотоснимках можно увидеть, к примеру, пушку РаК-40 с вьетнамским расчетом, в состав которого входила женщина-корректировщик, задействованную в береговой обороне в провинции Намха. На другом историческом фотоснимке зафиксировано участие нескольких немецких пушек РаК-40 в параде в Ханое в 1960-м году.

А тем временем после окончания Одесской операции работы у трофейных служб оказалось предостаточно. И об этом лучше говорить языком цифр:

«Оперативная сводка за 15 апреля 1944 года… Войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Малиновского в результате проведенных наступательных операций от Южного Буга до Днестра с 25 марта по 12 апреля нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике.

Уничтожено:

Танков и самоходных орудий – 42
Орудий разного калибра – 199
Минометов – 83
Пулеметов – 589
Автомашин и тягачей – 436

Противник оставил на поле боя 26800 трупов солдат и офицеров.

За это время войска 3-го Украинского фронта захватили у немцев следующие трофеи:

Самолетов – 7
Танков и самоходных орудий – 401
Орудий разного калибра – 753
Минометов – 291
Пулеметов – 991
Винтовок – 8820
Радиостанций – 101
Автомашин – 10672
Мотоциклов – 481
Тракторов и тягачей – 208
Бронетранспортеров – 46
Автоприцепов – 392

Повозок с военными грузами – 6203
Лошадей – 2076
Паровозов – 287

Вагонов, платформ и цистерн – 6104 (из них 1377 груженных боеприпасами, продовольствием, горючим, заводским оборудованием, инженерно-техническим и другим военным имуществом.

Складов – 95 (из них с боеприпасами – 52; с продовольствием – 38; с колючей проволокой – 3; с цементом – 2).

Взято в плен 10680 солдат и офицеров.

Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой техники и в живой силе за время наступательных операций войск 3-го Украинского фронта с 25 марта по 12 апреля составляют:

Пленными и убитыми – 37480
Танков и самоходных орудий – 443
Орудий разного калибра – 952
Автомашин, автоприцепов и тягачей – 11708…»

Теперь, через шестьдесят семь лет после окончания Одесской операции и подведения ее итогов, мы из будущего можем, восстанавливая историческую справедливость, добавить в перечень общих потерь противника, в графу «орудия разного калибра – 952» еще одну неучтенную боевую единицу, пушку РаК-40, и изменить цифру на «953»!

Почему трофейные команды 3-го Украинского фронта не выполнили возложенные на них обязанности и не изъяли пушку сразу после освобождения территории, можно объяснить рядом причин. Здесь и весеннее бездорожье, и общее большое количество трофеев, разбросанных в причерноморской степи и в крупных населенных пунктах, с которыми пришлось работать в первую очередь. Ясное дело, спрятанную в глухой балке пушку тогда просто никто из военных не заметил. В том месте и сейчас редко можно встретить человека или автомобиль. В общем, как говорится, иголка в стоге сена. Полуторатонная «иголка», так и не ставшая трофеем, подтолкнула меня к более предметному выяснению судьбы брошенных под Одессой больших и маленьких трофеев.

Совсем иное дело – сформированные в населенных пунктах сразу после освобождения органы местной власти. Они знали и видели все. И как выяснилось, работа по сбору трофеев была среди первоочередных задач, возложенных на местную власть Постановлением Государственного Комитета Обороны № 1156сс от 16 января 1942 года. Этот документ обязывал органы местной власти «о собранном вооружении, боеприпасах и прочем военном имуществе немедленно сообщать органам НКВД или в ближайшую воинскую часть, организовав на месте охрану». Более того, первый пункт вышеуказанного постановления, которое военное командование соединений Красной Армии в обязательном порядке должно было издавать при занятии населенных пунктов, было обращено к гражданскому населению: «…всех граждан, проживающих в освобожденных Красной Армией населенных пунктах, в течение двадцати четырех часов сдать воинским частям, органам НКВД и местным органам власти все брошенное противником и подобранное огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, противогазы, обмундирование, обувь, людское и конское снаряжение, автотранспорт, повозки, продовольствие, фураж и прочее военное имущество, а также имущество, принадлежавшее частям Красной Армии, советским, общественным организациям и частным лицам, и присвоенное гражданами во время немецкой оккупации».

Именно на это постановление, цитируя его слово в слово, ссылались Котовский и Краснооктянский исполкомы райсоветов трудящихся в своих постановлениях от 3 апреля и 7 июня 1944 года, хранящихся ныне в Государственном архиве Одесской области. (Котовск освобожден 31 марта, Красные Окна 3 апреля 1944 года.) Но ни через отведенные двадцать четыре часа, ни через неделю, ни через месяц поставленная задача так и не была решена. О чем свидетельствует очередное постановление Котовского райсовета по этому вопросу от 17 августа 1944 года. То есть через три с половиной месяца после освобождения данной территории. В документе, в частности, сказано: «…ход работ по разминированию и сбору трофейного и отечественного вооружения, боеприпасов и имущества по с/советам района проходит неудовлетворительно». Когда знакомишься с текстом это-

го документа, становится предельно ясно, что самым неотложным, больным вопросом являлся не сбор трофеев, а разбросанные повсюду боеприпасы. Это то, что продолжало убивать и калечить и в те первые месяцы после освобождения, и даже через десятки лет после окончания войны. Вот главный вопрос, которому посвящен практически весь текст постановления, связанный еще и с необходимостью засевать напичканные боеприпасами поля. В документе, в частности, оговаривается создание специальных команд для разминирования с присутствием на опасных работах медработника с необходимыми медикаментами. И главное – проведение среди населения массовой разъяснительной работы о правилах поведения и мерах предосторожности «в минированных местах». Для таких бесед с населением привлекались инструкторы, бойцы-минеры, комсомольский актив, директора и учителя школ…

Казенные бумаги бумагами, а жизнь есть жизнь, и она всегда наполнена живыми чувствами, характерами, и безусловно, своими тайнами. «Не ведает царь, что делает псарь», – тонко подмечали еще наши далекие предки, вкладывая в афоризм информационную избирательность того, что и как излагалось на официальных бумагах, ходящих по, как сейчас принято говорить, «вертикали власти», и того, что происходит в действительности. За сухими строками постановлений, решений, отчетов и актов ни за что не разглядеть того, как на самом деле складывалась судьба оставшихся трофеев, попавших в руки местного населения. Очевидцы и участники тех событий, с кем удалось беседовать, – сегодня уже пожилые люди, а тогда дети и подростки, видевшие все своими глазами. Они единственные свидетели, кто помог составить представление о происходившем на бывших полях сражений в первые месяцы после боев.

Везде и всегда первыми, кто оказывался на поле боя после его завершения, было мужское население разных возрастов из ближайших сел. Гонимые нуждой и действуя по нехитрому принципу «кто первый нашел, того и вещь», люди растаскивали все подряд, в первую очередь, подбирая одежду и продукты питания. Одним из таких «искателей» весной 1944 года был одиннадцатилетний житель Петровки Коля Подольский, который с двумя тезками

сверстниками день за днем стал пропадать в балке уже в первые дни после окончания прошедших здесь боев. Петровка – село в шестидесяти километрах к северо-востоку от Одессы. Здесь находился один из основных немецких опорных пунктов, призванный блокировать Старокиевское шоссе – основную магистраль, ведущую на Одессу. В самом селе и в его окрестностях в конце марта 1944 года немцами заранее были подготовлены оборонительные позиции: по господствующему склону балки были вырыты траншеи, пулеметные окопы и оборудованы блиндажи, сооруженные из спиленных в округе телеграфных столбов и снятых с жилых домов входных дверей. Блиндажи предусмотрительно были утеплены отнятыми у местного населения подушками, матрасами и перинами. По селу – в огородах и возле Покровской церкви – рассредоточили реактивные минометы. За селом установили артиллерийскую и минометную батареи. Провели полевую связь.

Ожесточенный бой продолжался несколько дней, оставив после себя классическую картину поля брани: убитые, застывшие в неестественных позах, воронки от взрывов минометных мин, брошенное оружие, каски, стреляные гильзы и целые патроны, порванные разноцветные провода полевой связи… В первые дни здесь помимо военных вещей можно было разжиться диковинными немецкими продуктами. Например, сыром в круглой упаковке с удобной кольцом-открывашкой или сухими порошковыми напитками разных видов. Каски, противогазные баки, спиртовые горелки, ремни, бинокли, штык-ножи, патроны, гранаты, оружие быстро становились привычными вещами для детей и подростков. Войдя в кураж от такой вольницы, дети начали стрелять из брошенного оружия. Особенным «геройством» считалось у них взорвать немецкую гранату или стрельнуть из немецкого автомата. Но их сразу, пока не закончились подходящие патроны, которых было очень мало, у младших забирали старшие ребята. Зато много было советских винтовок и патронов к ним. Вскоре оружием занялась местная власть. Сейчас трудно сказать, исходило это от трофейных служб или нет, но в селе создали сборный пункт, в котором за сданное оружие выдавали хлеб. Коля сдал советское противотанковое ружье и получил за это 300 грамм хлеба. А домой он тогда притащил выта-

щенный из траншеи матрас. Матрас был измазан грязью и испачкан кровью, и мама этот трофей не приняла. Пришлось выбросить. Мне Николай Васильевич рассказал, когда мы обходили эти места, что с этим матрасом он здорово тогда намучался, доставая его из траншеи из-под тел двух убитых немцев. Показал и старый колодец на окраине села, в который немцы перед отступлением сбросили большое количество противотанковых мин, надолго лишив людей возможности пользоваться водой из источника. Наличие противотанковых мин в арсенале опорного пункта сразу напомнило мне о немецких правилах приоритетности противотанковой обороны. Колодец разминировали только через несколько лет, и то только после многочисленных просьб жителей Петровки.

Сразу после освобождения Петровки кто-то из местных обратился к военным с просьбой разрешить взять с убитых немецких солдат одежду. Немецкие вещи считались особой ценностью, их в первую очередь брали, чтобы перешить на детский размер. Как вспоминал Подольский, это были немецкие куртки, брюки, шинели и пальто на меху. Не перешитыми дети носили только немецкие пилотки. Из вещевых трофеев Коле достались тогда китель и брюки, которые мама долго приводила в порядок, выпаривая усохших в складках материи вшей. Но носить перешитую трофейную обновку Коле пришлось не скоро. В один из походов в балку за трофеями в конце апреля один из троих неразлучных приятелей, раскручивая немецкую гранату, подорвался. Погиб Колин приятель сразу, а их двоих сильно ранило разлетевшимися осколками. Подольский шесть месяцев пролежал в местной больнице. А убитого одиннадцатилетнего мальчика похоронили 2 мая 1944 года.

В эти же дни и недели сражения проходили не только на земле, но и в небе, где противостояли друг другу советская 17-я Воздушная армия и немецкий 4-й Воздушный флот с союзным румынским авиационным корпусом. Жертвы воздушных схваток, оказавшись на земле, тоже становились доступными для людей трофеями. Одним из таких крылатых трофеев, превратившийся в место паломничества, стал упавший в нескольких километрах западнее Петровки, в районе села Александровки, немец-

кий трехмоторный транспортный самолет. Судя по описаниям, это был Ю-52 (Ju-52), или «Тетушка Ю» (Tante Ju), как иронично-трогательно называли эту машину сами немцы из-за ее толстого угловатого фюзеляжа. Этот самолет остался в памяти людей благодаря тому, что стал источником появления в окрестных селах множества кустарных расчесок. Дело в том, что из дюралевых частей лежащего самолета умельцы вырезали нужных толщины и размеров полосу, а в ней уже делали пропилы необходимой частоты и глубины, а затем просто шлифовали изделие. Выходила модная расческа.

История с еще одним Ю-52, сбитым в районе Тилигульского лимана и севшим на брюхо на склоне в Кошарской балки, на еще оккупированную немцами территорию, хранит в себе и трагические воспоминания. Кто-то из местных первым делом попытался слить керосин. Застигнутые за этим занятием два человека были тут же, рядом с самолетом, расстреляны. В дальнейшем этот самолет разбирался на части для хозяйственно-бытовых нужд жителями села Ранжево. Так одна семья выломанные из самолета трубчатые дюралюминиевые конструкции диаметром в разных местах в 5-6 сантиметров при небольшой доработке приспосабливала в разное время и под оглоблю, и под дышло (одиночная оглобля в парной конской упряжке). До этого обычно жерди для оглобли делали из легкого и прочного дерева, которое все равно рано или поздно приходило в негодность. А тут буквально с неба упала почти готовая оглобля для упряжи лошадей из крепкого и надежного дюралюминия. А потому исправно служившая в этом качестве не одно десятилетие после войны, благодаря чему и сохранилась до наших дней в первозданном виде.

Из всех встреченных мной трофеев, приспособленных к мирной жизни, пожалуй, самым жизнеутверждающим, по сути своего перерождения и использования, стала простая гильза от немецкой полевой 105-мм гаубицы, являющаяся ныне экспонатом в школьном музее в районном центре Коминтерновское. Железная гильза, наверное, еще не успела остыть после смертоносного выстрела, как сразу была подхвачена смекалистой хозяйкой, и многие годы, практически до начала XXI века, переходя по наследству, служила удобной формой для выпечки пасхальных куличей к светлому празднику Воскресения Христова.

Что касается другой трофейной мелочи, то она присваивалась и использовалась повсеместно, служа потом в хозяйстве и быту. Вещи, в основном, старались перешивать на детей. Ремни носили с выбитыми с бляхи немецкими атрибутами войск. В стеклянных бутылках из-под ликера хранили подсолнечное масло. В противогазных баках держали кто табак, кто солидол, кто гайки и болты. Немецкие канистры для горюче-смазочных материалов, добротно сделанные, эмалированные внутри, люди использовали по прямому назначению – хранили и хранят до сих пор бензин для личного автотранспорта. Разнообразные штыки перетачивали для забоя домашней скотины. От гильз крупнокалиберных орудий отпиливали донышки и делали латунные тарелки, вмещавшие как раз два черпачка украинского борща. Но безусловно, самыми распространенными как по количеству, так и по простоте использования в доморощенной конверсии стали немецкие каски. Их можно было видеть почти в каждом дворе в селах, рядом с которыми проходили бои или имелось немецкое кладбище. Созданные из качественной стали, каски десятки лет, до 1980-х годов, в перевернутом виде с удаленным подшлемником служили емкостями для воды и корма для домашних животных. Любопытно то, что нечто подобное, только в промышленных масштабах, происходило в послевоенной Германии. Там старались переделывать оставшееся в огромном количестве военное имущество для бытовых нужд населения, в том числе и в кухонную утварь. Подробно об такой работе рассказывалось в документальном фильме, созданном западными историками. В фильме были продемонстрированы кадры хроники, в которых было показано, как на бывшем военном заводе стальные немецкие каски переделывают в кухонные дуршлаги.

В противовес простым людям облеченные властью советские чиновники старались обзавестись более значимыми вещами – исправным трофейным транспортом. Достаточно большое количество техники, подобранной населением за несколько месяцев, создало устойчивый черный рынок трофейной техники. Растаскивание движимой трофейной техники, происходившее с апреля по август 1944 года, приобрело настолько массовый характер, что в процесс решительно вмешались военные…

Углубившись в исследование этого вопроса, в одном из военных ведомств я нашел интересный документ, имеющий прямое отношение к судьбе оставшейся в прилегающем к Одессе с севера-востока Коминтерновском районе трофейной техники. Документ ранее никогда не публиковался, а потому привожу его полностью в оригинальном виде.

Приказ № 88 по Коминтерновскому Райвоенкомату от 24 августа 1944 года:

«Имеют место случаи незаконного приобретения предприятиями, учреждениями и частными лицами трофейных автомашин, мотоциклов, велосипедов, которые являются боевыми машинами, а не транспортными средствами передвижения, и подлежат немедленному изъятию у учреждений, предприятий и частных лиц все автомашины, мотоциклы, велосипеды.

На основании приказа командующего Одесского военного округа приказываю:

§ 1

С получением настоящего в трехдневный срок представить в райвоенкомат все трофейные автомашины, мотоциклы и велосипеды как предприятиями, учреждениями, так и частными лицами.

§ 2

За невыполнение приказа виновные будут привлечены к ответственности по законам военного времени.

Райвоенком, майор. Подпись».

Как видно из текста этого грозного приказа, о сохранности брошенных на территории Коминтерновского района бронетранспортеров, реактивных минометов, пушек и самолетов речь вообще не идет. Хотя, как выяснилось, эта тяжелая техника продолжала стоять на полях и в селах Коминтерновского района. И вправду, одно дело укатить машину или мотоцикл, не говоря уже о велосипеде, и совсем другое – освоить тяжелое орудие. Ведь сами немцы, к примеру, для замены ствола пушки в полевых условиях задействовали ремонтные команды и специальную технику. Поэтому для проводимой индивидуально «конверсии» требова-

лись смекалка, умение и богатырская сила. В общем, нужно было основательно повозиться и вдобавок иметь в наличии соответствующий моменту инструмент и гужевой транспорт. Поэтому и стояла пушка РаК-40 несколько лет нетронутой и никому не нужной.

Справедливости ради стоит сказать, что о немецкой пушке со временем все-таки стало известно в районном центре. Как рассказывал мне отец, это было еще «при Сталине». В конце 1940-х годов приехали на мотоцикле два офицера из Коминтерновского военкомата и осмотрели встроенные в погреб части пушки. Их интерес к частям пушки был вызван не самой трофейной единицей, к тому времени уже разобранной, а на предмет подтверждения безопасности использованных в постройке частей пушки. «Хороший погребок, долго будет служить», – сказали на прощание удивленные увиденным военные.

А во время издания приказа, в августе 1944 года, война продолжалась, и мой дед продолжал воевать, наступая на Запад, где ему суждено было даже побывать короткое время в немецком плену, откуда удалось сбежать. Тогда в хаосе фронтовой неразберихи, среди обезображенных до неузнаваемости тел, похороненных в братской могиле, его по ошибке зачислили в число убитых. И через время молчаливый почтальон принес на дальний хутор похоронку, извещавшую о гибели Сивирина И.Т. Бабушка моя – бедная женщина, как она тогда боялась стука в дверь почтальона, сообщавшего семье о потере за потерей! Сначала пришло известие о том, что в мае 1944 пропал без вести ее младший брат Федор. Затем принесли похоронку на среднего брата Андрея, погибшего 31 декабря 44-го года у местечка Юрем в Венгрии. И вот снова знакомый стук… Теперь она узнала, что стала вдовой. Вдовой с тремя малолетними детьми. В такой печали она прожила почти два года, пытаясь как-то жить в послевоенном горьком мире. И после того как муж всем смертям назло вернулся живым, после всего пережитого, им, как и многим людям, тогда хотелось как можно быстрее забыть о страшной войне. Хотелось строить новую мирную жизнь. Одним из таких маленьких штрихов к устройству своей новой жизни была постройка обычного погреба. Выстроив его из частей вражеской пушки, демобилизованный солдат перевоплотил призванного убивать железного монстра в жиз-

неутверждающую конструкцию погреба, издавна считавшегося в сельском быту культовым сооружением – вместилищем съестных припасов, залогом жизни в завтрашнем дне для всей семьи. И этим своим простым и неприметным творением у моего деда, простого человека, невольно и воистину по Хемингуэю, получилось очень выразительно сказать: «Прощай, оружие!».

* * *

Из практически целой пушки, законсервированной в постройках хуторского двора, к середине 2000-х годов дошли несколько частей и отдельных фрагментов. Среди них уцелели основные элементы орудия – ствол моноблок, состоящий из ствола, соединительной муфты и дульного тормоза, распиленные трубчатые станины и два круга диаметром 28 сантиметров, вырезанные электросваркой из бронированных щитов. Сами щиты за год до начатых мной работ по сохранению военной реликвии, к сожалению, были сданы в металлолом. Остальные части пушки также в течение нескольких предшествующих лет были украдены и сгинули в пунктах приема металлолома. Но даже оставшиеся детали пушки, как выяснилось позднее, сами по себе таили много интересной исторической информации. Как и предполагалось, под слоем грязи и ржавчины были скрыты клейма заводов-производителей. Первой нашлась маркировка на дульном тормозе, состоящая из отдельно нанесенного знака в виде щита с буквами внутри и набора букв и цифр, выбитых в одну строку, – «FI 3071». Аналогично была выбита маркировка на соединительной муфте – «FI 4301 bcd». Намного сложнее обстояло дело с поиском клейма на стволе. Помимо того что размеры нанесенных клейм были ничтожно малы (высота букв и цифр в маркировках варьируется от 6 до 8 миллиметров), так еще в придачу четырехсоткилограммовый трехметровый ствол требовал серьезных усилий нескольких человек для передвижения, необходимого для детального осмотра. (Достаточно сказать, что для первоначального извлечения ствола пушки из присыпанного землей строения и его дальнейшей транспортировки потребовался трактор, грузовой автомобиль и помощь нескольких человек.)



Момент извлечения ствола пушки
Кадр из видеосъемки автора. 31 июля 2007 г.



Транспортировка четырехсоткилограммового ствола пушки
Кадр из видеосъемки автора. 31 июля 2007 г.



Вид ствола пушки
Фото автора 31 июля 2007 г.

Ствол пришлось досконально, буквально сантиметр за сантиметром осматривать в течение несколько часов, чтобы в конце концов обнаружить искомую информацию. На средине ствола помимо заводского клейма «FL 2579 bwp» был выбит, согласно существовавшему в немецкой военной промышленности порядку, знак приемки Управления вооружения (Waffenamt), представляющий собой орла с распростертыми крыльями, держащего в когтях свастику. Под орлом выбит набор букв и цифр: «WaA..» (аббревиатура от названия организации Waffenamt) и цифровой код конкретной инспекции, проводившей тестирование и приемку этой пушки перед отправкой на фронт. Как видим, снятые с деталей данные, состоявшие из набора букв и цифр, представляли из себя закодированную, как настоящая военная тайна, информацию. В то же время в появившихся в последнее время многочисленных справочниках, посвященных производству стрелкового оружия и амуниции, обнаружилось полное отсутствие предметной информации о производстве тяжелой техники в Германии. Выход был один – обратиться к первоисточнику, то есть на завод «Rheinmetall», серийно производивший в годы вой-

ны пушки РаК-40. С помощью немецкого благотворительного фонда «Общество развития» удалось связаться с представителем компании «Rheinmetall». Здесь стоит уточнить, что сегодня «Rheinmetall» – это крупнейший в Европе производитель вооружения и автомобильных комплектующих. По производству вооружений концерн находится в четверке мировых лидеров. Производственные площади компании находятся в семи странах мира с общей численностью сотрудников 20000 человек. Среди современной продукции компании все та же военная техника, только уже другого поколения: радиолокационные станции дальнего обнаружения, бронированные машины спецназа, беспилотные летательные аппараты, роботы разминирования, самоходные артиллерийские установки.

...Представитель компании, ознакомленный с историей данной пушки по переданным ему фотографиям заводских клейм, помог расшифровать трехбуквенные комбинации, стоящие на двух деталях пушки. Как выяснилось, в изготовлении «нашей» пушки РаК-40 участвовали несколько смежных предприятий, выполнявших заказы «Rheinmetall». Так, соединительная муфта, согласно нанесенному коду «bcd», была изготовлена на фабрике им. Вильгельма Густлоффа (в оригинале: Wilhelm-Gustloff-Werke), находившейся в городе Веймар в земле Тюрингия. Ствол пушки с кодом «bwp» и клеймом госприемки создавался на Берлинском Ангальтском машиностроительном заводе (в оригинале: Berlin-Anhaltinische-Maschinenbau AG) в городе Дессау, в земле Саксония-Анхальт. Также в письме сотрудника «Rheinmetall» указывалось, что данный тип шифровок – года изготовления и заводов-производителей – в целях особой секретности был введен после 1943 года, так как в предыдущий период год изготовления на пушках указывался цифрами. Таким образом, нам удалось определить, что пушка РаК-40, оставленная под Одессой в апреле 1944 года, была выпущена в первые месяцы 1944 года. То есть была практически новая. Примечательно, что введенные в 1944 году немецкими военными шифры для военных заводов хранят свои тайны до сих пор. По этому поводу процитирую далее отрывок из переведенного письма с «Rheinmetall»: «Буквенные комбинации FI и FL, возможно, означают дату изготовления пушки.



Вентиляционная труба погреба, сделанная из части трубчатой станины немецкой пушки
Кадр из видеосъемки автора. 31 июля 2007 г.



Часть трубчатой станины пушки, много лет служившая столбом для бельевых веревок
Фото автора. 26 августа 2010 г.

К сожалению, в отличие от других подобных кодов, значение которых можно найти в литературе, данную комбинацию не удалось расшифровать...». Что касается заводской маркировки на дульном тормозе, то из-за сильной коррозии металла буквы на ней трудно различимы. Пока можно остановиться на варианте трехбуквенной комбинации «evz» и, исходя из этого, предположить, что данную деталь для пушки изготовил металлургический завод Bergbau AG в городе Зальтитттер. Также не удалось пока расшифровать заводскую маркировку на болтах пушки.

Работа по исследованию истории пушки будет продолжаться и дальше. Теперь уже на новом, постоянном месте хранения – на вновь созданном мемориальном комплексе Мемориала 412-й береговой батареи в поселке Чебанка, куда, по единодушному решению моей семьи, переданы в дар сохранившиеся военные реликвии. И одним из первых шагов при планируемой реставрации будет попытка выяснить наличие боевых подвигов у пушки: под слоем ржавчины на стволе, возможно, сохранились фрагменты особых меток в форме колец, согласно традиции, наносимых немецкими артиллеристами на ствол. Количество нанесенных на ствол колец соответствует количеству подбитых танков. (По аналогии с традицией летчиков второй миро-

вой войны наносить на фюзеляж самолета отметки (кресты, звезды) о каждом сбитом самолете.) Ведь несмотря на то, что, как удалось установить по номерам, пушка была новая, она все же успела повоевать. Об этом красноречиво свидетельствует состояние броневого щита орудия: все, кто его видел, – от моего деда и отца до местного фермера, вырезавшего для своих нужд по незнанию из щита два круга, – в один голос утверждали, что внешняя сторона щита была изрешечена следами от попаданий пуль и осколков.



Круги, вырезанные электросваркой
из бронированного щита пушки
Фото автора. 22 июня 2010 г.

* * *

Все это удивительная история с немецкой противотанковой пушкой, прошедшей путь, начиная с цехов немецких заводов и грозного оружия на полях сражений, – до набора стройматериалов для сельского погреба, едва не превратившейся на этом пути в бесформенную груду металлолома, в эти дни, наконец, в виде сохранившихся частей становится военно-историческим экспонатом и своим появлением в новом качестве невольно встраивается в один ряд с другими одесскими пушками-трофеями. Замечал кто-то ранее эту особенность или нет, но так происходило, что после военных действий в Одесском регионе, которых, слава Богу, было не много, символичными трофеями оказывались именно пушки. Всем этим пушкам в полной мере соответствовали научные определения термина «трофей» – как «почетной военной добычи, захваченной у неприятеля», и «вещественной памяти о какой-либо победе». Явно просматривается какая-то закономерность. Как будто для Одессы важнее всего было, чтобы замолкли именно пушки. И не просто замолкли, а еще и были бы выставлены на обозрение горожан. Попробовав на миг отбросить привычный порядок вещей материального мира, мы найдем

подсказку сакрального смысла «пушечных» ритуалов в известном выражении: «Когда говорят пушки – музы молчат». И здесь уместно напомнить о славе Одессы как города, взращивающего на своей благодатной почве удивительно талантливых людей, которым, как известно, покровительствуют всевозможные музы. Теперь просто перевернем афоризм – и получим желанное для Одессы: «Музы говорят, когда молчат пушки»! Заветные слова, претворяемые, как показывает военная история Одессы, в жизнь.

Так было с умолкшей в 1854 году английской пушкой с фрегата «Тигр», которая в числе других орудий была поднята со дна, и только по воле случая не попав в переплавку, через сорок девять лет была с трудом отыскана и к 50-летней годовщине бомбардировки Одессы, в сентябре 1904 года, установлена на постамент. Правда, и до, и после английской пушки в Одессе XIX столетия было немало еще турецких трофейных пушек, и служивших причальными тумбами, и даже «мирно стреляющими» в центре города, – сигнализируя выстрелом точное время суток. Но все они были, так сказать, не с «одесского театра военных действий». (Подробно об истории турецких пушек, их происхождении, использовании и местах дислокации, можно прочесть в серии публикаций известного исследователя истории Одессы Олега Губаря.)

Еще более значимым для города оказался захват румынских пушек чешского производства в период обороны Одессы в 1941 году. Эти пушки перед своим захватом успели принести городу много бед. Установленные в конце августа в районе Чебанки, они целый месяц через залив вели обстрел города. Затем в результате контрудара были захвачены и на следующий день провезены по улицам Одессы. На стволах и щитах трофейных пушек мелом были выведены две надписи, сделанные в характерном для Одессы остроумном стиле: «Она стреляла по Одессе. Больше по Одессе стрелять не будет». Даже сегодня трудно переоценить значение этих слов для одесситов, живших тогда под систематическими авианалетами и артобстрелами этих самых пушек. По сути, это была первая публичная демонстрация трофеев в Великой Отечественной войне. Этот маленький парад стал настолько неординарным событием, что вошел практически во всю лите-

ратуру, посвященную обороне Одессы. Более того, в кинофильмах «Жажда» и «Подвиг Одессы» также художественно отображены эпизоды с провозом по городу захваченных трофейных пушек с остроумными надписями. Правда, все пушки в кино бутафорские. Настоящие остались только на фотографиях.

И только военный апрель 1944 года, казалось, не оставил в истории Одессы трофейной пушки со своей особенной историей. Однако прошли годы, и сейчас можно сказать, что одна все-таки вернулась из небытия, для того чтобы теперь послужить и на радость музам, и на благо военной истории Одессы. И пусть теперь умолкшие навеки жерла турецких, английских, румынских, немецких трофейных орудий станут для одесситов постоянным живым напоминанием о храбрых воинах, защищавших и освобождавших наш любимый город.

Автор благодарит за помощь в работе над материалом В.В. Поповскую, Н.Н. Копко (с. Касьяны, Коминтерновский район), Н.В. Подольского, В.Л. Калюжного (с. Петровка, Коминтерновский район), Т. Бальцер (Благотворительный фонд «Общество развития», Германия), П. Шелухина-Серого (г. Одесса).

Геннадий Гребенник

Записки обитателя одесского истфака*

7

Надо сказать, что просто история как описание феноменального мира меня не устраивала. Меня тянуло на глубину, где сияют своим таинственным блеском онтологические структуры. Готовя себя «в ученые», я считал, что методология истории в самой истории не содержится, ее надо искать в философии. Поэтому третий и четвертый курсы у меня прошли под знаком философии. А философия у нас была представлена историей философии, диалектическим и историческим материализмом.

Историю философии читал нам молодой профессор Владимир Николаевич Костюк. По моей прикидке, тогда ему было 39 лет. С первого взгляда было ясно, что перед нами незаурядная личность.** Он читал историю философии весело, с интеллектуальным блеском, как увлекательное приключение мысли, которая путешествует из одной эпохи в другую, «переодеваясь» соответственно времени. Философ – человек на все времена.

Под впечатлением от лекций В.Н. Костюка я погрузился в чтение древних философов в надежде почерпнуть у них мудрости. Нельзя сказать, что именно Костюк вызвал у меня интерес к философии, просто он вовремя «подбросил дровишки в разгорающийся костер». Для начала я прочитал и законспектировал диалог Платона «Апология Сократа». С тех пор я открыл для себя Платона, а личность Сократа навсегда сделалась фактом моей лич-

* Окончание. Начало в кн. 45-47.

** К тому времени за его плечами были истфак, мехмат, защита кандидатской и докторской по философии. Позднее, уже работая в Москве, он защитил еще и докторскую по экономике. Думаю, это позволяет судить о его возможностях.

ной культуры, читай: нравственности. Идти на смерть ради своих принципов, утверждать свою свободу в экстремальных условиях могут только люди, убежденные, что основу жизни человека составляют абсолютные ценности. Большинство людей не готовы жить с абсолютами в душе, и все, что с нами происходит сегодня плохого, проистекает из этой неготовности.

Знаменитый монолог Гамлета у Шекспира начинается словами: «Быть или не быть – вот в чем вопрос». Каково было мое удивление, когда я прочел слова Парменида, сказанные в VI в. до н. э.: «Быть или вовсе не быть – вот здесь разрешенье вопроса». Похоже, есть основание заподозрить великого драматурга в плагиате. Впрочем, дело не в этом. Просто тема «вечная»: чтобы человеку быть, надо человеком быть.

Еще у одного знаменитого древнего грека, Эпикура, прочел я слова, полностью созвучные моему тогдашнему умонастроению. Из письма к Менекею: «Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не устает заниматься философией, ведь никто не бывает ни недозрелым, ни перезрелым для здоровья души».

Признаком высокого класса лектора-преподавателя является способность «зацепить» студента, вызвать у него неистребимое желание погрузиться в книги, чтобы узнать из них больше о том, что услышал на лекции.

Курс диамата начал читать нам также В.Н. Костюк, но дочитать его до конца, к большому сожалению для нас, он не смог, поскольку был приглашен на работу в Москву. Вместо него кафедра философии прислала преподавателя по фамилии Зуев. Разница, что называется, была ощутимой. Замечательной особенностью преподавания Костюка было то, что он о сложных вещах говорил просто, давал ясные и четкие формулировки. Зуев был маленький щуплый человечек, которого, судя по всему, изводила какая-то серьезная хвороба. Из-за внешнего вида мы его прозвали «жертвой Бухенвальда». Зуев имел манеру быстро ходить между рядов. Из того, что он говорил, половину понять было невозможно. Через пятнадцать минут лекции он резко останавливался, замирал, смотрел на доску, где начертал, видимо, магические для себя знаки, оборачивался и извиняющимся голосом говорил:

«Нет, это не так. Зачеркните все. Начнем сначала». Следующий отрезок из пятнадцати минут заканчивался все тем же: «Зачеркните все, что вы написали!». В конце лекции я обозревал свой конспект. Он имел жалкий вид перечеркнутых страниц. На примере Зуева я усвоил урок: *не всегда следует демонстрировать студентам свой поток сознания, а то может возникнуть впечатление, что вы бредите наяву*.

Истмат нам читала профессор Ирина Марковна Попова (1931-2008). Я хорошо запомнил, как мы с ней познакомились. Она начала нам читать первую лекцию. Манера чтения у нее была суховатая, неэмоциональная. В перерыве между полупарами я вышел в коридор и оперся спиной на перила лестницы. Позже из аудитории вышла она, немного постояла у стенда, затем решительно направилась ко мне и спросила мое мнение о том, понравилось ли мне то, как она преподносит материал. Я был уверен, что передо мной вчерашняя аспирантка, начинающий преподаватель, поэтому покровительственно успокоил: «Ничего, для начала неплохо». Каково же было мое смущение, когда в расписании занятий я прочитал: «проф. И.М. Попова».

После третьего курса я по ее приглашению участвовал в социологическом исследовании, проводил анкетирование в селах Краснооктянского района Одесской области. Это была целая эпопея. На основании полученных данных написал работу на республиканский конкурс студенческих работ. В Киеве ее оценили дипломом второй степени. Университет наградил меня первой и единственной в моей жизни денежной премией за активное участие в студенческой науке. Мы ее славно пропили в ресторане «Кавказ», который был тогда на улице Степана Халтурина, ныне Гаванной.

Ирина Марковна Попова была крупным ученым-социологом, настоящим профессионалом. Естественно, я присматривался к ее мыслительной технике. Ирина Марковна имела чисто позитивистский склад ума. Ее метод хорошо характеризует словечко «корректно». Нужно корректно использовать понятия для интерпретации полученных полевых данных. Для этого нужно из категориального аппарата выстраивать собственную методологическую призму. Методологию надо «вытаскивать» из собственно-

го исследования. Мне кажется, что к этой мысли я пришел не без влияния Ирины Марковны.

Методологическая культура – это культура работы с понятиями, категориями. Без нее качественное научное исследование невозможно. К сожалению, в мое время среди историков на факультете не было человека, который смог бы донести до нас важность методологического инструментария. Принцип историзма – вот и все, чем мы реально располагали. Но были философы и была философская культура. И слава Богу, что на моем студенческом пути встретились такие личности, как В.Н. Костюк и И.М. Попова.

Оглядываясь на пройденный путь, я с удивлением отмечаю, что мое увлечение философией во время учебы на историческом факультете вылилось, в конце концов, в то, чем я теперь уже много лет занимаюсь – в преподавание истории политической мысли, в разработку вопросов теории политической философии.

8

Было бы странно, если бы среди тех, кто оставил яркий след в моей душе, не нашлось места декану исторического факультета Заире Валентиновне Першиной (1925-2003). Она была деканом очень долго, лет пятнадцать, практически целую эпоху.

Заира Валентиновна имела выразительную внешность. Чуть полноватая, темноволосая, красивая, ухоженная и властная женщина. Глаза карие с зеленоватым оттенком, холодные, цепкие, взгляд проницательный, я бы даже сказал, пронизывающий, губы тонкие, всегда готовые скривиться в презрительную усмешку. Булгаковский профессор Преображенский признавался в том, что «не любит пролетариат». З.В. Першина (ЗВП) таких заявлений не делала, но пролетариат она точно не любила, хотя и написала историю завода имени Январского восстания. Она была, что называется, женщиной из первого ряда. В ней было что-то от барыни. Берите больше: императрица! Ее аналог в мире природы – хищная кошка, тигрица. На всех языках мира облик Заиры (так мы звали ее между собой) сигнализировал студентам истфака: «Осторожно! Опасно для жизни!».

У Герцена есть высказывание (цитирую по памяти): в России трудно сказать, где заканчивается интеллигенция и начинается администрация. В случае с ЗВП можно определенно утверждать, что она решительно перешла эту границу и заняла свое место в рядах администрации. Интеллигентом она не была. Подозреваю, что интеллигенты ей были неприятны как альтернативный тип ее поведению. Но зато она была умна, хорошо разбиралась в людях и, когда ей было нужно, талантливо играла интеллигентность.

ЗВП уверенно руководила факультетом, культивировала византийский стиль управления. Мастер интриги. Она поддерживала жизнь во вверенном ей коллективе, как лесничий на своем участке. Кого нужно – «отстреливала», кого нужно – «прикармливала». Кого нужно? Ну, это вопрос не ко мне. Спокойно никто себя не чувствовал. Так, даже студенты знали, что она была «в контрах» со многими преподавателями. «Шахинечка!» – тихо под нос шипел Вукашин Мирашевич Милич таким тоном, что было ясно, что этот югославский политэмигрант, пострадавший от тоталитарного режима Й.Б. Тито, значительную толику своей ненависти к этому режиму перенес на Заиру Валентиновну. Петр Осипович Карышковский, когда был не в духе, мог грубо ругнуться в адрес ЗВП. Ей, конечно, об этом доносили. От Милича, будь ее воля, она давно бы избавилась, а Карышковского она не тронула бы при любых обстоятельствах. Я же говорю: она была умная женщина.

Кстати, византийская система управления не просто нуждается в негласных информаторах, она основывается на системе доносительства. И Заира ее создала. Так получилось, что годы нашей учебы пришлись на защиту ее докторской диссертации. Поэтому отсутствовала она частенько и подолгу: брала творческие отпуска, уезжала в научные командировки в Москву. Ее длительное отсутствие на факультете никак не сказывалось на ее информированности: аппарат наушников работал исправно. Достаточно сказать, что она была в курсе того, что делается в комнатах студенческого общежития.

Заира Валентиновна читала нам на третьем курсе историю СССР. Ее специальностью были Герцен, революционные демократы, народники, первые марксистские и рабочие организации.

Хронологические рамки – вторая половина XIX в. Лекции читала она хорошо. Обладала высокой культурой речи. Ни одного слова-паразита, которое резало бы слух. Голос поставлен, тембр голоса приятный, речь четкая, темп речи позволял легко конспектировать за ней. В общем, классика преподавательского жанра.

Мне врезался в память эпизод, когда я сдавал Заире экзамен. И не мудрено: кажется, я тогда вообще первый раз с ней разговаривал. Я отвечал ей по билету более-менее сносно. Уже к концу экзамена она меня спрашивает, кто из деятелей второго этапа освободительного движения вызывает у меня особенный интерес. Я задумался и вдруг, кажется, помимо воли из меня выскочило: «Катков!». Она удивленно посмотрела на меня и вслед за тем громко расхохоталась. Дело в том, что история XIX в. преподносилась нам исключительно под углом революционной парадигмы (три этапа освободительного движения), а Михаил Никифорович Катков был человеком противоположного лагеря. Он начинал с Белинским, они вместе посещали кружок Николая Станкевича, сотрудничали в журнале «Отечественные записки». Затем их пути разошлись. Катков стал публицистом славянофильского, почвеннического толка, то есть «реакционером». Он редактировал проправительственные «Московские ведомости». В 60-80-е гг. XIX в. он был очень влиятельным публицистом и эволюционировал от умеренного либерализма к крайнему консерватизму. Безусловный враг революционного движения. Поэтому о Каткове в советской литературе – практически ни слова. И вот советский студент на экзамене называет преподавателю-герценоведу в качестве своего героя имя злейшего врага Герцена. Тут либо наглость, либо, что называется, невпопад! А это уже смешно. С другой стороны, этот факт означал, что студент самостоятельно читал литературу, и не советскую, а дореволюционную. Значит, перед ней читающий, ищущий, думающий студент. Возможно, именно тогда Заира Валентиновна обратила на меня свое внимание.

Свойства капризного женского характера и приобретенные навыки руководителя слились в комбинацию, которая сделалась второй натурой Заиры. Ух, как она была прекрасна в гневе! Она буквально приходила в ярость. И как было страшно оказать-

ся предметом ее негодования! Она прошлась по судьбам людей, как танк по музейному паркету. Она слегка задела меня, и я отлетел от нее, словно щенок от ноги прохожего, – скуля и повизгивая.

Дело было в 1977 г. Я тогда учился на четвертом курсе – время конкретно думать о будущем, принимать судьбоносное решение. Жить стало тревожно: неопределенность беспокоила. И вдруг меня вызывают к декану. Я робко захожу к ЗВП в кабинет. Она приглашает сесть, смотрит на меня испытующим взглядом и спрашивает, как я вижу свое будущее. Я говорю, что, мол, хотелось бы заниматься наукой, поступить в аспирантуру, но…

И тут она мне говорит:

– А как вы насчет того, чтобы остаться на историческом факультете? У нас два преподавателя (называет их имена) находятся в пенсионном возрасте. Нам нужно подготовить им смену. Я к вам с первого курса присматриваюсь. Вы можете стать хорошим преподавателем. Я возьму вас к себе в аспирантуру.

Я потерял дар речи. Когда справился с собой, говорю:

– Я бы с большой радостью, но…

Она вопросительно подняла брови:

– В чем дело?

– Я – не член партии, а вы же знаете…

– А вы что, не хотите быть членом партии?

– Хочу, но моего желания мало. Вы же знаете, нужно, чтобы райком дал анкету.

– А вы уже писали заявление?

– Нет, но без райкомовской анкеты это пустое дело.

– А вы попробуйте. Обратитесь к Виктору Николаевичу (Немченко, секретарь парторганизации истфака на то время. – **Г. Г.**).

Я вылетел из кабинета Першиной и бросился на улицу, на свежий воздух, чтобы переварить услышанное. Во мне играли смешанные чувства. Оказывается, я «под колпаком у Мюллера» с первого курса! Кошмар! Моя проблема неожиданно разрешалась, и так здорово, что я даже мечтать не мог. У дверей в аспирантуру стояла Партия и кандидату в ученые вручала билет. Тогда дверь открывалась. Если она билет не вручала, то дверь не открывалась. Это было правило, все другие варианты

были исключением из правила. Курс у нас был сильный, желающих поступить в аспирантуру хватало с избытком, конкуренция была высокой. На следующий день я подошел к В.Н. Немченко. Он был в курсе, сказал, чтобы я написал заявление, что я и сделал. А далее события развивались драматическим для меня образом.

Подошли октябрьские праздники. Упомянутый выше Гоша Пекарский пригласил меня поехать вместе с ним в село к его тете помочь убрать кукурузу. «Заодно и развеемся!» Я согласился. На праздники мы поехали в Любашевку и там весь день ударно трудились, убирая кукурузу. Наработались так, что спина болела и руки тряслись. Зато вечером расслабились: качественная самогоночка, холодец из петушка, соленья из погреба. Засиделись далеко за полночь. Поздно утром встали, «полечились». Жизнь вновь обрела прелестные очертания. И мы решили не ехать в Одессу, а остаться еще на один день. Вернулись в город в день занятий и, конечно, их пропустили. На следующий день я пришел на факультет. После первой пары меня вызвали к декану. Когда я вошел в кабинет Заиры Валентиновны, она меня холодно спросила, почему я пропустил вчерашний день. Я сказал полуправду: ездили с Пекарским помогать его тете, но не смогли вовремя вернуться в город, поскольку автобус, на который мы рассчитывали, сломался. И тут Заира взорвалась:

– Как вы могли?! С Пекарским – все ясно, но вы, вы-то как могли так поступить? Вы все испортили! Берите бумагу и пишите объяснительную.

Я опешил. Пропуск занятий без уважительной причины считался у нас серьезным проступком, и все же столь бурная реакция декана была непонятной. Я вышел из кабинета с тяжелым чувством, что свершилось что-то непоправимое, и тут же, в деканате, стал сочинять объяснительную. Именно сочинять. Я создал образ немощной разбитой параличом старушки, которая с тоской смотрит в окошко своей покосившейся избушки. Дальше в духе Некрасова: «И только полоска не сжата одна». Тут чудесным образом являются два молодца-тимуровца, и бабушка спасена от верной голодной смерти. Я вернулся в кабинет, протянул Заире лист, она

взяла, пробежала глазами. Затем посмотрела на меня своим фирменным взглядом и сказала:

– Я сохраню это и покажу вам спустя несколько лет, чтобы вам стало стыдно. Вы – свободны.

Она сказала это таким тоном, как будто разорвала контракт. В течение следующего месяца я сильно переживал, находясь в полной неопределенности. Я испытывал состояние, близкое к депрессии. И когда, наконец, успокоился и свыкся с мыслью, что и без аспирантуры можно жить, ко мне вдруг подошел В.Н. Немченко и сказал, что если я не передумал вступать в ряды КПСС, то должен, в первую очередь, побеспокоиться о том, чтобы получить две рекомендации – от одного члена партии и одного члена комсомольского бюро курса. И вновь надежда ожила. В декабре 1977 г. я вступил в кандидаты в члены КПСС.

Впоследствии я узнал, что истинной причиной бешенства декана была деревенская свадьба одной пары с нашего курса. Вместе с ней гулять свадьбу отправилось еще целый ряд наших однокурсников. З.В. Першиной об этом донесли. Она считала, что и мы с Гошей были в их числе, то есть она думала, что я ей откровенно лгал. Все знали, что Заира вела бескомпромиссную борьбу с деревенскими свадьбами, которые длились от трех дней до недели. На собрании факультета она возмущенно говорила, что ей пишут слезные прошения о назначении стипендии вследствие тяжелого материального положения, а затем устраивают многодневную деревенскую свадьбу с приглашением сотен гостей. Возможно, она проверила и убедилась, что меня на свадьбе не было. Так или иначе, дорога в аспирантуру мне была вроде бы открыта, но разговор об этом Заира не возобновляла, а сам я спросить не решался.

Не помню точно, то ли в конце этого курса, то ли в начале следующего, пятого, мне предложил аспирантуру заведующий общеуниверситетской кафедрой истории КПСС профессор Н.М. Якупов. Здесь шла своя «силовая» игра, о которой я в то время не имел ни малейшего представления. Дело в том, что с третьего курса я учился на фуркации по истории КПСС. Следовательно, Заира Валентиновна, предлагая мне аспирантуру, залезла в чужой огород, поскольку Якупов имел негласное первоочеред-

ное право на меня. Заведующий общеуниверситетской кафедрой, Герой Советского Союза, периодически избираемый членом бюро одесского горкома или обкома партии, очень влиятельный в городе человек Николай Михайлович Якупов был совершенно независим от декана исторического факультета. Имея нагрузку на истфаке, он регулярно набирал аспирантов из числа далеко не худших студентов-истфаковцев, что, вероятно, приводило к столкновению интересов. Именно к Якупову я обратился за рекомендацией в партию. Наверное, он сообразил, что раз инициатива исходит от Заиры Валентиновны, то она имеет виды на меня, и сделал мне контрпредложение. Этим он поставил меня в щепетильное положение. Как честный человек я должен был кому-то отказать. Но Заира молчит, и остается ли ее предложение в силе, я не знаю. Когда не знаешь, что делать, лучше ничего не делать. И я решил подождать. Ждать пришлось до последнего – до распределения. В мае 1978 г. я вошел в знакомый кабинет декана. Там сидела комиссия из нескольких человек под председательством самой Заиры. Она спросила меня нейтральным тоном, куда бы я хотел пойти после окончания университета, и указала на «простыню» с адресами школ в районах благословенной Одесской области. И тогда я сказал, что иду на учебу в аспирантуру на кафедру истории КПСС. Она задержала на мне вопросительно-удивленный взгляд (чего она ожидала?), затем кивнула: «Хорошо!» – и опустила голову. Я поспешил расписаться в направлении, вышел из кабинета и облегченно вздохнул. Судьба решена! Я никогда не жалел об этом решении, поскольку стать аспирантом Заиры Валентиновны означало оказаться на годы во власти ее переменчивых настроений. Большая кошка играет, но в любой момент может и зашибить.

* * *

В 1995 г. мне понадобилась консультация Заиры Валентиновны по истории университета. Я попросил о встрече, она любезно согласилась. И вот впервые спустя два десятка лет я вновь сидел напротив нее в кабинете кафедры истории Украины. Она говорила, я слушал, и это давало мне возможность изучать ее. Вро-

де бы это была все та же, немного постаревшая, властная холеная женщина. Она смотрела на меня внимательным взглядом, и ко мне возвращалась прежняя неуверенность. И все же она была не та! Ее время безвозвратно ушло. Теперь она была «простым» профессором кафедры истории Украины. Без властной должности. Необходимость быть идеологическим цербером, амбиции отпали. Осталось то, что в ней меня привлекало: ум, ирония, идущая от знания жизни, внешняя культура отношений. На всем этом лежала печать актерского мастерства.

Она мне рассказывала о жесточайших проработках преподавателей университета во времена сталинских идеологических чисток. Один только факт: в 30-е вырубили кадровый состав до такой степени, что, например, кафедру истории Украины возглавлял Иван Иванович Погорелов, который пришел из депо, с рабфака. Закончил университет и сразу был назначен заведовать кафедрой, так как просто некого было ставить. Это полный аналог ситуации в армии того времени: полком, бывало, командовал безусый лейтенант, а дивизией – майор. Говорила она об этом, как мне показалось, без всякого осуждения режима, с позиций историка – такое было время, такая была система. В этом есть определенный «сенс»: меня самого раздражает манера некоторых наших историков-моралистов подходить к оценке событий прошлого с позиций современной концепции прав человека. Подозреваю таких историков в выполнении идеологического заказа создать выгодный фон для нынешней неказистой бардачной псевдодемократии. Но в данном случае, думаю, это была позиция, обусловленная ее отношением к системе власти. Она великолепно приспособилась к этой системе и где-то приспособила ее под себя. Много лет она была не просто функционером, а отличником системы, персонифицировала ее в наших глазах во всей своей красе.

О своем учителе философе Самуиле Яковлевиче Когане, у которого она писала дипломную работу, Заира Валентиновна сказала, что он мог бы в иных условиях стать вровень с крупными мыслителями, но тогда все сотрудники кафедр общественных дисциплин, в том числе философы, были «в рамках», и потому на тропу большой самостоятельности не вступали. Быть «в рамках»,

владеть наукой лицемерия, двоемыслия – кредо людей бюрократической карьеры, особенно в провинции. К науке это не имеет ровно никакого отношения, поэтому имя доктора исторических наук Заиры Валентиновны Першиной в ней не останется, зато в памяти ряда поколений студентов истфака ей навечно уготовано почетное место легендарного декана.

9

В течение всей учебы на историческом факультете мы усердно изучали предмет, который не значился в расписании. Мы изучали наших преподавателей. При этом относились к ним не как к живым и сложным людям, у которых есть свои проблемы, комплексы, слабости. Мы относились к ним как к мифическим персонажам и делили их на «хороших» и «плохих», на «добрых» и «злых». Впрочем, их комплексы и слабости нас очень даже интересовали с практической точки зрения. К одному преподавателю наши девочки шли в самых коротких юбках и платьях, которые у них были. Это был верный способ успешной сдачи экзамена. Другая преподавательница благоволила к мужественным студентам и придиралась к смазливым студенткам. К ней на экзамен ребята шли небритыми, а девушки – без макияжа. Третий был «либерал», к нему особенно не готовились, а на экзамене вовсю шпаргалили. Четвертый – «зверь»; его, как говорится, не обойдешь и не объедешь на кривой козе. В этом случае пахали на полную катушку, напряженно сдавали, а сдав, немедленно шли в «Гамбринус» отмечать победу разума над костной материей. В общем, все было как у людей.

Повторю, что мы относились к нашим учителям, как к мифическим персонажам, которые, как известно, существуют вне времени. Только один пример. Анна Михайловна Шабанова существовала до нас, при нас и после нас. Подразумевалось: так будет всегда. Несправедливо, если кто-то не пройдет испытание Шабановой. А может ли тот, кто не прошел через Шабанову, считаться настоящим истфаковцем? И вдруг мне сообщают, что Анна Михайловна умерла. Мгновенная мысль: как такое может быть, ведь мифические герои не умирают? И вторым темпом входит в со-

знание и заполняет его вместе с запоздалым раскаянием мысль, что за мифическим образом я не удосужился разглядеть реального человека из духа и плоти, у которого болело сердце, который честно стремился выполнять свой долг, учил нас всему, что знал сам. А мы в своем эгоизме были глухи и жестоки к ней, ибо видели в ней только *свою* «проблему Шабановой». С другой стороны, надо быть реалистом: откуда возьмется у начинающих взрослую жизнь мальчишек и девчонок такая жизненная мудрость?

Пожалуй, есть единственный способ отдать ей должное. Он заключается в следующем повороте сознания: если в моей памяти, в моей мысли я воспроизвожу образ Анны Михайловны, веду с ней мысленный диалог, критикую ее стиль преподавания, то это означает, что ее жизнь посредством моего сознания продолжается, что она продолжает оказывать свое влияние на моих студентов через меня, своего ученика. Это рассуждение касается, естественно, и всех других преподавателей, о которых я здесь вспоминал и размышлял. Так на самом деле осуществляется преемственность, эстафета поколений. И так отдается долг своей Alma mater – мистической институции, одновременно населенной всеми поколениями студентов-историков, и даже теми, кто еще не переступал порога истфака. Привет вам всем, земляки, из семидесятых!



Одесский календарь

122 **Сергей Решетов**
Дома семьи Маразли на улице Пушкинской, №№ 2 и 4

Сергей Решетов

Дом на Пушкинской, 19

Трехэтажный дом с современным адресом Пушкинская, № 19, находится рядом с Одесской областной филармонией, в квартале между улицами Бунина и Жуковского. Согласно списка памятников архитектуры, это «Дом Вучины, 1849 г., арх. Ф.О. Моранди», а согласно справочника Валентина Пилявского: «Дом В. Вучины, 1849, арх. Ф.О. Моранди (памятник архитектуры республиканского значения); дворовый флигель, 1887, арх. Ф.В. Гонсиоровский».

В настоящее время в рассматриваемом квартале по ул. Пушкинской расположено четыре здания, во второй половине XIX века их было три. Большая часть квартала тогда принадлежала греческому семейству Вучина. В Государственном архиве Одесской области сохранилось дело «По прошению одесского купца Георгия Вутчина (так!) об утверждении фасада на постройку дома»*. 15 февраля 1849 г. одесский купец Георгий Вучина представил в Строительный комитет для одобрения проект фасада для постройки своего дома, а также купчую крепость, совершенную в одесском коммерческом суде 16 марта 1848 г. на участок в 1-й части города на улице Итальянской, в XVII квартале под № 144. 28 февраля 1850 г. Г. Вучина обратился в Строительный комитет с прошением об утверждении фасада на постройку двухэтажного дома на принадлежащем ему же участке на улице Польской, в XVII квартале под № 143, и купчую крепость от 23 марта 1849 г. Строительный комитет установил, что первоначально открытый лист на участок по ул. Итальянской был выдан 19 августа 1795 г. прапорщику Михайлу Кривчикову. В ГАОО сохранились планы фасадов, сечения стен и ситуационные планы 2-этажных домов

* ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 1303.





Георгия Вучины на улицах Итальянской и Польской в границах вышеуказанного квартала, составленные архитектором Ф.О. Моранди в феврале 1849 г. и 10 марта 1850 г.** Окна третьего этажа имеют иную форму, нежели первого и второго. По словам местных жителей, третий этаж дома по ул. Пушкинской был достроен в 1963 г.

Информацию об этих домах мы находим в различных источниках XIX века:

«Раскладочная ведомость Херсонской губернии города Одессы о государственном налоге и земском в пользу казны и земства сбор определенных на недвижимые имущества на 1873 год» сообщает о домах почетного гражданина Георгия Вучины: на улице Итальянской (так тогда называлась Пушкинская), оцененного для налогообложения в 35000 руб., и на улице Польской, оцененного в 18000 руб.***;

«Путеводитель по г. Одессе» К. Висковского на 1875 г. сообщает, что владельцами домов в рассматриваемом нами квартале по ул. Итальянской были: №№ 21 и 23, угол Полицейской – Вуцина, Греческий консул, № 25-а, угол Почтовой, – Константиновского. Необходимо отметить, что этим же владельцам принадлежали дома на параллельной Итальянской улице Польской: Польская,

** ГАОО, ф. 895, оп. 1., д. 278 и 277.

*** Раскладочная ведомость Херсонской губернии города Одессы о государственном налоге и земском в пользу казны и земства сбор определенных на недвижимые имущества на 1873 год // ГАОО, ф. 274, оп. 1, д. 2 (Сведения о числе домов и вообще о застроении одесского градоначальства), л. 64.

№№ 16 и 18-а, угол Полицейской улицы, – Вучина, 18-б, угол Почтовой – братьев Константиновских*;

«Путеводитель по г. Одессе» К. Висковского на 1884 г. сообщает, что владельцами домов в этом квартале ул. Пушкинской были: № 21, угол Полицейской, – Вучина, № 23, угол Почтовой – Кесслер, на ул. Польской: № 18, угол Полицейской, – Вучина, № 20, угол Почтовой, – Константиновского**.

Таким образом, первым из известных нам владельцев дома с современным адресом Пушкинская, № 19, является Георгий Вучина. Его имя можно встретить в метрических книгах греческой Свято-Троицкой церкви г. Одессы. Так в 1828 г. в качестве восприемника (крестного) выступил англичанин Георгий Вучино, в 1829 г. – англичанин Георгий Маноилович Вучино, в 1846 г. в качестве поручителя указан одесский купец 1-й гильдии Георгий Вучина. Скончался купец 1-й гильдии грек Георгий Эммануилович Вучина 7 сентября 1870 г. в возрасте 75 лет, и отпет в той же греческой церкви. Его супруга Александра Димитриевна скончалась 21 октября 1878 г. в возрасте 69 лет.

По раскладочной ведомости 1873 г. владельцем дома все еще значится умерший к тому времени Георгий Вучина, по аналогичной же ведомости 1878 г.*** владельцами значатся купец Иван и иностранец Александр Вучина (последний в метрике об отпевании в 1896 г. назван итальянцем), причем дом оценен в 29400 руб. В «Адрес-календаре Одесского градоначальства на 1889 год» дом по Пушкинской, 23, указан собственным домом Ивана Георгиевича (Юрьевича) Вучины (ок. 1833-1902).

На этот период И.Ю. Вучина занимал много должностей и имел много званий: был одесским купцом 1-й гильдии, генеральным консулом Греческого королевства в Одессе (канцелярия кон-

* Путеводитель по г. Одессе с подробным планом / Сост. К. Висковский. Одесса, 1875. – С. 33, 34.

** Путеводитель по г. Одессе с подробным планом / Сост. К. Висковский. Одесса, 1884. – С. 31, 32.

*** Раскладочная ведомость Херсонской губернии города Одессы о государственном налоге и земском в пользу казны и земства сборе определенных на недвижимые имущества на 1878 год (опубликована в приложении к «Ведомостям одесского городского общественного управления» за май 1878 г.). – С. 1.

сульства располагалась в его доме на Пушкинской), казначеем местного управления Российского общества Красного Креста, директором попечительного комитета о тюрьмах, а также членом учетного комитета от купечества одесской конторы госбанка, комитета торговли и мануфактур, членом попечительного совета од. коммерческого училища, центрального комитета общества для помощи бедным, комитета, заведывающего Когановским учреждениями (заведующий домами на Базарной), распорядительного комитета од. общества для устройства дешевых столовых, общества покровительства животным, совета греческого благотворительного общества. 24 августа 1883 г. в возрасте 48 лет греческий генеральный консул в Одессе Иван Георгиевич Вучина обвенчался в греческой церкви с грекоподданной Марией Эммануиловной Пападаки, 25 лет. Поручителем при венчании среди прочих был городской голова Одессы Г.Г. Маразли. Иван Вучина известен также тем, что в 1872 г. им была учреждена премия с вручением медали «за лучшее сочинение для народного театра».

Не позднее второй половины 1890-х гг. он продал дом на Пушкинской и приобрел дом на углу улиц Конной, 3, и Елисаветинской, 1, где проживал он сам с супругой и его брат Александр (известно, что умерший в 1896 г. Александр успел пожить несколько лет по новому адресу). Скончался И.Ю. Вучина от апоплексического удара 18 сентября 1902 г. в возрасте 69 лет, и после отпевания в греческой церкви был погребен на Старом городском кладбище Одессы. Его молодая супруга, унаследовав дом на Елисаветинской (детей супруги не имели), надолго пережила его, и еще в 1919 г. жаловалась в одесский окружной суд на постановление одесской городской думы относительно неправильного (по ее мнению) налогообложения недвижимости.

Владевший некоторое время домом на Пушкинской совместно с братом Иваном Александр Георгиевич (Юрьевич) Вучина (ок. 1831 – 1896) был одесским коммерсантом, домовладельцем и коллекционером. Он состоял членом греческого благотворительного общества, общества изящных искусств, одесского общества истории и древностей. Скончался А.Г. Вучина от паралича сердца 15 января 1896 г. и после отпевания в греческой церкви был погребен на Старом городском кладбище.

Необходимо отметить, что участок, на котором была выстроена в 1894-1899 гг. Новая биржа, а ныне филармония, был выкуплен городом у Вучины.

Как уже было сказано, не позднее второй половины 1890-х годов И.Ю. Вучина продал свой дом на Пушкинской, в котором семья проживала многие годы. Новыми владельцами дома стала семья Дулгеровых, также греческого происхождения. Так, в конце 1880-х годов потомственный почетный гражданин Феофил Георгиевич Дулгеров, проживающий в собственном доме на ул. Греческой, 36 (в 1910-е гг. – № 38), был одним из одиннадцати членов совета Греческого благотворительного общества (членом совета этого же общества состоял И.Ю. Вучина). Греки, турецкоподданые с фамилией Дулгери и Дульгеров встречаются в метриках Греческой церкви, начиная с 1830-1840-х гг. Интересующий нас Феофил Георгиевич Дулгеров, на то время одесский купец 2-й гильдии, 19 января 1858 г. венчался в одесской Греческой церкви с дочерью почетного гражданина Романой Кирионовной Папа-Николау (Папа-Никола). Ее отец Кирион Папа-Никола скончался в возрасте 79 лет 6 октября 1867 г.

Уже в 1870-е годы Ф.Г. Дулгеров стал одесским купцом 1-й гильдии, в 1880-1890-е годы владел домом на Греческой, 36, где и проживала большая семья Дулгеровых. В этот же период он состоял членом совета Греческого благотворительного общества. Скончался потомственный почетный гражданин Феофил Дулгеров в возрасте 65 лет 21 марта 1896 г. и после отпевания в Греческой церкви был погребен на втором городском кладбище.

Дом на Пушкинской, 23, после его кончины унаследовала супруга, Романия Кирионовна Дулгерова, которая владела им и проживала здесь же до своей кончины, последовавшей 19 декабря 1911 г. на 77 году жизни от воспаления легких. После отпевания в Греческой церкви она также была погребена на Втором городском кладбище.

Большое захоронение семьи Дулгеровых на Новом (ныне – Втором) христианском кладбище существует и поныне. За массивной красивой оградой со стилизованным гербом на калитке расположены мраморные надгробия со скульптурами:

Ф.Е. Дулгерова с его большим портретом, выполненным в виде барельефа и надписями на греческом (и на обороте – русском)

языках: «Феофилъ Георгиевичъ Дулгеровъ. Скончался 21-го марта 1896 года. На 65 году от роду»;

Р.К. Дулгеровой с надписью: «Романія Кіріоновна Дулгерова. Скон. 19 декабря 1911 г. На 77 году жизни»;

Е.Ф. Дулгеровой с надписью: «Елена Феофиловна Дулгерова. Сконч. 12 апрѣля 1904 г. На 39 году жизни»;

Веры Константиновны Брамбилла (1886-1972) и Тамары Константиновны Тумбы (1890-1972).

Их имена можно встретить в метрических книгах Греческой церкви. Двое последних были дочерьми грекоподданного Константина Фемистокловича Тумбы и его супруги Веры Михайловны Петрококино (1852-1901), сестры известного купца и благотворителя Евстратия Михайловича Петрококино (1842-1904), женатого на Екатерине Корнильевне Бодаревской (1852-1939).

Вернемся к семье Дулгеровых. Романия Кириоповна Дулгерова также была владелицей дома на ул. Польской, 16, который сдавался в аренду братьям К. и С. Поповым. Как уже указывалось выше, дом на Польской, 16, расположен на параллельной Пушкинской улице Польской, как раз с противоположной стороны. Эти два сообщающихся дома ранее принадлежали Вучинам.

Р.К. Дулгерова унаследовала и дом на Греческой, 38 (ранее имевшим № 36), который принадлежал ее супругу.

Также отметим, что на рубеже XIX и XX веков в этом квартале улицы Пушкинской было три здания: № 21 – Одесское купеческое общество (Новая биржа), № 23 – Р. Дулгеровой, и № 25 – С. Кесслера. В середине первого десятилетия XX века дом сменил номер и вместо 23 получил номер 19, какой имеет и до настоящего времени.

В большой семье Феофила и Романии Дулгеровых родились дети: Кирион (род. 30 марта 1861), Георгий, Мария и Елена (1874-1904), умершая незамужней.

Кирион Феофилович Дулгеров в 1910-х годах проживал вместе с матерью в принадлежавшем ей доме на Пушкинской, 19. Судя по всему, именно он стал после ее кончины следующим владельцем дома. В этот период он был председателем правления Одесского купеческого общества взаимного кредита.

Его брат Георгий Феофилович в 1910-е годы проживал в доме на Херсонской, 54. Он был женат на представительнице греческой

семьи Ефросинии Иоанновне Думе (1874-1900), по матери происходящей из богатой греческой семьи Петрококино. В большой семье Г.Ф. Дулгерова родилась дочь Елена (1894-1968), мужем которой стал прямой потомок знаменитой одесской семьи Рено – корнет лейб-гвардии Уланского ее императорского величества императрицы Александры Федоровны полка барон Федор Михайлович Рено (1888-1964). Семья Рено эмигрировала во Францию, где их потомки проживают до сих пор.

Отметим, что те же владельцы, о которых мы рассказали выше, то есть Вучины и Дулгеровы, одновременно владели домами на улицах Пушкинской (Итальянской), 23 (19), и домом на ул. Польской, 16, который, возможно, был построен тогда же. Ранее, в XIX-XX веках, дворы этих домов сообщались, ныне проход застроен. Заезд со стороны Польской улицы использовался для отправки зерна в порт.

Двор дома по улице Пушкинской, 19, очень необычен. В конце двора на стене, параллельной улице, выложена дата «1849», которая является годом постройки дома. По центру двора сделано ограждение овальной формы, внутри которого и по его окружности расположено более десятка столбиков, которые часто имеются перед подъездами домов, некоторые из которых повалены. Ограждение имеет вход со стороны входа во двор, ярко выраженный покат (как и весь двор) к улице Польской и соответственно разную высоту ограды, меньшую в начале двора и довольно высокую – в своем окончании. Еще несколько лет назад рядом с эти ограждением находились и два лежащих мраморных льва, которые уже в 2010 г. отсутствовали. Увидеть, как они выглядели, можно благодарю фотографии, сделанной и хранящейся у Евгения Александровича Сокольского. По его словам, согласно местной легенде, одного льва во время войны перебросило взрывом бомбы на другое место.

Перед подъездом размещена мемориальная мраморная доска, на которой указано, что в доме проживал известный одесский фотограф Дмитрий Зюбрицкий: «В этом доме с 1969 по 2003 год жил мастер художественной фотографии Дмитрий Зюбрицкий 1929-2003» (установлена между июлем 2008 и маем 2009 гг.).

Проза

182 **Владимир Каткевич**
Код Артура Анатра

189 **Нина Эмельдеш**
Призрак сберкассы № 53 по улице Базарной, бывшей Кирова

206 **Татьяна Мартынова**
Пять рассказиков

210 **Яков Шехтер**
На пустом месте

Владимир Каткевич

Код Артура Анатра

Главы из романа

План конверсии под угрозой

В просторном кабинете директора авиапредприятия начальники цехов сидят в теплых армейских куртках, – не топят. На полках макеты транспортных самолетов. За окном в заводском дворе бюст Артура Анатры, припорошенный снегом. Пока руководители подразделений обреченно ждут директорской «накачки», генеральный хмуро рассматривает последнюю подарочную модель.

– Я вам уже сообщал на аппаратке, что с сувенирной продукцией мы почти уложились в сроки, – подытоживает директор, – а вот с профильной – полный завал. Посмотрите, какое на календаре число.

Присутствующие дисциплинированно смотрят на фирменный авиационный календарь-гармошку. Календарь висит рядом с фотографией, где директор в форме генерал-майора.

– Так какое число? Я вас спрашиваю, товарищ начальник цеха опытного производства.

– С утра было двадцать четвертое декабря, Цезарь Трояныч.

– Так вот, кровь из носа, но к тридцать первому вы должны отгрузить на платформы пять комплектов покрывочно-красильных-грунтовальных агрегатов для кожи. Иначе провалим еще и программу конверсии.

– Это нереально.

– Тогда вы уже не начальник цеха.

– А вы не маршал Жуков, товарищ генерал-лейтенант! Хватит нас кошмарить! И так за спасибо работаем, считай полгода зарплаты не видели. Принуждаете выпускать брак.

– Наши достижения в конверсии ощущаются на уровне жизни, – возражают с места.

– Идиотизм! – ширпотребщик хохочет.

– Продукция ширпотреба отчасти сыроватая, но мы доведем ее до ума, – генеральный хмурится.

– Если будете рвать удила, то не доведете, – распаляется ширпотребщик. – Это не объявление правды, а частичное ее предъявление!

– Покиньте кабинет!

Генеральный выдерживает паузу. Ширпортебщик выходит, но возвращается и на прощанье язвит:

– Хороших спектаклей вам и наивной публики!

Генеральный разводит руками и наводит порядок в умах:

– Тот заблуждается, кто считает, что государственный план по выпуску народохозяйственных товаров – пустая забава. Сейчас даже «Южмаш» вынужден выпускать газонокосилки. Да, предприятие лихорадят безобразия, которые зачастую обозначают экономическими трудностями. Но ведь экономических легкостей не бывает…

– Просто очень досадно, Цезарь Трояныч, что стопорится выпуск основной продукции Л-440, – говорит Самсон Нилыч, главный инженер. – Да и конструкторы профанируют.

– Мы пожинаем горькие плоды парада суверенитетов.

– Я помню, Цезарь, с какими адскими трудностями в 41-м достигалось обратное, когда макаронная фабрика в эвакуации под Омском освоила выпуск патронов. И ты помнишь.

Расконвоированный Самсон

У свежевырытого котлована, большой черной дыры среди заснеженного пространства, ежится в куцей фуфайке молодой руководитель, в котором с трудом угадывается нынешний гендиректор. Ответственный товарищ в кожаном пальто ставит ему на вид, сухо кашляя:

– Цезарь, имей в виду, если к тридцать первому декабря макаронная линия, у которой неспроста проходные типоразмеры соответствуют калибру винтовочного патрона, не начнет выпуск патронов, то ты уже не директор фабрики!

– На голом месте же…

– Дадим тебе в помощь расконвоированных спецов из «шарашки». Чтоб искупить вину, инженера горы свернут. Вон они.

В молодом похожем на жердь очкарике с трудом можно узнать Самсона Нилыча.

Цезарь знакомится с Самсоном, показывает эскизы, – проекта нет.

– Ошибаться нет времени, – предупреждает Цезарь.

– Декарт говорил, что если бы человечество правильно определило значение некоторых понятий, то оно бы уберегло себя от доброй половины ошибок.

– Кто говорил? – ответственный уполномоченный услышал.

– Французский математик. Он умер в прошлом веке.

Прототип становится на крыло

Дерзость ширпотребщика выбивает генерального из колеи. Он подходит к окну снова глядит на бюст Анатры. Анатра подмигивает ему. Директор смотрит на свою фотографию в генеральском мундире, будто прощается с ней, потом кладет ее изображением вниз и говорит:

– С нового года в рамках реформирования армии офицерский состав завода снимет погоны, и не исключено, что народохозяйственная продукция будет превалировать, хотя это и горько.

Директор задерживается у окна и замечает биплан, парящий над заводским аэродромом.

– Конфигурация плоскостей, как у бабочки! – замечает главный инженер. – Как будто позабыл садиться…

– Что? – рассеянно переспрашивает генеральный.

– Есть такие стихи, Цезарь… Трояныч.

– Он похож на неподросшего Ан-2.

– Почему совещание игнорирует начальник цеха легкомоторных аппаратов? – спохватывается генеральный. – Где майор Фарман?

– Фарман в воздухе.

– Как в воздухе?

– Испытывает копию-прототип аэроплана «Анатра-Анасаль». Вы же сами подписывали техзадание.

– Понятно, мечта опережает план.

– Он уже не начальник цеха? – иронизирует шепотом на ухо соседа один из присутствующих.

Генеральный, услышав реплику-подначку, нервно щелкнул тумблером селектора.

– Борт «Анатра»? С кем говорю? Летчик-наблюдатель Работягова? Свяжите меня с Фарманом.

– А кто эта Гризодубова? – иронизируют с места.

– Работягова? Начальник ОТК.

Смертельный трюк без парашюта

Открытая кабина аэроплана, вой мотора, свист ветра в растяжках, кашель. На лицах пилота и летнаба, летчика-наблюдателя, шерстяные маски, как у киллеров. Маску пронзил коричневый нос Фармана, профилактически смазанный машинным маслом. Поверх маски-шапочки на вырезы для глаз надеты обыкновенные очки, дужки связаны резинкой. У летнаба в разрезе для рта ярко накрашенные губы.

– Вам что, Марат Соломонович, нужно персональное приглашение? – говорит генеральный сквозь шорох и треск эфира. – Прошу вас с объяснительной запиской… Что? Вовремя не успели приземлиться? Я думал, шасси не выпускаются.

– Они вообще конструктивно не убираются, товарищ генеральный. У меня другая загвоздка – рули высоты заело, не могу снизиться, – изо всех сил безуспешно тянет штурвал.

– Тогда немедленно покиньте самолет!

– Не могу-у!

– Я приказываю.

– Вместо парашюта мне пришлось взять запасной бак с горючим.

Двигатель насморочно чихает.

– Кажется, Марат Соломонович, еще и масло застыло, – говорит летнаб Работягова Фарману. – Если рули не дожмем, мотор сам заглохнет, бензин на нуле.

Работягова отважно лезет по фюзеляжу помогать Фарману. Тянут рули вдвоем. Тросы поддаются. Биплан, наконец, снижается. Самсон качает головой и говорит:

– Тросы у него заедает не в первый раз, потому что в точности скопировал сырой, да еще и халтурно выполненный серийный прототип «Анатра». И все это называется реплицированный самолет аматорной постройки – во как! И смех, и грех.

На столе у Самсона «Техническое задание на реплицированный самолет аматорной постройки». Самсон листает пожелтевшие копии вырезок из газет. «Даже копии пожелтели, – думает, – настолько долго идея тормозилась». Разглядывает вырезку в вензелях из газеты «Одесскія ведомости» за 1910 год.

ПРОБКА У ИППОДРОМА

«На одесском гипподроме во втором полете Фарман принял пассажирку. Целых пятнадцать минут, то есть более обычного, его сопровождала в полете госпожа Работягова, близко заинтересовавшаяся авиацией».

Вблизи ипподрома останавливается паровой трамвай, машинист загляделся на аэроплан. Сзади его торопит извозчик, телега-подвода не может проехать. В линейке сидят в кандалах на общей цепи, как на кукане, каторжники, возможно, направляющиеся из тюрьмы на сахалинский пароход. За ним клаксонят автомобили.

– Освободите мостовую! – требует шофер у извозчика фургона-балагулы.

– Сударь, разуйте глаза – движение стоит! – ставят его на место. – Я не против, если эта балагула полетит по воздуху и сделает эволюции, как дирижабль.

Кто-то сзади, сильно картавя:

– Ой, вэй, при чем здесь балагула? Что, транспорт должен ждать, пока вы будете бросать в воздух треухи?

– Если вы хотите увидеть все через свои глаза, это не значит, что другим не надо спешить!

– Аэроплан Фармана грациозно садится! – доносится с ипподрома зычный голос распорядителя.

Духовой оркестр исполняет попурри из оперетт.

– Фармана? – взвивается батюшка в тарантасе. – Рыбе дана вода, птице – воздух, человеку – земля. Только жиды да русские дураки летают на этих коробчатых змеях! Иувеналий, почему застряли? Трогай.

Извозчик вежливо тычет машиниста кнутом, и движение налаживается.

– Теперь вы сильно удовлетворены? – осаживает машинист нетерпеливых.

Крушения и катастрофы

У капонира топчется стайка энтузиастов воздухоплавания, зевак и безработных. По бетонке аэродрома метет поземка. С голубятни, прижившейся нелегально на заводской территории, взлетают свечой турманы. Окоченевшая блондинка-корреспондент без головного убора с заиндевевшими афрокосичками донимает доктора с погонами полковника:

– Крушения на этом аэродроме бывали? – с афрокосички срывается капля и расплывается на блокноте. Медик глядит на влажное пятно.

– Крушения бывают на железной дороге, – начмедчасти завода выгружает из автобуса походный сундук-чемодан с красным крестом, – а катастрофы и аварии – в авиации. Иногда в семье.

Биплан садится, лихо выруливает и останавливается возле снеговика. Под колеса ставят «башмаки». Механики густо облепили фюзеляж.

– Этот парень малость козлит! – реагируют.

– Заклепки не разболтились?

Из кабины вылезает Фарман. На нем расклешенный кожаный пиджак старого «ефимовского» покроя, краги и перчатки до локтей. Фармана бьет озноб. За ним протискивается Работягова в длинной кожаной юбке по моде начала прошлого века.

– Попробуем определить зону сваливания в штопор, когда медленная потеря скорости в посадочной конфигурации упадет до 60 километров в час, – Работягова дает вводную технику.

Корреспондентка цепенеет, но, справившись с собой, пробивается к Работяговой и спрашивает:

– Как дела?

– Пока не родила!

Проходят в цех. Фарман жадно ворошит техдокументацию.

Крупно чертеж:

«Копія съ копіи
Не подлежитъ оглашенію.

Печатано по распоряженію Управленія Военно-Воздушнаго Флота.

Управляющій делами Техническаго Комитета Военный Инженеръ Полковник Калиновскій.

ОПИСАНІЕ

Каркасъ фузеляжа состоит изъ фанерныхъ колецъ, укрепленныхъ на 4-х ясеневыхъ и 4-х липовыхъ ланжеронахъ…»

– Соломоныч, примите, чтоб не застыть, – Фарману наливают тормозной жидкости. Он замечает, что многие уже освежились.

– А дамам ликер шасси с малиновым вареньем, – механик споласкивает разовый стаканчик, наполняет его и ставит перед Работяговой. – С приземленьицем!

– Только в нашей кантри моют разовые стаканы, – замечает один из техников.

Хлюпающая носиком барышня с микрофоном пробилась к Фарману.

– Скажите, ведь профессия летчика обрамлена в поэтический флер…

– Само определение «летчик» появилось с легкой руки поэта Велимира Хлебникова значительно позже полетов пионеров авиации… С вашего разрешения я познакомлю с характеристиками машины. Она того стоит.

– Разумеется. Но пока можно немного о личном?

Фармана отзывают к самолету.

– Он не потомок пионера авиации? – наседает барышня на механика.

– Смотря какого. Если имеете в виду французского конструктора Генри Фарамана, то, увы, однофамилец, – разочаровывает ее техник. – Биография Соломоныча простая, как советская песня. Но он дальний родственник Льва Давидовича Троцкого.

– Невероятно! А лично у вас потрясения были?

– Только на них и работаем.

Механики ковыряются в моторе.

– Я поджал, – говорит один. – Пойдет?

– Пойдет, как брехня по Одессе!

Смеркается. Фармана разморило. Он устраивается в подсобке вплотную к армейскому электрообогревателю. Над тюфячком висит фотография женщины.

Нина Эмельдеш

Призрак сберкассы № 53
по улице Базарной, бывшей Кирова

1

Сколько лет назад Раиса Захаровна пришла работать в сберкассу № 53, она сама не помнила. Поэтому решение профкома в торжественной обстановке отметить на предприятии пятидесятипятилетие ее рабочей деятельности, застало Раису Захаровну врасплох и привело в крайнее смущение. Она не знала, гордиться ей такой внушительной датой, или же стыдиться ее. Честно сказать, Раиса Захаровна как ни рылась в своей памяти, не могла вспомнить ни одного подобного юбилея среди своих знакомых или сослуживцев. Эта дата неприятно напомнила ей о возрасте, и она решила, что со стороны руководства было не совсем деликатно намекать ей об этом. Она бы не пришла на собственное торжество, сославшись на какую-нибудь причину, но для этого ей бы пришлось пропустить рабочий день, а этого она позволить себе не могла. Раиса Захаровна была чрезвычайно щепетильна в вопросах дисциплины и порядка и считала, что все беды на земле происходят от человеческой необязательности и халатности. Она, например, всегда очень неодобрительно относилась к тому, что некоторые сотрудники позволяли себе часто злоупотреблять снисходительностью заведующего сберкассой Льва Борисовича и часто отпрашивались с работы по совершенно незначительным, по мнению Раисы Захаровны, причинам. Особенно это касалось Олечки и Зоечки, молоденьких хохотушек, у которых в голове было все что угодно, кроме работы. Сама она только единожды воспользовалась больничным, когда у нее случился острый приступ аппендицита, и после операции ей пришлось несколько дней проваляться в постели.

В конечном итоге, поразмыслив и так и этак, промучившись несколько дней в поисках правильного решения, Раиса Захаров-

на решила смириться со своим юбилеем. Собственно, ее мнения никто и не спрашивал, поскольку никто не догадывался о терзавших ее сомнениях.

Администрация сберкассы № 53 гордилась Раисой Захаровной, как гордятся музеи редким экспонатом, и считала ее своей достопримечательностью, доказывающей лишний раз исключительность их сберкассы среди других прочих сберкасс Одессы. Поэтому отметить ее юбилей было для сберкассы № 53 делом чести. Сами по себе ее восемьдесят лет были не бог знает каким возрастом. Люди доживают и до гораздо более преклонных лет. Но к этому времени они либо уже давно сидят у себя дома, коротая время у телевизора, либо дежурят на скамеечке напротив подъезда, тоскливо наблюдая за прохожими, в надежде хоть чуть-чуть, хоть краешком приобщиться к бурлящей вокруг них и недоступной теперь жизни. Матери Льва Борисовича, например, было хорошо за восемьдесят, но она уже давно, как бы помягче сказать, не отличалась ни трезвым умом, ни здравой памятью. Своего сына она считала своим отцом, и каждый раз по-детски радовалась его возвращению с работы.

– Людочка, – обращалась она к умершей двадцать лет назад сестре, – наш папочка пришел!

– Папочка, а где мама? – задавала она ежедневно один и тот же вопрос Льву Борисовичу, и тот с тоскливой обреченностью каждый раз повторял один и тот же ответ:

– Мама ушла в булочную, скоро будет.

Мать Льва Борисовича радостно хлопала в ладоши и шла к пианино разучивать гаммы.

Раиса Захаровна же являла собой совсем иной случай. Каждый день на маленьких крепеньких каблучках, в аккуратных капроновых чулочках (которые она надевала, заметьте, в любую погоду и в любое время года), Раиса Захаровна – топ-топ, шлеп-шлеп – семенила вдоль улицы Пушкинской, затем поднималась по улице Кирова, бывшей и будущей Базарной, помня преодолеваемый ею ежедневно маршрут вплоть до сантиметра, и цепко держала в памяти каждую квитанцию, которую выписывала на работе, – все, до последней циферки, ориентируясь в ворохе ежедневных бумаг лучше, чем хозяйка на своей кухне.

– Олечка, – строго обращалась она к молодой коллеге, – вы опять пропустили последнюю строчку в общей ведомости. Надо быть более внимательной.

Олечка недовольно косилась в сторону фыркающей Зиночки и терпеливо отвечала:

– Хорошо, Раиса Захаровна, я исправлю.

– А вы, Зиночка, – тут же переключалась Раиса Захаровна, – вместо того чтобы хихикать целый день по поводу и без повода, лучше бы следили за сводными данными по горячей воде, из-за вас у нас баланс не выходит, – недовольным тоном выговаривала она смущенной Зиночке, а Олечка у нее за спиной мстительно корчила подружке забавные рожицы.

Глядя на веселых и жизнерадостных Зиночку и Олечку, Раиса Захаровна вовсе не испытывала по отношению к ним ни малейшего чувства зависти.

– Ну и что, что молодые? Ну и что, что веселые? В их возрасте это положено, – философски рассуждала она. И она тоже когда-то была и молодой и веселой, что с того? Всему свое время.

И комплекса неполноценности при виде молодых и не очень мужчин, собирающихся после окончания рабочего дня на ступеньках сберкассы в ожидании своих подруг и жен, у нее тоже не было. Она приветливо кивала им головой и снисходительно улыбалась. Тот факт, что она сама никогда не была замужем, вовсе не смущал ее. О! Она хорошо знала цену любви, ведь в ее жизни тоже была романтическая история, которая хотя и не закончилась бракосочетанием, но оставила, тем не менее, достаточный опыт пережитых любовных чувств и разочарований, делающих ее жизнь полноценной и состоявшейся. Была она тогда вполне миловидной девушкой, не лучше, но и не хуже многих других, с живыми цепкими глазками, острым носиком и маленькими кудряшками, освежающими ее бледное, усеянное веснушками личико. Иногда на нее заглядывались мужчины, некоторые даже пытались знакомиться. Ей это льстило, но всегда приводило в крайнее смущение, поскольку она не знала ни как себя с ними вести, ни о чем разговаривать. Кроме того, она была достаточно строгих нравов для современной девушки, а это, как известно, мало способствует более тесному сближению. Поэтому дальше легкого знакомства дело не шло.

Но пришел ее час, и судьба свела ее с молоденьким Москвичом, таким же неопытным и наивным, как она сама. Они были совершенно очарованы друг другом и влюбились так, как влюбляются только в ранней юности: безоглядно, стремительно и доверчиво. Любовь их продолжалась несколько дней, в течение которых они не могли друг на друга надышаться. Впрочем, дальше поцелуев и детских объятий дело не пошло, у них была даже единодушно принята договоренность, что «этим» они будут заниматься только тогда, когда поженятся. Но им, чистым и невинным, и этого было достаточно. Потом Москвич уехал, и наступил период страстных писем с уверениями неземной любви и вечной верности.

«Бледные москвички, – доверительно жаловался любимый тоном многоопытного мужчины, знающего толк в женщинах, – не вызывают у меня ровным счетом никаких эмоций», – и сердце Раисы Захаровны трепетало от гордости, когда она читала эти строчки. Постепенно их эпистолярная страсть достигла такого накала, что необходимо было найти ей выход, и Раиса Захаровна засобиралась в Москву. Она дождалась, когда в их кредитно-экономическом институте начались каникулы и, заверив родителей, что для написания дипломной работы ей просто необходимо поработать несколько дней во Всесоюзной библиотеке имени Ленина, села на поезд Одесса – Москва и отправилась навстречу судьбе, проявив не свойственное ее характеру легкомыслие и даже авантюризм, который был ей чужд в принципе.

Москвич встречал ее на Казанском вокзале с букетиком сухих цветов и красным от насморка носом. На гербарий и на мокрый нос обратило внимание только ее подсознание, злорадно спрятавшее до поры до времени этот факт в своем архиве. А сердце… сердце сразу же нашло оправдание: «Бедненький, совсем больной, а все-таки приехал ее встретить, и цветы какие-никакие купил, а ведь у него такая маленькая стипендия!».

Поезд пришел вечером, и наступившие сумерки, отодвинув реальность безучастного холодного города, сочувственно скрыли возникшие вдруг между ними неловкость и отчуждение, вернув их на время в атмосферу общего прошлого с южными воспоминаниями, запахом акаций и образом плавающей луны в густом рассоле ласкового моря. Они расстались перед домом ее школьной подру-

ги, которая несколько лет назад переехала со своими родителями в Москву, и договорились утром пойти вместе в Третьяковку.

Наступившее московское равнодушное утро безжалостно расставило все точки над «i», оголив неприглядную правду и вызвав этим бурю смятения в чистой душе Раисы Захаровны: Москвич был ей совершенно чужим человеком и, что самое ужасное, совсем, ну просто абсолютно совсем ей не нравился. Они бродили по залам Третьяковской галереи, он – разглядывая картины, она – разглядывая его, в тщетной надежде увидеть хоть что-то общее с тем мальчиком, которого она так безоглядно, так искренне полюбила. А вслед им с тоскливой усмешкой глазами Праховой смотрел все познавший и все отвергший врубелевский «Демон». Через два дня, когда они торопливо, пряча друг от друга глаза, прощались на вокзале, последний поцелуй вдруг неожиданно сблизил их, развеяв ощущение бессмысленности ее приезда и досады на себя, так легко увлекшуюся иллюзией. Исчезнув, как неприятный сон, эти чувства все же осели в памяти сердца, оставив там неприятный налет легкой горечи.

Забравшись на верхнюю полку и отделившись таким образом от внешнего мира, мешавшего ей мечтать о любимом, Раиса Захаровна под аккомпанемент жизнеутверждающе стучащих по рельсам колес радовалась тому, что уже не испытывает мучающих ее сомнений в своей любви. Да и как оно могло быть иначе? Ведь они любили друг друга там, в Одессе, а разве любовь может исчезнуть? Это ведь не ангина, не насморк.

– Любовь либо есть, либо ее нет. Если она была, значит, это на всю жизнь, – решила за все человечество Раиса Захаровна, и на сердце у нее сразу стало легко, спокойно и радостно. И опять пошли-полетели письма: Одесса – Москва, Москва – Одесса… К следующему лету письма стали приходить все реже и реже, но Раиса Захаровна старалась не замечать этого и, нарушая очередность их переписки, отсылала любимому следующее письмо, не получив ответа на предыдущее. К концу лета, когда делать вид, что ничего не происходит, было уже нельзя, Москвич неожиданно приехал в Одессу со своими друзьями, и при первой же встрече ошарашил ее циничным откровением: в Москве у него появилась девушка. Раиса Захаровна, тем не менее, заверил он, все еще занимает определенное место

в его сердце, и хотя «там» у него все очень серьезно, он еще не сделал окончательного выбора, и получается, что шанс у нее есть.

И поскольку в Одессе они проездом, шанс нужно выиграть как можно быстрее, а если точнее, то сегодня.

Друзья Москвича расположились на ночлег в палаточном городке под Одессой, и когда Раиса Захаровна увидела расположенные рядом две палатки, одну – для друзей Москвича, другую – для них, то поняла, что шанс нужно будет выигрывать именно там, во второй палатке, и совершенно растерялась таким стремительным ходом событий.

Всегда решительная, рассудительная, она первый раз в жизни не знала что делать: оскорбиться и послать Москвича куда подальше (а в пользу такого решения склонялся уже не только ее рассудок, но и сердце), или же все-таки остаться и испить свою чашу до конца?

Раиса Захаровна подумала, что если она сейчас отступит, то, быть может, до конца жизни будет сожалеть о том, что струсила и упустила свое счастье. А вдруг эта встреча действительно решающая? И от нее чудесным образом начнет отсчет совершенно новая, счастливая и радостная жизнь? И Раиса Захаровна решила: пусть все идет, как идет, и положилась на случай. Или судьбу? В палатке было тесно и душно, а все происходящее вызывало у нее острое чувство отторжения: и ухмыляющиеся лица друзей Москвича, провожающих их в палатку, и суетливые движения самого Москвича, пытающегося стащить с нее одежду, одновременно торопливо заверяя Раису Захаровну в том, что оставаться девушкой в ее двадцать два года до неприличия ужасно старомодно, и, наконец, полное отсутствие какой-либо романтики в этом новом периоде их отношений.

2

«Так вот какая она, любовь!» – с горечью подумала Раиса Захаровна и решительно вылезла из палатки. Мысль о том, что любовь может быть другой, что это всего лишь единичный случай, даже не пришла ей в голову.

– Любви нет, – авторитетно вещала она на коммунальной кухне, уютно устроившись между посудным шкафом и ржавой раковиной,

своей подруге Софочке, которая хотя и была старше ее на три года, не имела однако такого опыта в личной жизни, как Раиса Захаровна.

– Увлечение – да, есть. Желание любви есть, – перечисляла она, – да и как им не быть, если и книги, и фильмы только о любви и говорят? Но на самом деле любовь – это миф, о котором все знают, но никто не видел. Рано или поздно все проходит, и на сердце остаются разочарование и пустота. Зачем же несколько раз наступать на те же самые грабли?

– Ну, не знаю…. Выходят же другие замуж и живут со своими мужьями до старости в любви и согласии, – вяло возражала Софочка.

И хотя такие рассуждения ей вполне импонировали, поскольку оправдывали отсутствие рядом с ней претендентов на ее руку и сердце, но ей все же хотелось, тем не менее, услышать более убедительные аргументы в пользу своей нескладывающейся жизни.

– Да как же! – насмешливо перебивала подругу Раиса Захаровна. – Или всю жизнь притворяются перед другими и перед собой, изображая любящую парочку, или честно разбегаются в разные стороны. Много ты видела счастливых браков? То-то, – назидательно добавляла она, продолжая развивать свою теорию, которая от ее веских доводов обрастала плотью и кровью и переходила в абсолют общечеловеческого масштаба. – Люди боятся одиночества, вот и цепляются друг за друга, – продолжала рассуждать она. – Но те, которые понимают, что к чему, – многозначительно стучала она себя по худой грудке, – на эту удочку не ловятся, нет! Их не обманешь!

И никогда, ни одного разочка не усомнилась Раиса Захаровна в своем кредо. И никогда не пожалела о том, что осталась одна.

А чего жалеть? Раиса Захаровна была вполне довольна своей жизнью. После окончания института ее направили на работу в сберкассу № 53 по улице Кирова, и это вызвало зависть всего ее курса, так как эта сберкасса считалась самой большой в городе, и только Раиса Захаровна, одна среди выпускников, получила туда распределение.

Справедливости ради следует заметить, что Раиса Захаровна никогда на самом деле звезд с неба не хватала и успеха всегда добивалась исключительно благодаря своему трудолюбию и прилежанию, но ведь это именно те качества, на которых и строится хо-

рошая карьера. Много видели вы гениев среди директоров заводов, секретарей партийных организаций или банковских служащих? А Раиса Захаровна хоть не бог знает какую, но все же сделала вполне приличную карьеру. Должность старшего кассира в самой большой сберкассе города – это вам не что-нибудь, это еще надо уметь дослужиться. А Раиса Захаровна дослужилась.

Если предположить чисто теоретически, то по стажу своей работы на одном месте она вполне могла бы со временем претендовать на место заведующего, но это никогда не только не входило в ее планы, но даже не являлось объектом ее мечтаний.

– Я свое место знаю, – скромно, но с достоинством, схожим на гордыню, любила повторять она. А работу она свою знала досконально и делала ее не только хорошо, но и с удовольствием, находя в рядах бесконечных цифр высокую поэзию.

И вне работы ее жизнь тоже была достаточно насыщена и наполнена.

Отработав со вкусом свои положенные восемь часов, она не спеша шла домой, получая почти физическое удовольствие от лицезрения одних и тех же картинок будничной жизни, встречающихся по пути ее следования: дом – работа, работа – дом, поскольку видела в их повторении основу мироздания, неизменность жизни и залог стабильности ее собственного существования.

В объекты ее ежедневного маршрута входили: аптека с небольшой стеклянной витриной, где выставлялись для привлечения внимания прохожих разные баночки-скляночки (Раиса Захаровна своим цепким взглядом всегда замечала, что новенького появлялось в ассортименте аптеки), детский сад «Буратино» с окрашенным в желтый цвет забором, через который было видно, как на площадке играют дети (Раиса Захаровна не только всех их знала в лицо, но и знала, кто из родителей за кем приходит), и, наконец, молочный магазин, где она всегда что-нибудь покупала по дороге домой: сладкий сырок, кусочек масла или обязательный пакетик кефира перед сном. Все это – по улице Кирова, которая со временем станет опять Базарной. За углом, по улице Пушкинской, – парикмахерская, где Раиса Захаровна стриглась раз в месяц, а иногда даже делала прическу, если того требовали обстоятельства, а за парикмахерской – большие железные ворота, ведущие в неболь-

шой типично одесский внутренний дворик с деревянной галереей и будкой сапожника в глубине. Перед воротами с пяти часов вечера занимала свой пост чудаковатая дама, проживающая в этом доме на первом этаже. Она продавала семечки и для этой торговой операции притаскивала из дома две скамеечки: на одной сидела она сама, другую ставила перед собой, раскладывая на ней свой товар в полотняном мешочке и два граненых стаканчика. Тот, что поменьше, был распространенной в то время тарой населения для принятия на грудь пятидесяти граммов «для аппетиту». Пройдет время – и мода на такие стаканчики вернется, и нувориши на своих роскошных дачах с удовольствием будут разливать в эти стаканчики самую дорогую водку, считая это высшим шиком.

Есть категория женщин, к которым иначе чем «дама» и обратиться нельзя. Такой была и эта торговка семечками. К своему выходу на улицу она готовилась, как актриса, выходящая на сцену: при полном гриме и в каких-то несовременных вычурных платьях с большой претензией.

– Может, она действительно бывшая актриса, – думала каждый раз Раиса Захаровна, с любопытством ожидая встречи с «дамой»: во что сегодня та будет одета?

Когда однажды торговка семечками вышла на работу в шляпке с вуалью и уселась на свой табурет, как королева садится на трон, Раиса Захаровна так на нее засмотрелась, что, поскользнувшись от изумления, чуть было не упала и не разбилась вдребезги.

Добравшись, наконец, до своего дома, Раиса Захаровна, надев тапочки, по длинному унылому коридору шла на коммунальную кухню, где готовила свой обед, всегда одинаковый. В закипевшую кастрюльку она бросала пакетик супа быстрого приготовления и, взяв из холодильника кусочек колбасы, семенила назад по коридору в свою комнату. Усевшись под телевизором, она под последние новости не спеша доедала свой нехитрый обед и шла на прогулку, которую совмещала с посещением гастронома в конце улицы Пушкинской напротив вокзала.

Иногда в день зарплаты, или же чтобы отметить день рождения тети или мамы, а иногда и просто под настроение Раиса Захаровна устраивала себе праздник и заходила в пиццерию на углу Пушкинской и Кирова, где она баловала себя бокальчиком пива и жареной

картошкой, которую почему-то называли «фри». Особенно она любила посещать пиццерию в теплое время года, когда столики выносились на улицу, и она могла наблюдать не только за посетителями этого заведения, но и за прохожими. Тогда улица и кафе превращались в мизансцену, где разыгрывались маленькие человеческие комедии.

Наблюдая за людьми, попадающими в ее поле зрения, она старалась по их внешнему виду определить, о чем они думают и чем озабочены. Эти случайные люди, к которым она проявляла такой живой интерес, заполняли ее жизнь новыми впечатлениями и восполняли скудость ее собственных переживаний и отсутствие внешних событий.

Вернувшись домой, Раиса Захаровна какое-то время занималась хозяйственными делами, а затем усаживалась под телевизор с газетой в руках. Убаюканная очередным сериалом и чувствуя, что засыпает, она ложилась спать и обязательно говорила «спокойной ночи» маме и тете. Те ласково улыбались ей с пожелтевших от времени овальных фотографий на комоде, и она отчетливо слышала обращенный к ней из прошлого голос тети: «Эх ты, мой стойкий оловянный солдатик…».

Тетя у Раисы Захаровны была незаурядной женщиной. Во времена ее молодости она считалась самым лучшим в Одессе специалистом по бесплодию, и многие женщины месяцами обивали порог ее кабинета, чтобы попасть к ней на прием, а некоторые даже прорывались к ней домой и долго простаивали на лестничной клетке, безнадежно пропахшей кошачьими испражнениями, в ожидании ее прихода.

Своих детей у тети не было. Она рано похоронила мужа и жила в двухкомнатной коммунальной квартире со своей сестрой и племянницей: Раиса Захаровна с матерью в проходной комнате, а тетя – в отдельной.

Тетя прожила долгую жизнь и умерла в возрасте девяноста двух лет в здравом уме и трезвой памяти. По складу своего характера она была командиршей, и Раиса Захаровна с матерью никогда ей ни в чем не перечили, снисходительно позволяя командовать собой и их домом.

Со времени смерти тети и мамы прошло много лет, но Раиса Захаровна ничего не меняла в их квартире. Перебравшись в те-

тину комнату, она оставила на своих местах всю мебель, которую можно было использовать как наглядное пособие по интерьеру послевоенных лет: кровать, у которой вместо ножек были подставлены ящики, колченогий стол, за которым когда-то собиралась вся семья, и у которого вместо столешницы использовался овал, вырезанный из фанеры, старое кресло с отдышкой, покрытое белым полотняным чехлом, который, по заведенной давным-давно традиции, подвергался обязательному подкрахмаливанию, и много других предметов, давно переживших свое время, но таких близких сердцу их последней хозяйки.

В последний вечер перед юбилеем Раиса Захаровна так волновалась, что не только шла домой, не оглядываясь, как обычно, по сторонам, но даже забыла зайти в молочный магазин.

Проходя мимо дома с железными воротами, она заметила, что вместо дамы с семечками у ворот стоит «скорая помощь», и дурное предчувствие неприятно коснулось ее сердца. Вернувшись домой раньше обычного, Раиса Захаровна сразу же устремилась к огромному трехстворчатому шкафу, который занимал вторую половину комнаты, оставшуюся после кровати на ящиках.

Неохотно распахнувшись, дверцы шкафа выпустили на свободу спрятавшийся там запах старой одежды, приправленный нафталином и едва уловимым ароматом старых духов. Шкаф был битком набит разнообразной одеждой, но это была одежда не Раисы Захаровны. То были платья, костюмы и пальто мамы и тети, в основном, конечно, тети, та была большая модница и всегда одевалась дорого и со вкусом. Сестры отличались богатырской статью, и их одежда никак не могла подойти тщедушной Раисе Захаровне, но у той никогда не поднималась рука ни отдать их соседям, ни тем более выбросить.

Когда она открывала шкаф и видела знакомые силуэты на плечиках, у нее появлялось ощущение присутствия родных ей людей, и это доставляло ей почти физическое удовольствие. Она даже иногда открывала шкаф просто так, без надобности, чтобы только вдохнуть родной запах и погладить рукой спрятавшееся в складках платья тепло давно остывших тел. Ее собственных платьев было всего несколько, Раиса Захаровна в вопросах одежды, как, собственно, и во всех других вопросах, была консерва-

тивна, и ее гардероб состоял исключительно из платьев, сшитых много лет назад одной и той же портнихой. Портниху ее звали Эсфирь Семеновной, и она заслуженно считалась лучшей мастерицей в Одессе. Эсфирь Семеновна была караимкой и образцово сочетала в себе основные качества караимских женщин: трудолюбие, честность и преданность. Она дружила с тетей Раисы Захаровны и выполняла ее заказы вне очереди. У тети была нестандартная фигура – по-восточному широкие бедра и достаточно тонкая талия. Совместить все это в готовом изделии могла только Эсфирь Семеновна. Орудуя ножницами, как волшебной палочкой, она делала такой искусный крой, что платье сидело на тете, как вылитое. Худенькая фигурка Раисы Захаровны не требовала такой виртуозной работы, но поскольку тетя все равно всегда брала ее с собой, за компанию заказывали что-нибудь и для нее.

Взяв после преждевременной смерти брата заботы о его семье, Эсфирь Семеновна воспитывала своего племянника Сашеньку, красивого смуглого паренька со смешливыми и озорными, похожими на крупные греческие маслины, глазами. Встречая его, Раиса Захаровна ловила себя на крамольной мысли: а что если бы в свое время ей повстречался не Москвич, а вот такой веселый и открытый Сашенька, может, ей и не пришлось бы выносить такой суровый приговор Человеческой Любви?

Но вскоре Сашенька, как ни блюла его Эсфирь Семеновна, неожиданно и тайно женился, выкрав предварительно у тети свой паспорт, а спустя короткое время так же и развелся – стремительно и бесповоротно.

– Ну-у, если уж у Сашеньки не вышло… – с грустным удовлетворением констатировала Раиса Захаровна, и этот факт, укрепивший ее любовный нигилизм, рассеял у нее последние иллюзии.

Немного поколебавшись, Раиса Захаровна отобрала коричневое платье с белым кружевным воротничком, которое она считала чересчур нарядным для работы, и поэтому надевала очень редко. Правда, высокие плечики, такие модные в послевоенные годы, выглядели сегодня как анахронизм, но зато они выравнивали ее начинающую сутулиться спину, делая ее значительно стройнее. Добавив к выбранному туалету новые чулки и туфли «на выход», Раиса

Захаровна осталась вполне довольна своим выбором и, вспомнив, что она еще сегодня не обедала, засобиралась в поход на кухню. И вдруг ей в голову пришла совсем неожиданная мысль: «А что, если Лев Борисович задумал ее чествовать в связи с выходом на пенсию? Уволить ее просто так неудобно, да и не за что, а в связи с такой внушительной датой вполне логично. Мол, пора, голубушка, и честь знать, так долго не живут, а уж что не работают – так это точно…».

Раису Захаровну как жаром обдало. И как такая простая мысль не пришла ей в голову раньше?

– Это что же получается? – возмутилась она. – Ее, как ненужную залежавшуюся вещь, выбросят на улицу? За что, спрашивается? Она что, не справляется с работой или часто болеет? Ну и что, что ей уже восемьдесят? Ей еще только восемьдесят! Она раньше всех приходит на работу и уходит почти всегда последняя! Она ни разу не сделала ни одной ошибки в документах, ее расчеты безупречны, а ее годы – не недостаток, а достоинство, потому что за ними – бесценный накопленный опыт! И никто, никто не сравнится с ней в профессионализме, потому что его не выучишь, как зачет по бухучету, он приходит именно с годами, оттачивается временем, и никто не только в их сберкассе, но и во всех других сберкассах вместе взятых не сможет с ней сравниться в этом!

Раисе Захаровне казалось, что еще немного – и она задохнется от душившей ее обиды, лоб покрылся испариной, а в горле совсем пересохло, и она решила пойти на кухню за водой. Только сейчас она обратила внимание на то, что до сих пор не переоделась в тапочки, но как только она наклонилась, голова у нее закружилась еще больше и она, как была, в туфлях, засеменила на кухню. У нее было пять соседей и, следовательно, пять дверей. Раиса Захаровна благополучно прошла три, а возле двери Нины Федоровны вдруг покачнулась и, успев с силой толкнуть дверь соседки, навзничь упала на пол. Что происходило с ней потом, Раиса Захаровна помнила смутно. Перед ней мелькали чьи-то встревоженные лица, какие-то расплывчатые фигуры в белых халатах, кто-то заглядывал ей в лицо, кто-то щупал пульс. Она хотела сказать, что ей не так уж плохо, как им кажется, но не могла.

– Теперь уж юбилея точно не будет, – с облегчением подумала она перед тем, как окончательно потерять ощущение реальности окру-

жающего ее мира. Когда она пришла в себя, то с удовлетворением обнаружила, что находится не в больнице, а у себя дома, и привычно засобиралась на работу. Однако она заметила, что пережитое накануне потрясение все же не прошло бесследно, у нее сильно упало зрение, и теперь она все видела как в тумане, будто смотрела на мир через призму стекла, по которому стекают капли дождя. «Не иначе как катаракта, – недовольно подумала она. – Достала все-таки, зараза». Когда она вышла на улицу, ее ожидали другие неприятные сюрпризы. Молочный магазин вдруг исчез и, обнаружив этот непонятный факт, Раиса Захаровна в изумлении остановилась.

– Куда же он мог подеваться? – совершенно сбитая с толку, озадаченно спросила она саму себя и, прищурившись, стала пристально вглядываться в то место, где раньше находился злополучный магазин. И вдруг – о чудо! – он вновь появился, и ровно на том самом месте, где ему и положено было быть! «Нет, это не катаракта, – покачала она головой. – Это глаукома или даже что-то еще серьезнее. Надо непременно пойти на Ольгиевскую, врач ведь говорил: надо каждый месяц проверяться, а я уже несколько лет как не была. Вот и результат», – ворчала она про себя, продолжая свой путь, и, обнаружив отсутствие детского сада, уже не испугалась, а только опять прищурилась – и сад тут как тут, сразу и появился.

– Чудеса, – покачала головой Раиса Захаровна. – Ну, ничего, к этому можно приспособиться, и не такое приходилось переживать, – успокоила она себя и – топ-топ, шлеп-шлеп – пошагала себе дальше к своей сберкассе.

3

Олечка и Зоечка сидели в кафе и по очереди время от времени горестно вздыхали.

– Зоечка, – говорила Зоечке Олечка. – Не поверишь, но я уже три ночи практически не сплю.

– Это плохо, – с осуждением покачала головой Зоечка. – Бессонница истощает нервную систему. У меня тоже когда-то такое было – и знаешь, что мне помогло? Французское снотворное, не помню только сейчас, как оно точно называется, позвони мне обязательно сегодня вечером, я посмотрю его название.

Олечка послушно кивнула и опять вздохнула.

– Бессонница – это что, у кого ее нет? У меня вот проблема значительно серьезнее, – пожаловалась, в свою очередь, подруге Зоечка. – Кровь, понимаешь ли, практически не течет, – важно поделилась она.

– Так не бывает, – недоверчиво взглянула на подругу Олечка.

– Бывает, – многозначительно кивнула Зоечка.

– Очень редко, но бывает. У меня ведь кровь такая густая, что просто ужас. На днях сдавала анализы, так меня всю искололи, а кровь так и не взяли. Представляешь?

– Принимай аспирин, – посоветовала Олечка. – У меня вот вроде все нормально, а я все равно принимаю.

– Думаешь, я не знаю? – возмутилась Зоечка. – Мне не помогает. Посмотри на мою ногу, – и она приподняла подол платья, обнажив опухшую, в синих жилах ногу. – Самый настоящий тромбофлебит. А если тромб попадет в голову? Инсульт! А если, не дай бог, в сердце? Инфаркт! А у меня уже был один инфаркт, помнишь? Я еще тогда в сберкассе у тебя работала, лет десять назад.

– Как не помнить, – печально кивнула головой Олечка. – Как ты уволилась, на твое место я долго никого не могла найти. Все как сговорились: «Нечисто там», – твердят, – и все. Прямо хоть сберкассу закрывай.

– Ну, а сейчас? – с жадным любопытством спросила Зоечка. – Ходит? – прошептала она.

– Ходит, – вздохнула Олечка. – Куда он денется? Только никто его уже не боится – привыкли. Он же безобидный. Бумагами пошуршит, половицами поскрипит – и все дела.

– Ну, не скажи. Это же черт знает что: призрак в сберкассе! – возмутилась Зоечка. – У нас же не английский замок, бред какой-то! Священника надо было позвать, службу отслужить. Он и отстанет.

– Да вызывали, – махнула Олечка. – Ничего не помогло. Не берет его ладан, – вздохнула она.

– А ты еще удивляешься, что у тебя бессонница! – возмутилась Зоечка. – Да как ей не быть, при таких-то ужасах! Просто кровь в жилах стынет. Увольняться тебе надо, вот что я тебе скажу, – категорично заявила она. – Сколько можно? Не девочка уже. Сколько это ты уже как на пенсию вышла?

– Да пять лет всего, а работать, сил уже нет, – пожаловалась подруге Олечка. – Но в управлении просят: останьтесь и останьтесь. Работать некому. Одно только название – заведующая. А зарплата нищенская. Кто из молодых пойдет? Это у нас Лев Борисович королем был, а сейчас на это место днем с огнем не сыщешь.

– Да-а, – протянула Зоечка. – Хорошие были времена. Простыми кассирами работали, а жили хорошо и ни в чем не нуждались. Лев Борисович нам еще путевки пробивал. Помнишь? И в Москву несколько раз ездили, и в Карпаты.

– Как не помнить, – мечтательно улыбалась Олечка. – Там я со своим Костиком познакомилась. Часами на морозе целовались – и ничего, хоть бы насморк какой подхватила. А сейчас чуть подует – и уже готова, месяц на лекарствах сижу.

– Да-а, – вторила ей Зоечка, – вот я и говорю. Классный был мужик наш Лев Борисович, царствие ему небесное.

– А Раису Захаровну помнишь? Ох, как она нас в ежовых рукавицах-то держала! Строгая была, но справедливая. Хорошая тетка, ничего не скажешь. Помнишь, Лев Борисович ей сюрприз на юбилей готовил, орден для нее два года выбивал, а она возьми да преставься. Жалко, не дожила старушка, а то порадовалась бы, царствие ей небесное. Сейчас даже представить себе не могу: как это она на своих каблучках туда-сюда бегала, в свой-то восьмидесятник!

– А я уже давно каблуки не ношу, – печально заметила Олечка, поднимаясь. – Ладно, Зоечка, пора мне. Передавай привет своему Толику, загляните как-нибудь к нам на огонек. Посидим, молодость вспомним.

– Если дети отпустят, – вздыхала Зоечка. – Работают без выходных с утра до вечера, ну, а внуки с нами вечера коротают. Жить-то надо. Я тебе сегодня вечером перезвоню насчет снотворного-то. Склероз замучил, ничего уже в голове не держится.

Поддерживая друг друга, Олечка и Зоечка, тяжело переступая негнущимися ногами, вышли из кафе. Стайка молоденьких девушек, сидящих за соседним столиком, прыснули им вслед.

– Вот дуры, – обернувшись, бросила им через плечо Зоечка.

4

Погода стояла великолепная: как раз такая, какую любила Раиса Захаровна в осеннее-летнее межсезонье в сентябре: свежее бодрящее утро и солнечный день, еще хранящий тепло лета, но без изнуряющей и надоевшей жары. Собственно, такая погода была теперь всегда. Направляясь на работу, Раиса Захаровна бросала взгляды по сторонам, создавая привычный для нее мир: детский сад «Буратино» с желтым забором и играющими за ним детьми, аптеку со стеклянной витриной, железные ворота с сидящей перед ними дамой с семечками, молочный магазин…

Правда, дети уже за который десяток лет не подросли ни на сантиметр, за стеклянной витриной появлялись только знакомые Раисе Захаровне медикаменты, а дама с семечками уже не снимала шляпку с вуалью, которая так когда-то поразила ее воображение…

Ах, если бы кто-то мог сказать ей:

– Раиса Захаровна, ты умерла! И тебе не нужно теперь каждый день ходить на работу. Поднимайся выше над своими буднями, создай себе другой мир, недоступный для тебя в той, земной жизни, – красивый, радостный, где ты будешь любить, и где будут любить тебя, где не будет ни глаукомы с катарактой, ни запаха нафталина, ни унылого, бесконечного, как зубная боль, коридора с туалетом на пять соседей. Но некому этого сказать. Своими мыслями, поступками и даже неосуществленными намерениями человек на земле творит свой собственный будущий ад или рай, а когда уходит в бесконечность, то получает там именно то, что заслужил. И мы попадаем именно в тот мир, который построили на земле. Мы даже не замечаем, что умерли…

И в этом высшая справедливость Создателя.

А Раиса Захаровна – топ-топ, шлеп-шлеп – доходит до угла Пушкинской, поднимается вверх по Базарной, бывшей Кирова, и останавливается возле сберкассы № 53. Начинается новый рабочий день.

Татьяна Мартынова

Пять рассказиков

Былины

Бабушка моя, Виктория Львовна Штучкина, урожденная Розовая, когда была помоложе, любила певать мне, в ту пору младенчику, былины о стародавнем времени, когда в государстве нашем порядка было поменее, а свободы поболее, и люди жили в довольствии и веселии:

Тут солнышко Владимир стольнокиевский как накинул эту службу да великую на того Добрыню на Никитича – ему съездить далече во чисто поле и достать ему князеву племянницу молоду Забаву дочь Потятичну.

Все-все я понимал и про великого князя, и про богатырей, и про служилых людей, и про поганого Змея Горыныча. Недавно Ленку из Беляевки вызволили таким же макаром. Хлопнули с Васькой ее похитителей, двоих, Ленку в машину, – да и смылись, пока Рома-Хрень не вернулся.

А тогда, в далеком сладком детстве, завернутый в несколько газет и славно угревшийся, я засыпал только под жужжание прялки и звуки бархатного голоса моей бабушки.

Полная классика

Эта жучка из мастер-сервиса меня доведет когда-нибудь до преступного деяния. Пришел заправить картриджи к тонконогой, остроносой. Неважно. Красивой, как месяц ясный. В Одессе у нас они все – офигительные. Говорю, так, мол, и так. Она: сто десять

гривень. Заплатил через кассу. «Когда готово будет?» – спрашиваю. «К трем часам подойдите». Подъехал к трем. «Нет, не готово. Ваши картриджи промывать надо. Давно вы печатали что-нибудь на своем принтере?» – «Вчера», – говорю. «Через час подойдите. Промоем и заправим». Через час подкатываю. Не готово! Промыть не могут. На пробном листке полосы идут. «Когда же?» – спрашиваю. С легкой злостью. «На ночь оставьте… Завтра приходите».

Приехал назавтра. «Не канает ваш черный картридж. Что смогли, то и сделали. Серый шрифт будет. И картинки – с легкой полосой». – «А мне неважно, с полосой или без полосы. Мне – распечатать объявление о пропаже бабушки. Восьмидесяти трех лет. Лицо в полосах, тьфу, в морщинах. Особые приметы: без особых примет, старуха». – «Тогда доплатите тридцать гривень за промывку». Плачу. Забираю картриджи. Дома десяток объявлений распечатал с фотками – и все! Кончились чернила в картриджах. Я – к ним, в мастер-сервис: «Как это понимать? Чернила кончились». – «Не знаю. Приглашу инженера». Приходит такой: «Что вы хотели?». Я ему опять все то же, но с нарастающей. Рожа у него красивая больно. Такие вот и воруют бабушек! «Недолив», – говорю. «Да что вы! Такого у нас не бывает. Пойду проверю на оборудовании». Выходит. «Все нормально, даже лишнее залито, я проверил. Просто картридж ваш засорен очень. Работать не будет», – «Да он новый был картридж! Что мне делать теперь? И как это – черный засорен, а цветной – как огурчик?» – «Ничего не могу сказать. Эти картриджи, вообще-то, одноразовые. Мы их беремся перезаряжать без всякой гарантии». А жучка с ножками – мне: «Купите новый». – «И сколько он стоит?» – «Девяносто восемь гривень». Двенадцать долларов, значит. «На двести копий хватает, к вашему принтеру как раз подходит. К Дескджету 3050. Берете?» Взял. Заплатил. «Мы, – говорит, – даже вам ваши тридцать гривень возвращаем», – и телефончик фирмы мне сует. А там приписка ее рукой: «Алла». Все. Думал, все! Позвоню. Приглашу в кафешку. Отметим. Пришел домой, распечатал объявлений сорок. Кончился картридж. Все тот же черный, фирменный. Ну, я даже в зеркало на себя взглянуть побоялся. Так, вообще-то, по сто раз в день гляжу. А тут чувствую: сам не свой. Прибегаю назавтра в фирму эту. «Да, – говорит. – Я забыла вам сказать, что сейчас эти картриджи, именно этой марки, еще на фабрике только на тридцать процентов емкости

заправляются, такая у них политика. Зато они могут быть повторно использованы, – и потупившись, спрашивает: – А что ж вы не позвонили?» А я прямых вопросов не люблю, нервничаю: «Сколько ждать мне, – спрашиваю, – еще? Пока вы заправите мне уже этот, новый картридж?». – «К пяти часам подходите, я к пяти освобождаюсь!» – и на меня так смотрит… «Платить сейчас?» – «Можно». – «Сколько?» – «Пятьдесят пять гривень». – «Хорошо». Заплатил.

Подъезжаю без четверти пять. Жучки Аллы на месте нет, есть другая. Другая говорит мне: «Пока не готов. Ваш картридж промывать надо. Вы когда им в последний раз пользовались? Он засорен очень… Тридцать гривень за промывку доплатите». – «Та-ак. Тара, значит, слабовата!» – рычу. Она отпрыгнула в сторону: «Какая тара?!». Не читала Зощенко, видать. «Обыкновенная! Ах вы су…» – «Не дерзите! – инженер выскочил. – Мы вам сейчас все сделаем!» – «Ладно». Вышел я и дверью хлопнул. Не будь у меня другой заботы, я бы им показал. Но бабушка меня останавливает. Ее же искать, кроме меня, некому…

Утро жизни

«Ах, как замечательно, восхитительно и превосходно, даже я бы сказала, прелестно то, о чем я никогда не узнаю, не примерю, не съем, не схвачу, не оценю, не затопчу, не включу, не выключу. Что не увижу в жизни своей – такой тихой, скромной, невидной, неряшливой, такой чистой, неумной, бесхитростной… Сейчас открою страничку ее и прочитаю: «В целом ряде случаев выражение отношения к объекту не осложняется качественными значениями». Не осложняется! Не нужно, Евпраксеюшка, ничего осложнять в своей жизни, она – достойная! Вот постоянное свойство объекта, тебе принадлежащего. Какого еще качества жизни тебе нужно-то? Наблюдай за нею, наполняйся и переполняйся ею!» Евпраксея потянулась с хрустом, едва не скатившись с лежанки, сбросила с ног кошку и, счастливо засмеявшись, осталась лежать в подушках, пахнущих теплым пером, куриным пометом и свежевыстиранной наволочкой. Сквозь морозные узорные стекла пробивался синий рассвет.

По ящику

По ящику шла программа передач, и она долго ее слушала, не запоминая. Красочная реклама вывела было из равновесия. Пришлось стабилизировать свой вес, вытирать нос интересною салфеткою (оказалась памперсом), встречаться один на один с мистером Клином (или Клинингом? А! Нет! Мускулом… Ничего мужчина. Потом из интервью с руководителем края она поняла, что «В данный момент нам нужны ученые…». Зачем?). Показ длился минуты три, затем наступило плановое веерное отключение электричества. У колодца собиралось общество, в которое Евпраксея не вступила, спешила на ферму. Огромное стадо гусей встретило ее весело, захлопало крыльями, и Евпраксея расцвела: «Тега-тега-тега!». Нужно было засыпать им корм в кормушки, и вообще, спешить, спешить. Вечером предстояло ехать в город. Генеральный консул давал бал для людей дела. Так, во всяком случае, она поняла из объявления по ящику. А еще надо успеть забежать к Надьке за туфлями и диадемой и уговорить Петьку, водителя рейсового автобуса, на обратном пути подождать ее на автостанции.

Радость

Когда бабуля нашлась, я напился. В «Семь сорок» с Виталей пошли и стали лакать по-черному. Он «Немирофф», а я «Спецзаказ», он мягче. Легче идет. Бабушка просидела три дня на пирсе с удочкой. И никто ее оттуда не снял. Куда пограничники смотрят? А она увлеклась рыбной ловлей. Бычок шел, как сумасшедший, на мидию. За мидиями ныряла, говорит, сама. У нее такие грабельки есть острые: нырнет, наколупает полную сетку и – назад. Зима в Одессе бесснежная. Температуры плюсовые. Она и не замерзла. Кроме того, говорит, грелку с собой брала. Спрашиваю: «Какую грелку?». «Абсолют», – говорит. «А-а!» И это несмотря на то, что внук советовал «Спецзаказ»? Не послушалась! Вот и потерялась…

Яков Шехтер

На пустом месте

Тики сидела возле окна своей тель-авивской квартиры и грела пальцы о чашку с кофе. За стеклом, на бульваре Ротшильда, ветер безжалостно мотал черные ветки деревьев, а долгожданный дождь без устали стучал по голым скамейкам и блестящему от воды асфальту. Пробегали, закутавшись в плащи, редкие релижники, поспешая на утреннюю субботнюю молитву. Кроме них в такую погоду никого из дому не выгонишь. Привычное, годами знакомое зрелище не успокаивало Тики. Наоборот, каждая подробность, вроде кошки, сидящей под козырьком дома напротив и с отвращением отряхивающей мокрые лапы, поднимала в ней новую волну слез.

В этой квартире Тики прожила больше пятидесяти лет. Купили ее сразу после свадьбы, она и муж, «под ключ» – бессрочную аренду, ведь денег на приобретение собственного жилья в таком дорогом месте у них не было. Впрочем, Хаим уже тогда хорошо зарабатывал, а уж потом, когда стал брать строительные подряды, дела пошли и вовсе прекрасно. Сколько раз он предлагал ей переехать в престижную Герцлию, купить дом с лужайкой, на которой она сможет устраивать приемы для своих художественных приятелей. Но Тики хотела только здесь – в районе картинных галерей, неподалеку от ее любимого кафе «Касит» на Дизенгоф, где собиралась публика того круга, в который она стремилась войти.

В кафе сиживали художники Стеймацкий и Зарицкий, поэты Бялик и Альтерман, иногда заходил сам Нахум Гутман, создатель палестинской школы живописи. Оттого, что ей удавалось посидеть с ними за одним столиком, собственного мастерства не прибавлялось, но было в общении с великими какое-то электричество, неизвестный науке магнетизм. Кружилась голова, и фантазия раз-

ворачивала свои крылья, осеняя Тики шелестом и шорохом. После таких встреч ей всегда приходили в голову неожиданные сюжеты для картин, поэтому к «Касит» она относилась, словно верующий еврей к синагоге, и старалась бывать в нем почти каждый вечер. Разве может такое заменить лужайка, пусть даже в Герцлии?

Вообще, все тогда казалось новым, удивительным и прекрасным. Поэты создавали язык, художники основывали школы; столетиями ожидавшая свой народ земля была огромным пустырем, на котором молодые возводили государство, культуру, нацию. И бульвар перед окнами Тикиной квартиры был тогда просто проплешиной между двумя рядами новых домов. А сегодня другую сторону улицы с трудом разглядишь через ветки деревьев и заросли кустов.

Лет двадцать назад они попытались перекупить у хозяев свое жилье, но те не согласились. Дом, по тогдашним предположениям, скоро должны были снести и на его месте выстроить современное высотное здание. Хозяева в этом случае получили бы куда больше стоимости квартиры. Но прошло почти два десятилетия, а дом по-прежнему стоит на своем месте. И простоит еще долго, ведь построен он в стиле баухауз и теперь занесен в «красную книгу» архитектуры. Всего за восемьдесят лет современная постройка превратилась в музейную ценность…

Прошло еще несколько лет, и Тики расхотелось покупать квартиру. Для кого? На ее век хватит, а единственный сын давно осел в Силиконовой долине. У него огромный процветающий бизнес ценой в несколько миллионов, так что в Тель-Авив он уже не вернется.

Порыв ветра бросил в стекло горсть мутных капель. Тики зябко поежилась. Сейчас бы кота на колени или собаку, все-таки живое существо рядом. Но от собак дурно пахнет, а коты линяют. Да и возни с ними много, выводить на прогулку, еду таскать, о прививках помнить. Нет, лучше самой.

Или вот, внуки подрастают, может, приедут навестить.

Она подумала об узкоглазых внуках, об их матери, миниатюрной черноволосой таиландке, и зашлась от плача. И ведь сколько раз уговаривала себя, объясняла, что время изменилось, и век другой на дворе, что Сири-пон чудесная жена и заботливая мать, и что пора задавить в себе голос дремучих местечковых предков, но… эти узкоглазые внучата…

Тики решительно высморкалась, вытерла глаза чистой салфеткой и приказала себе: «Немедленно успокойся. Ты ведь не из-за этого плачешь. Причина совсем в другом. Себе-то зачем врать?».

Она еще раз припомнила события прошедшего вечера, и снова в груди всколыхнулась желтая горечь обиды. За что? Ее унизили беспричинно, походя, и с безжалостным нечеловеческим равнодушием.

Чтобы отвлечься, Тики перевела взгляд на картину в простенке. Любимый Кайботт, крыши Парижа. Фиолетовые, серые, лиловые сумерки, белые шапки снега на черных кровлях, дымовые трубы красного кирпича. Из ее мансарды в том далеком послевоенном Париже открывался такой же точно вид. Она тогда снимала одну студию вместе с Райзманом и рисовала с ним вместе одни и те же предметы: стулья, вазы, тарелки с остатками еды – все, что попадалось на глаза. Если бы Ури согласился уйти от своей кибуцницы-йеменки, она бы осталась с ним в Париже, может быть, даже навсегда. Начали бы новую жизнь, с ноля, на пустом месте. Оба художники, оба верящие в свою звезду, красивые, жадные до жизни. Но он всегда был упрямым, как черт, и всегда все делал по-своему, может быть, потому и добился известности. Его картины висят во всех музеях мира, а ее…

Впрочем, в последние годы багрянец славы окрасил и квартиру на бульваре Ротшильд. Ну, не настоящей, не мировой, но все-таки славы. Она ведь столько и стольких повидала на своем веку, а главное, помнила фотографической памятью художника. Легкое усилие памяти – и сразу перед глазами возникает раскуривающий трубку Авраам Шленский или качающийся над столиком то ли декламирующий, то ли декларирующий свои стихи полупьяный Александр Пен. Похотливый Сартр пересаживается поглубже в тень от Сен-Жермен-де-Пре, презрительно опуская уголки губ, кривит рот в сардонической усмешке Деррида. А вот элегантный Ури-Цви Гринберг в велюровой шляпе, строгом галстуке и ослепительно сияющих штиблетах выговаривает ей: «Тики, столько поколений ваших предков молились о том, что бы вы попали на Святую Землю. На что вы тратите свою жизнь, Тики!».

Тики улыбнулась сквозь слезы. Ах, он был такой милый и такой внимательный, Ури-Цви. Если бы не его занудная религиозность, кто знает…

Она нарисовала их такими, как помнила. Альбом моментально стал бестселлером, сразу за первым вышло второе издание, за ним третье. Потом «Пингвин» купил у нее права и выпустил огромным тиражом роскошную книгу на четырех языках. Завистники писали в газетах, будто секрет популярности кроется в злобности ее взгляда, в почти карикатурном выпячивании отрицательных черт и слабостей великих, с которыми ей довелось общаться. Вовсе нет! Они именно такими и были! Это потомкам спустя сорок лет кажется, будто большой художник обязательно и человек большой души, а на самом деле людские слабости сами по себе, а талант – сам по себе.

Дождь и тучи занавесили бульвар фиолетовой дымкой. Еще вчера ничто даже не намекало на такую погоду – обычный жаркий зимний день: к полудню свитера и куртки сменяются маечками и легкими рубашками. Мальчишки носятся по бульвару на скейтах, жужжат автомобили, неспешно тянется еще одна зима ее старости.

К вечеру Тики обычно выезжала на Яркон, посидеть у реки, вдохнуть влажный, холодящий щеки воздух. Ужинала в одной из многочисленных кофеен «маленького Тель-Авива» легко – кофе с круассаном или маффин с кружкой крепкого чаю. Спать она ложилась поздно, а о цвете лица давно перестала заботиться.

Вокруг ходили, смеялись и разговаривали по сотовым телефонам молодые парни, красивые, но по-другому, чем те, что когда-то нравились ей. Да и она, конечно, выглядела в их глазах совсем иной, чем современные девушки.

Фигура у нее еще вполне соблазнительна, хоть и немного расползлась, расплылась, точно непропеченная ромовая баба, но вот кожа на лице, руках и шее повисла мягкими складочками, словно горло у лягушки. На нее уже давно никто не обращает внимания, не подсаживается, не пристает с дурацкими вопросами. Не то что раньше, когда по улице не могла спокойно пройти, а уж в «Касите» – так просто очередь занимали посидеть с ней за столиком. И не лишь бы кто, а лучшие, лучшие из лучших. Ее называли королевой Тель-Авива, самой красивой женщиной Палестины. Ох, когда это было! Сейчас вкусы другие, и представления о женской красоте иные, чем раньше.

Да, она уже совсем собралась выходить, даже надела туфли, когда позвонил телефон. Шош, старая-престарая знакомая. Когда-то всемогущий обозреватель культурных событий, колумнистка в покойной газете «Давар». Тридцать-сорок лет назад ее слово стоило многого, очень многого. Близко с Шош она никогда не сходилась, их представления об искусстве и вообще о жизни слишком различались. Если и было что общего, так только мужчины. Ха-ха, как лихо она увела у Шош того актера, который… ну… он утонул потом, бедняжка, на ашкелонском пляже. Как же его звали… Не помню. Лицо до сих пор стоит перед глазами, а имя уже стерлось.

Год назад Шош выпустила книгу воспоминаний и прислала ей с трогательной надписью. Наверное, из завсегдатаев «Касита» в живых остались единицы, и Шош права – они последние свидетели. Но книжка у нее получилась слюнявая: все такие хорошенькие, добренькие, трезвенькие и постоянно думают об искусстве. Ерунда… Вечером они пили русскую водку, чтобы опьянеть, а утром арак, чтоб опохмелиться.

Шош несколько минут щебетала о погоде и самочувствии, а потом начала жаловаться, что книжка плохо расходится, и отзывы, хоть и хорошие, но какие-то расплывчатые, ни рыба ни мясо. Она так старалась, несколько лет просидела в архивах, пересмотрела тонны газетных подшивок, фотографий, писем. Проверила каждую дату, каждое имя. И вот – не читают… А ведь это история нашей культуры, наши великие имена! Не то поколение, не то время. Во всем девальвация…

Тики согласно поцокала языком, посокрушалась вместе с Шош об ушедшем золотом веке и повесила трубку. Вот дура! Публике нужны скандалы, пикантные подробности, грязь. Ей хочется встать на одну доску с великими, увидеть, что они были сделаны из такого же человеческого материала, с такими же слабостями и недостатками. Рассказы о праведниках нужны релижникам, но Шош-то обращается к совсем другой публике. Как же она со своим опытом не сообразила такой простой вещи?!

Тики спустилась вниз, села в маленькую юркую «Тойоту», опустила до самого низа стекла и покатила к выезду со двора. Мотор работал совершенно бесшумно, благодаря Хаиму она меняет автомобили каждые три года. Пока она болтала с Шош, –

стемнело. Голубоватый свет фар скользнул по коричневой с белыми прочерками царапин стене забора, выхватил дремлющие под домом автомобили соседей и уперся в стоящих прямо посреди проезда двух молодых парней. Одетые с карикатурной тщательностью, один во все белое, а другой в черное, они оживленно беседовали. Тики пару раз кольнула их дальним светом, а потом осторожно придавила клаксон. Никакой реакции. Двое были полностью погружены в беседу и не обращали на автомобиль ни малейшего внимания. Черный держал в руках пластиковый стаканчик и, выслушивая белого, прикладывался к нему с явным удовольствием.

Она подъехала вплотную, высунула голову из окна и обратилась с максимальной вежливостью:

– Шолом-алейхем, мир вам, уважаемые молодые люди. Не сочтите за труд пропустить мой автомобиль.

Молодые люди, не прерывая беседы и не удостоив Тики даже мимолетным взглядом, отошли в сторону. Она нажала педаль и медленно покатила мимо. В тот момент, когда открытое окно машины поравнялась с юношей в черном, тот небрежным движением руки выплеснул ей прямо в лицо содержимое стаканчика.

Тики оторопела. За секунду этой оторопи машина успела прокатиться на несколько метров. Мягко скрипнули тормоза, Тики схватила с сиденья сумочку, дрожащими руками втащила из нее пакетик бумажных салфеток и промокнула глаза. Такого с ней еще не случалось! За долгую, долгую жизнь в Тель-Авиве и десятилетия за рулем ни разу не случалось. Бывают, конечно, всякие происшествия, но вот так, без всякого повода, на пустом месте! Что же тут происходит, в самом деле?!

Она снова высунула голову из окна. Два негодяя повернулись к ней спиной и фланирующей походкой уходили по улице. Бежать за ними, кричать, вызвать полицию? Пока приедет полиция, от них и след простынет. А если не простынет, что она скажет? Их двое, она одна, не докажешь. Позвонить Хаиму? В конце концов, он ее законный муж, обязан защитить, хотя бы в таких случаях. Как же, оторвется он от своей Мирьям! А если и оторвется? Где она и где Хаим! От Герцлии сюда быстрее чем за час не доберешься.

Вот тут она и заплакала, в первый раз за вчерашний вечер. Фонари на бульваре освещали ее руки желтым мерцающим светом. Пальцы подрагивали, и на них, на кофточку, на колени под серой юбкой из дорогого английского твида черными точками ложились слезы.

«Жизнь продолжается, – решила Тики, когда обидчики скрылись за поворотом улицы. – Решила ехать на Яркон – и поеду».

Она отпустила тормоз, перевела ручку автомата на D и тронулась с места. Ехала на автопилоте, не замечая ни улиц, ни дорожных знаков. Какая-то часть ее мозга привычно выполняла знакомую работу: останавливала автомобиль в нужных местах, пропускала пешеходов, показывала повороты, но в голове неумолчно и безостановочно крутилось: почему и за что?

Тики поставила машину на своей постоянной стоянке у самой реки, но к берегу не пошла. Юбка на коленях потемнела от слез, лучше сразу усесться за столик, обождать, пока подсохнет. Еще раз промокнув глаза и пригладив волосы, Тики пошла в блинную «У Шуламит». Там подавали замечательные блинчики со сметаной, приготовленные по рецептам венгро-еврейской кухни. Хотелось крепкого кофе и чего-нибудь сладкого, отвлекающего, способного вытеснить изо рта соленый вкус слез.

Но «У Шуламит» было закрыто. Постояв в недоумении несколько минут, она сообразила – ну конечно, суббота! Шуламит хоть и ходила по своему кафе в брюках, невыгодно подчеркивающих отвислый зад и выпирающий животик, но голову всегда покрывала дурацкой шляпкой из дешевой итальянской соломки. Тики как-то попробовала объяснить ей, как улучшить прическу и вообще привести себя в подобающий возрасту и положению вид, да нахалка только усмехнулась. Она, видите ли, замужняя женщина, и закон предписывает. Ходить тютей закон ей тоже предписывает? В рамках тех же правил можно выглядеть вполне прилично. Она хорошо помнит, как эффектно одевалась жена Агнона. Ее муж, нобелевский лауреат по литературе, млел от одного вида блондинистых «шикс», вот Эстер и расхаживала в белокуром парике и в роскошных платьях чуть ниже колен.

Тики зашла в первую подвернувшуюся кафешку, съела без всякого удовольствия какой-то пирожок, запивая его тройным

эспрессо, закурила. Что же все-таки с ней произошло? О подобном она не слышала ни от кого от многочисленных знакомых. Хотя в последнее время знакомых сильно поубавилось, альбом распугал. В порыве благородного негодования прервали отношения. Ну-ну… Доктор Черняховский как-то сказал ей на банкете после презентации одной из его книг, она уж и не помнит какой:

– Милая Тики! Посмотрите вокруг себя. Видите, какие приветливые лица у этих талантливых людей? Как они рады за меня, с какой искренностью желают добра. Так вот, запомните, для большинства людей искусства успех товарища по цеху – большое личное горе. Это я вам говорю и как поэт, и как врач.

Ладно, на ее век знакомых хватит. В конце концов, можно и без них. Умирать все равно придется одной, сын не прилетит, Хаим не поможет, а знакомые – так точно не появятся. Зачем тогда они?

Свечи, что ли, начать зажигать по субботам? Может, в этом дело? Может, и в этом, только стара она врать и себе, и Всевышнему. Если бы верила хоть на грош, тогда да, а так – из-за страха? Разве Ему нужен ее страх? Если существует Кто-то над нами, то наверняка Он выше наших представлений о Нем. И уж во всяком случае, добрее, чем безжалостные нечеловеческие законы, якобы дарованные Им своему народу. Любовь – вот что движет высшей справедливостью, а не мелочные предписания.

Тики почти успокоилась и подошла к реке. В черной воде дрожали отражения фонарей, их тусклый свет переливался и трепетал на мелких волнах. Тянуло свежестью, откуда-то еле слышно доносились звуки музыки. Бум-бум-бум, очередной дурацкий рок или рэп, как они его там называют. Не все ли равно, к музыке это отношения не имеет. То ли дело раньше…

Она вздохнула и пошла к машине. Пробиваясь через вечернюю тель-авивскую пробку, Тики почти забыла про обиду, и только когда фары осветили проезд во двор, в котором несколько часов назад стояли «черный» и «белый», горечь вернулась и сразу выщипнула из глаз несколько горячих капель.

Ее дом… Место, в котором даже стены помогают. А ей кто поможет? Кто утешит, скажет доброе слово? Великие ушли, оставив после себя картины, ноты, книги. Она знала их

в другой ипостаси, в человеческом облике. Слабыми, ищущими поддержки, утешения. Величие – оно для улицы, а дома у каждого был кто-то свой, с которым пили кофе по утрам, которому жаловались на обиды, на котором срывали злость и потом просили прощения, а ночью, словно мифический Антей к земле, припадали к груди в поисках новых сил. Как же получилось, что она, Тики, Тиква, Надежда, не стала ни великой, ни своей?

Картины, ноты, книги… Они только фантазия, игра ума. Приятное времяпровождение, когда все остальное в жизни удачно. Ни утешить по-настоящему, ни снять боль они не могут. Протягиваешь руки, чтобы опереться, а пальцы проваливаются в пустоту.

Поднимаясь по лестнице, она не удержалась и разрыдалась уже в голос, жалобно и стыдно. Потом была ночь, еще одна ночь в пустой гулкой квартире. Чтобы уснуть, ей пришлось выпить две большие рюмки гленморанжа и кое-как, ворочаясь с боку на бок, дожидаться утра. Несколько раз она ходила в туалет, долго сидела в темноте на холодном унитазе, прислушиваясь к бульканью воды в неисправном бачке. Ему вторило беспощадное тиканье часов – тик-так, тик-так, тик-так. С ума сойти можно!

Проснувшись, Тики около часа лежала в кровати, не в силах двинуться с места. Даже кофе не хотелось, а ведь утренний ритуал с тщательным помолом, завариванием и долгой медитацией над ароматным дымком был в последние годы едва ли не главным поводом для каждодневного вставания. На автопилоте, как вчера за рулем, она все-таки поднялась, приготовила кофе, села с чашкой у окна, взглянула на занавешенный штриховкой дождя бульвар и горько, горько расплакалась.

Иерусалим

Поэзия

220 **Елена Михайлик**
«Окружающий мир на события скуп...»

226 **Володимир Невмитий**
На відстань п'янкого цілунку

233 **Анна Стреминская**
«Там проживаю я...»

237 **Ольга Ершова**
«Снимите музыку с лица...»

Елена Михайлик

«Окружающий мир на события скуп...»

* * *

Генри Морган встретил гигантских кальмаров в количестве,
равном пи,
Что при его профессии не должно вызывать вопросов,
Но дело было на перешейке, практически в голой степи,
А еще у них внизу крутились такие большие колеса...

Генри Морган сказал: «Какого Уэллса?» –
и ушел из сюжета прочь,
У него огород, капуста, кадастры и оплаченный отпуск
на две недели,
Но без него на перешейке стоит глухая полярная ночь,
А кальмары замерзли, ездят кругами и изрядно всем надоели.

Окружающий мир на события скуп,
его злые злодеи хотят покоя,
Его чудовища канут в суп, который не варят его герои,
Матрос Железняк посмотрел на Херсон и сбежал –
«Братишки, за что боролись?»
И автор, не в силах покинуть сон, над ними рыдает,
как Райс Берроуз.

А через месяц, устал и небрит – урожай, ремонт,
лесные пожары, –
Приходит Морган и говорит: «У тебя еще остались кальмары?»

* * *

Под слоем почвы – иной пейзаж:
Гранит, диорит, базальт, габбро.
Ты берешь его на карандаш,
Он тебя – на перо.

И неважно, каковы города,
Сколько месяцев до зари.
Ты давно уже альбит и слюда,
Там, в решетке, внутри.

Греются камни, растет трава,
Отступает граница льда.
Ты берешь его на слова,
Он тебя – навсегда.

* * *

Александр Андреич, товарищ Чацкий,
Нечувствительно попал в переплет.
По его квартире – пустой, холостяцкой,
Бродит перепуганный кот,
Повторяет хозяйскую траекторию,
Вяло препирается с окрестной зимой,
Но из тех, кто раньше ушел в историю,
Ни один не вернулся домой.

Александр Андреич сидит в теплушке,
Поезд идет в Уфу.
Придорожные елочные игрушки
Догорают в сыпном тифу.
Пулемет над озером глотку рвет,
И тот, кто ответственен за пейзаж,
Уже не помнит, кто здесь живет
И кто кому персонаж.

Александр Андреич говорит односложно,
И по картам выискивает тишину,
Вычисляя рубеж, на котором возможно
Закрепиться и остановить волну.
Он мог бы, наверное, иное значить,
Подчиниться горячечным ночным голосам.
Но автор убит, а город захвачен, –
И он теперь выбирает сам.

Сидней Нолан

По рыжей и фиолетовой марсианской траве
Скачет местный грабитель с ящиком на голове,
И следит за его движением головой на восток
Деловитая птица, прочищающая водосток.
За углом плоского дома барашек луну жует,
Сено, солома, створоженный небосвод
На краю рабочего пригорода, засухи на краю,
Что вижу – о том пою.

Виллс и Берк, эмаль, снаряжение, выходной,
Привокзальный верблюд, выездной сюжет.
Город Мельбурн остался у них за спиной,
На картине, там, где пространства нет.
А впереди растенья странны, сухие русла длинны,
И между ребер светит ландшафт вместившей тебя страны.
Птица находит мед и на землю льет –
Что видит, о том поет.

Желтый день, жара, прибоя сухой раскат,
Не в песке, но в небе рыбачьи лодки висят,
и Тигр, и Евфрат лежат под одной плитой,
А над этой грядой, перед косой чертой
Те, кто пока бессмертен, пялятся в аппарат,
Праздничный воздух пьют –
То видят, о чем поют.

* * *

Джек-потрошитель пришел в райком
И попросил путевку на целину –
Там, говорят, комбайны ходят гуськом,
Пиво не хуже, чем в Гамбурге иль Клину, –
Свищут казашки, приманивают луну.
Съезжу и отдохну.

Слушай, рабочий, что тебе целина?
Тут, вообще, не читал? Началась война,
Тут Ганнибал прошел походом вчера.
Слушай, райком закрыт, на дворе жара,
Лают лисицы на грустный Бирнамский лес –
Выпил бы да исчез?

Джек-потрошитель сказал – беда.
Я в дискретном пространстве дышу едва.
Где корабли, империи, города,
Как мне работать, товарищ райком, когда,
Нет ни ножа, ни тела, ни естества:
Всякая плоть – слова?

Джек-потрошитель выпил свои сто грамм
И переехал в Рио,
И счастлив там.

* * *

Непрочность, женщина, тебе названье,
Малина, женщина, тебе растенье,
Трава срастается с твоею тенью,
А тень шатается со всякой пьянью.

По переулочкам, по водостокам,
Гуляет озеро с твоей осокой,
Покуда летнее ночное время
Не станет шорохом, не выйдет сроком.

Рабочий пригород, предместье рая,
Щебенка серая, сырая глина,
Зато по улицам, смотри, какая,
Из каждой трещины растет малина.

«Земную жизнь пройдя…»

Мимо снежной корки, мимо плоти болотной,
Вдоль неровного края рва
Возвращается жалость к траве и животным,
Восстанавливаются слова.

Сочинить предложенье, в него проснуться –
В балке у сухой реки,
И понять: во Флоренцию можно вернуться,
Дожив до конца строки.

Такая строка, что замерзают чернила,
Такая политика, что рифмовать с чумой,
Такая любовь движет эти светила,
Что можно дойти в рай, но нельзя – домой.

Кроме любви дело идет к ночи,
Каменный мост прижался брюхом к реке.
И то, куда не дойти, меж орбит стрекочет
На подворотном безудержном говорке.

* * *

Что это за вода, Мария, что это за вода,
Почему она пришла, Мария, почему глядит на меня,
Ей нужно литься, стекать в океан, зачем висит за стеклом,
Переливается радугой на камнях?

Что это за вода, Мария, говорит вода,
Почему она стоит, Мария, когда я теку сюда,

Отгораживается упругой пленкой, не пропускает в дом,
Зачем глядит, если не хочет, зачем не цветет сама?

Подождите, разводит руки Мария, подождите, вода, вода,
Сто процентов и семьдесят два процента,
рассчитайтесь наоборот,
И плывите, кто хочет, до Антарктиды, до рыхлого края льда,
И смотрите, кто хочет, как над заливом дождь на службу идет,
Красные стены, черепичные гривы – текут мои города...

Что это за вода, Мария? Спрашивает вода.

Сидней

Володимир Невмитий

На відстань п’янкого цілунку

* * *

де та межа де втіха вже не втіха скорше біль
а біль іще не біль а втіха млосна
до плину часу мить ця невідносна
мов звуковий бар’єр долаєш звідусіль
мов недострачений ковта хапцем повітря
мов у жерлиську бурі зарятує мис
або ж одноманітнітну стигму рис
зі тла свічада погляд квапно зітре

чий погляд
не довідаєшся ти ніколи

* * *

сьомого липня
2007 літа
сім хвилин сплинуло
відмерехтіло
по сьомій
ти заварила каву
по той бік відлуння
ринви судин моїх
виповнив з ревнощів
дощ

навіть на мислі не мали
що він із Єгипту

з доби Рамзеса
над світом витає
мов сумнів

хист пробудився в мені
будувать піраміди
не скористаюся з нього
ніколи
журись відтепер

* * *

годинами
стоїш на голові
міжніжжя тільки промені прийма
чека дзиґар коли хитнеться тінь
і на ступні перемістиш себе

пісок
у дзиґарі зажебонить
поцупить ковдру з мілини відплив
од тебе вічі в безмір одведу
те ж саме вчинять всі чоловіки

литки
леткі не звиклі до ходьби
над хвилями тебе перенесуть
і перебуде навіжений день
сторчма в зіницях зійде молодик

* * *

коли потяг спиняється між світлом і тінями
провідник не второпа
що нам до раю
довіряюся тиші
мовляв кохаю

а відлунює сумнів
а ти мене

коли в лігвище ночі вертаються звірі
і півсвіту викрешує зойки невтримні
я волаю
тобі неодмінно повірю
надриваю легені
а ти мені

* * *

самотніє без нас театр
вгасає кволо
лампа
і півколо
сцени
твоїми коліньми вповза у тьму
холоне рампа
психіатр
байдужно
за глядачами зачиняє двері
у полусфері
зовсім інший вимір
нічний прихисток
для очистих
херувимів

* * *

торкаєшся до вістря насолоди
до зернятка всолодженого плоду
загуслого вогнивиська в бурштині
і світ замружує зіниці сині

і не бажаєш бачити нікого
торкаєшся до пуп'янка цупкого

намацуєш місцину для опори
у відповідь розгойдується море

помандрувати лісу закортіло
на кришталі розкрихтується тіло
і завбачаєш втіху довгожданну
йдучи краєчком кратера вулкану

і зачуваєш як здіймає магму
як обвиває павутиння спазму
і погляд заволожує росою
і ціпеніє мить перед грозою

* * *

тобі пасує беж
а ліпше
без
викрешуються промені
об тебе
бува майнеш
миліша світ
авжеж
і просвіток
блакитніє у небі
а то бува
й позвеш
гостріші лез
слова невпинні
про жагу кохання
а як зітхнеш
призвіднице пожеж
твого не втаємнити
кепкування

* * *

хвилі по вінця намили піску золотого
вже не вмістить його нам на Чумацькому возі
трохи розтрусимо скарб у далекій дорозі
трохи крізь пальці погубимо
що нам із того

крабик меткий метушиться
згодився на пірсінг
досі незнані чуття переповнюють юнку
ближчає обрій на відстань п'янкого цілунку
хто той самітник блукає з учора на пірсі

* * *

зужилося весло лишилась тільки тінь
тримається на промені благесенька корма
по хвилях ти пройшла проз мене в далечінь
човен уже приплив а берега нема

і не було шляхів ні спраги ні журби
саму тебе беріг вві сні і наяву
вичерпую з човна за звичкою аби
вдавати що живу і буцім-то пливу

кіль на мою біду поволі осіда
у шемріт і смарагд вгортаються думки
із глибини глибин вдивляється вода
із висоти висот підморгують зірки

* * *

дощі спинаються в блакить
до джерела задкує річка
все навпаки
не гасне свічка
і буз узимку пахкотить

і в переверті можна жить
усе вмістить у шпарку вічка
в садки заваблює порічка
вина сто років не кортить

удивовиж пуста корчма
та ходимо тепер сторчма
не перетупати ніколи

з сумою вештають Боги
слова позбавлені ваги
пріснять меди
спрокволо бджоли

* * *

самому самітно в семітській пустелі
до цього ніколи не звикнуть
не тямиш
у чому призначення стелі
й до кого вигулькують з вікон

і пам'ять нічого не варта піскова
затьмарення марні юні
ніхто не промовить
до тебе й півслова
гойдаються хвилі в дюні

нікого лиш мрево лиш фата-моргана
ти перст нікудишня билина
від кого ж тоді
тінь на задньому плані
хто дихає кригою в спину

* * *

так мало статись
корабель одчалив
і ти на нім
і над тобою німб
і між бортом
і вирвиським причалу
в чорнивисько
загашені вогні

і смужка муки
розплива вусібіч
і за кормою
гасне вороття
неквапний лоцман
цього разу схибив
заправив плату
а спірвав життя

* * *

тьму тьменну слів
за мене мовлених колись і кимсь
знайдеш у книгозбірні та діброві
а думи
їх у форми паперові
не втиснути
прокинься
удосвіта спитай у Бога
чи втоптана до істини дорога
по колу а не по прямій
обіруч поведуть тебе по ній
благословення і пересторога

Анна Стреминская

«Там проживаю я...»

* * *

Я притаилась здесь, на этой планете,
в этой вселенной, пульсирующей,
как сердце.
В этой вселенной есть улица горше
смерти.
Там проживаю я – больше некуда
деться.
В этой вселенной я на любимом диване,
с книгой в руках, если выйти во двор –
палисадник.
А в палисаднике маленький есть
виноградник.
Выйдешь во двор – все в зимней стоит
нирване.
Рядом со мной рыжий кот – такой же, как я,
подкидыш
в этой вселенной, в земных временах
и странах.
С ним посидишь, ну а после из дома
выйдешь.
То, что увидишь, – покажется очень
странным.
Что вижу я – образ Божий в альтфатер
лезет,
рядом товарищ на облаке снега пенном.

Мне ничего не понятно на странной моей
планете,
в этой вселенной – страннейшей из всех
вселенных!

Сестра Золушки

Вы знаете все обо мне и сестре,
но сказка, как правило, врет!
Я тоже любила, но в этой игре
расписано все наперед.

Я видела принца – прекрасней его
не встретить нигде, никого.
Но принц – он достанется –
вот моя боль! –
Той, что лучшую выбрала роль.

А с рожей такой и с ножищей такой
кому я нужна, Боже мой!
Неряха и дура – пристало само
проклятое это клеймо!

Я, может, уродина, может, я злюка,
но я не глупа, как маман.
И жизни холодную злую науку
я все ж изучила сама.

И маленькой ножкой, и личиком нежным,
как правило, тот награжден,
кого любит Бог, – счастье их неизбежно.
Кто избран – тот не побежден!

Я ведаю все, что со мною случится.
Есть два у девицы пути:
остаться одной, как другая сестрица,
иль за дровосека пойти.

Дорога моя не для туфель хрустальных.
Сабо мои будто гробы!
Другие кружатся пусть в платьицах
бальных.
В плену я проклятой судьбы!

* * *

«Мир – это театр», – сказал поэт,
но мир не театр, а тир!
Откуда бархат и мягкий свет?
Есть только мишеней пир.

Пируют мишени, земных сластей
спеша наесться скорей.
Мишени из царства больших мышей,
из царства ручных зверей.

И каждая быть боится одной,
спешит к подобной себе.
Но нет ковчега, где праведный Ной
доверился Божьей судьбе.

Вот вместо ковчега «Титаник» плывет,
а вот самолетик летит.
Вот поезд метро машинист ведет,
в котором едет шахид.

И чей-то очень пристальный взгляд
нацелен… И чья-то тень…
Тебе повезло? Не попали в тебя?
Иди в театр, мишень!

* * *

Тихий сухой пролистала я день, как том.
Сказаны были серебряные слова…

День растворился в молчании золотом,
только лишь ветер был слышен едва-едва.

Сотни желтеющих писем неслись, спеша
все к своим адресатам, в свои углы.
И на каждом следы от небесного карандаша,
и видны были: почерк Бога, печать золы.

Хочет всегда говорить природа, ее слова –
нервные жесты глухонемых, что узрим везде.
Я – переводчик, полна моя голова
слов и транскрипций, понятных воде, звезде.

Тихий сухой золотистый струился день,
будто бы день Египта, где правит Ра.
Игры свои затевала с утра светотень…
Что же важней, чем божественная игра?

Все в равновесии было – земля и тишь,
будто незримо качались, скрипя, весы.
Не было ритмов, и мерили время лишь
то ли песочные, то ли солнечные часы.

Ольга Ершова

«Снимите музыку с лица...»

* * *

Не женитесь на мне – я плохая жена,
И хозяйка, поверьте, ни к черту,
То не в меру здорова, то слишком больна,
То криклива до срыва аорты,
Как за друга я ратую – будьте мудрей,
И берите посильную ношу,
И бегите немилости той из дверей
За которой в прозреньи вас брошу;
Вразумитесь, вас ищет родная стезя,
Подчинитесь веленьям рассудка,
Метить в дамки, а после утратить ферзя
Будет враз и привольно, и жутко;
Свеч не стоит игра – здесь довольно причин.
Чтобы верно разметить решенья;
Я, к тому же, люблю неженатых мужчин,
Так не станем сквернить прегрешенье…

* * *

Не причитаю – почести не в счет;
Я обретаю истинный почет
По чести. Нынче честность не в чести,
И ты, увы, не чтишь ее… Учти:
Тебя, не почитающий, что мне
Дороже постных почестей вдвойне,

Я не приму – прощай. Наедине
С почетом чертовым тебя оставлю,
Погибнешь – поделом. Хоть больше славлю
Я гибнущих…

* * *

Снимите музыку с лица –
Вам не идет, когда без меры,
Оставьте тонные манеры,
Узоры – без – конца,

Душе ненужные слова,
В окно – скучающие взгляды,
Лица воздушные наряды,
Прошитые едва;

Слова отчаянно легки,
На полутонах – полузвуки,
И праздно ломаные руки,
И сжатые виски;

Намеки, вежливая лесть –
Им нет конца и нет начала,
А может, я не замечала,
Что это Вы и есть?



Первые шаги

240 **Анастасия Мамонтенко**
Необыкновенный урок

245 **Денис Зиновьев**
Страна Одесса

246 **Даниель Огрохина**
Чудесная страна

Анастасия Мамонтенко

Необыкновенный урок

11 апреля 2012 года Насте Мамонтенко исполнится 18 лет. Поздравляя ее с первыми шагами во взрослую жизнь, наш альманах публикует новый рассказ юного прозаика.

Мы познакомились пять-шесть лет назад. Настя, ученица гимназии № 2, писала короткие рассказы. Первая публикация состоялась в «Вечерней Одессе», затем во «Всемирных одесских новостях», а там и книжка «Первый день весны», вышедшая, когда Насте, нет, уже Анастасии Мамонтенко, исполнилось 14 лет.

А в 2010 году у ученицы 10 класса Анастасии Мамонтенко выходит вторая книга, «Три неба», посвященная светлой памяти ее дедушки – писателя Олексы Шеренгового.

Я присутствовал в ее классе, когда шла презентация этой книги. Видел счастливые глаза ее бабушки Софии Шеренговой, радовался, что десятки мальчишек и девчонок, соучеников Насти, выстроились в очередь, чтобы получить автограф на книге, возможно, первый автограф в их книжном собрании.

Сегодня Настя – студентка первого курса философского факультета Одесского национального университета. Но темы ее новых рассказов пока еще связаны с гимназией, со школьными годами. Это естественно. Главное – продолжается творческая жизнь.

Евгений Голубовский

Утром мы, как обычно, толкались у школьных ворот. И наши лица излучали надежду, что в этот день произойдет что-то необычное. Но пока мы прятали уставшие покрасневшие глаза, дрожа от легкого осеннего ветерка.

Наша школа находится рядом с морем. Сегодня море было спокойным и отсвечивало серебром. Мне захотелось сбросить одежду и оказаться в гуще волн. Жаль, что далеко не все наши желания исполняются сразу.

Совсем скоро должен был появиться наш новый учитель по истории. Прежний учитель сумел нам привить любовь к своему предмету. Но будет ли похож на Пал Саныча новый преподаватель? Этого пока мы не знали.

Небо было плотного голубого цвета, и лишь в центре, возле солнечного диска, оно состояло из тонких прозрачных стен, непоколебимых, как старая крепость. Над серым зданием школы кружились большие чайки. Пахло морем.

Я неожиданно для себя вспомнила свой первый день в школе. Как давно это было! Я была маленькой и никак не могла понять маминых слов о том, что эта школа станет моим домом. Родители редко навещали меня, но часто писали письма с наставлениями и предостережениями. Недаром я их много лет подряд называла «эпистолярными предками». Родители моих одноклассников были не лучше.

Теперь нам по 17 лет, и школа – единственное наше прибежище в этом большом и неспокойном мире. Неужели у всех моих сверстников жизнь напоминает мою, и они думают о своей школе, как о прибежище? Я села на каменную скамейку и подумала, что в моей жизни все совсем скоро должно измениться. Я закрыла глаза и почти сразу же услышала треск, словно кто-то переломал пополам сухую ветку. Рядом со мной сидел черный ворон. Потом он грациозно взлетел и, опустившись на землю, посмотрел на меня своими черными и злыми глазами. Я хотела сказать: «Здравствуй, ворон!» – но не успела этого сделать: он совсем не шумно взмахнул крыльями и полетел к золотой дорожке, прочерченной лучами солнца на серой глади моря. Именно в этот момент я услышала гул мотора подъехавшей машины. Вышедший из нее мужчина наверняка был нашим новым учителем истории. По телеграфу Школьных Слухов мы знали, что он красив, умен, и что директор от него в восторге.

Ничего необычного в нем не было. Заурядный сорокалетний мужчина в тонкой белой рубашке и модных очках. Больше все-

го мне и моим одноклассникам нравились две категории преподавателей. Условно мы называли их причудливыми и симпатичными. Ни к одной из них нового учителя истории отнести было нельзя. Он был самым заурядным мужчиной, и я бы в фойе театра не обратила на него никакого внимания. Я даже расстроилась, потому что он не оправдал Школьных Слухов о себе.

После легкого завтрака начались занятия. Алгебру – наш первый урок – я любила. В числах и формулах была своя музыка, и я ее всегда слышала. Я чуть не забыла сказать, что я учусь в ШКОЛЕ ТОЧНЫХ НАУК. Я сидела рядом с окном, но не смотрела на море, словно оно меня не интересовало. Только на учительницу и формулы, которые она пишет на доске.

Моя младшая сестренка Света учится в обыкновенной школе. В ее школе на переменах шумно и весело, а у нас ничего подобного не было, словно радость забыла адрес нашего учебного заведения.

После обеда мы, как всегда по субботам, надев купальники, отправились на пляж. Теплый белоснежный песок через ступни ног вливал в мое тело заряд бодрости и хорошего настроения. Я почувствовала, что тело наполнилось силой, и вбежала в искрящуюся воду. Я не сопротивлялась морским волнам: пускай несут меня, куда хотят, повинуясь водным мыслям своих водных голов, я не стану сопротивляться.

Потом я неторопливо пошла по тонкой полосе берега, ощущая ногами прохладный влажный песок. Возле скалы я увидела нашего нового учителя. Он, не сняв очки, плескался в воде. Увидев меня, он явно смутился и сказал: «Привет! Надеюсь, я ничем тебя не удивил?» – «Нет, – ответила я. – Но почему вы один?» – «Просто в одиночестве легче разговаривать с морем».

Я подумала, что он – сумасшедший. Мне следовало скорее оставить его, но он, улыбнувшись, поинтересовался: «Тебя это удивило, не так ли? Но я, поверь, умею разговаривать с морем. Ты только вслушайся, как оно оживленно шумит. Нежели ты думаешь, что оно тратит силы на бессмысленное шуршание?». Он прилег на песок, вытянувшись на нем всем своим телом. Он лежал совсем тихо, и мне даже показалось, что его подстрелили, и ему очень больно, но почему тогда его лицо было таким ра-

достным. Он первым прервал паузу в разговоре: «Не желаешь ли ты ко мне присоединиться?» – «Нет! – быстро произнесла я. – Но спасибо за приглашение».

Я поспешила дальше. Едва начало темнеть, я вернулась к своим одноклассникам.

После ужина я с двумя своими подругами сидела на балконе нашей комнаты и вспоминала прошедший день. Я сказала им, что новый учитель истории какой-то странный. Я засмеялась, ничего не рассказав им, а они засмеялись мне в унисон. Они отправились спать, а я решила еще немного посидеть на балконе, ведь через густой покров темноты я ощущала море, которое совсем близко от меня ворочалось и тихо звенело. Я наслаждалась густеющей ночной мглою и думала, что моя жизнь – частица очень большого мира, и мне следовало понять его, словно вся вселенная приблизилась ко мне, подсказывая ответ на вопрос, но он ускользал от меня, а мне от этого было больно. Мои подруги не понимали меня, а больше мне было не к кому обратиться за помощью.

Сверчки запели свои серенады, а мои ресницы предательски начали смыкаться…

За завтраком я увидела, что учитель истории сидит за столиком один. Он читал внушительную по объему книгу в новом переплете. Я усмехнулась про себя, увидев, что на переплете отсутствуют название книги и фамилия автора. Ничего примечательного в нем не было. Пожалуй, только его кудрявые русые волосы, завитые в кокон. Точно такие же волосы были у фокусника в цирке. И еще широкий лоб, по которому весело плыли крохотные волны-морщинки. Он был рад книге и своему одиночеству. Меня всегда волнуют люди, умеющие находить радость в своем одиночестве. Толпа тянется к ним, а они бегут от нее. А еще мне понравилось, что учитель истории что-то подчеркивал в книге простым карандашом.

Наверное, ему в тягость было мое любопытство? Я взяла свой поднос и хотела быстро пройти мимо него, но он меня окликнул: «Присаживайся за мой столик. Хочешь немного черники с карамелью?» – «Да, – ответила я, – хочу». Он протянул мне пиалу с темно-фиолетовыми ягодами. «Полезно для зрения. Я вот совсем потерял свое, наверное, потому что люблю читать». – «А я не

очень, – честно призналась я, погружая чайную ложку в густую карамель. – Представьте себе, не очень!» – «Как же так? Почему не любишь?» – «Не знаю. Чтение мне кажется скучным занятием. Нельзя же целый час гипнотизировать устаревшие предложения классиков, а новая литература меня совсем не привлекает. К тому же я не люблю одиночество – мне нравится, когда рядом со мной много людей». – «Читая книги, ты совсем не одинока. Герои книги быстро становятся твоими друзьями. И с ними ты открываешь новый мир, забывая на время о своих личных проблемах и переживаниях. Я тебе советую прочитать много книг». – «Постараюсь», – пообещала я, не раздумывая. И тогда он наградил меня нежной улыбкой, будто самой высокой оценкой.

День прошел и вновь наступил вечер. В нашем парке была большая беседка. И наша учительница по музыке ставила нам легкую музыку. А мы разбивались на пары и танцевали. Я была в белом платье и стояла в гордом одиночестве, наблюдая за танцующими одноклассниками. В перерывах между музыкой доносился гул прибоя. Я сняла туфли и отправилась на пляж. Подойдя совсем близко к морю, я увидела фигуру мужчины, танцующего под аккорды волн. Это был учитель истории. Он приблизился ко мне, продолжая выводить замысловатые па.

– Что вы делаете? – спросила я.

– Танцую, – ответил он.

Мне захотелось убежать, но я не могла тронуться с места.

– Присоединяйся ко мне, – попросил он.

– Я не умею танцевать, – шепотом произнесла я.

– Это так легко!

Я подняла края своего белого платья и шагнула к нему. Морские капли весело заплясали по моему лицу, платью, ногам. Он протянул руку, нежно обнял меня за талию, и мы начали свой танец. И море танцевало вместе с нами. И звезды в небе.

– Я счастлива! – весело закричала я.

– Урок окончен! – сказал он, отпуская на волю мою руку.



Денис Зиновьев

Страна Одесса

Мой младший брат ничуть не юморит
(А в географии он – ни бельмеса),
Когда в графе «Страна» сей юный вундеркинд
Уверенно царапает: «Адеса».
«Страна Одесса», – братец пробасит.
Я даже спорить с малышом не стану.
Я – гражданин Одессы. Одессит.
Прав брат: ну разве есть милее страны?
Он был во Львове, в Киеве, еще
В Хмельницке, но – какое горе! –
Мой брат немало там был возмущен,
Во всяком городе стеная: «Где же море?!»
И правда: разве можно жить без волн,
Без чаек, что вчера кормил я хлебом?
Здесь ветер, как таранька, просолен,
Гуляет голубым одесским небом.
Еще пример (такие вот дела):
Когда весной живот мой разболелся,
Так мама без расспросов поняла,
Что я цветов акации объелся.
На днях писал брат. Ошибался? Как смотреть…
«Деду Морозу. Полюс Севирнава Леса…»
Себе просил «бинокыль»: на корабли глядеть,
А мне – «гетару», чтобы петь «за всю Одессу»…

5 класс гимназии № 7

Даниель Огрохина

Чудесная страна

В Долине Снов дворец стоит,
а в нем волшебный ключ сокрыт.
Тот дивный ключ откроет дверь
в Страну Чудес. Ты мне поверь!
В Стране Чудес полно зверушек,
там вкусный суп из алых грушек,
там много сказочных существ.
В долине сладостей не счесть!
Там нету зла, там лишь Добро!
Там сердце радости полно!
В волшебную страну шагнуть
поможет книжка. В добрый путь!

10 лет, школа № 121



Искусство – жизнь – искусство

248 **Михаил Обуховский**
Украинская Атлантида

259 **Снежана Павлова**
Дмитрий Бобышев: портреты в лицах

282 **Евгений Голубовский**
Изумление перед миром

285 **Валентина Голубовская**
Лишь одни созвездья Магадана…

Михаил Обуховский

Украинская Атлантида

«Рисовать – значит уметь радоваться».
Х.-Н. Бялик в посвящении П. Литвиновскому

В период великих сталинских строек коммунизма лучший друг всех рукотворных морей сделал символом эпохи шагающий экскаватор. Мне довелось видеть этот монстр в действии под Каховкой. Казалось, под тяжестью тысячи тонн великанских конструкций прогибается земля. Железный тиранозавр поджимал под себя две гигантские ступни, опирался брюхом на чудовищные домкраты и делал немыслимый для такого колосса изящный выпад вперед. Затем подтягивал свое пузо из металла и протоплазмы. Челюсти чудовища открывались, вгрызались в песок и переносили его на ленты транспортеров. Котлован рукотворного моря стал «на шаг» больше. Можно было начинать переселение затопляемых деревень.

В 59-м году пришла очередь папиного родного городка – Новогеоргиевска. Отец как старший в семье начал работать с 14 лет молотобойцем – помощником кузнеца, потом на заводе Петровского электросварщиком. После смены писал в заводскую многотиражку патриотические заметки о передовиках труда; стал рабкором, в тридцатые и вовсе ушел в газету штатным корреспондентом. А в том, 59-м, он вдруг сказал мне: «А не поехать ли нам, сын, попрощаться с теми местами, где я вырос?».

Новогеоргиевск (б. Крилівка) упоминается с 1615 года, но еще в XIV веке здесь, где Тясмин, огибая высокие курганы скифских и сарматских племен, впадал в Днепр, была переправа («татар-

ский перелаз»). Узкое место привлекало татаро-монголов и литовцев, поляков и дружины Киевской Руси.



П. Литвиновский. Автопортрет

Вместе с папиным другом мы нашли их «особое» место, где раньше ловилась «в-о-о какая рыба!». На прозрачных плесах Тясмина купались у «абахты» – старой гарнизонной гауптвахты. А вот и «дикий камень» – огромный валун, остановившийся здесь памятником Ледниковому периоду. Поднялись на Бабин Пуп – самый высокий курган Новогеоргиевска. Через Базарную площадь, где еще сохранились каменные торговые ряды, – вот здесь шила «парижские лифы» моя бабушка. Я подумал: «Мои встречи в Париже не были ли запрограммированы этими лифами?». Ведь не только на Малой Арнаутской делались заграничные товары.

Так где же она, обреченная Крилівка, виновная лишь в том, что Кременчугское море спроектировано так, что из-под воды вызывающе выглядывает только высокая крыша школы? После зимы по «морю» плыли, покачиваясь, гробы, вымытые весенним паводком с кладбища…

А не ввести ли нам, подумал я, День затопленных городов в память об исчезнувших родных очагах под ряской плоских водохранилищ?

Осознанное создание Украинской Атлантиды, но без завораживающих мифов Эллады. Спланированная гибель благородного чернозема…

Папа долго смотрел на бело-розовую метель садов, которые никогда уже не зацветут вновь.

Вечером, перебивая друг друга, звучало: «А помнишь?..». Многие уехали при переселении или не дожили. В памяти встретившихся друзей лучше всего сохранились детские игры и прозвища.

Пантя не вернулся с фронта. Скончался в госпитале Тютя, а Шлым (производная от *шлымазл* – недотепа, неудачник на идиш) спешил на помощь восставшей Праге – обычная раскладка судеб этого поколения. Папе выпало воевать подо Ржевом. Красно-желтые нашивки о ранениях, орден Красной Звезды и солдатская медаль «За отвагу» были памятью о той перепаханной снарядами земле…

Один мальчик периодически возникал в разговоре, но о нем знали только, что он намного старше отца, в хедере он изучал уже Тору. Жил он рядом с *лаф*кой «Керосин» (как точно эта вывеска «Лафка» была подмечена Шагалом!), уехал давно. Тогда еще мы не знали, что, став художником, Пиня – Пинхас Литвиновский – уехал в Палестину…

Я и не предполагал тогда, что через пятьдесят лет буду собирать по всему Интернету репродукции, данные аукционов и музеев, если там встречалось имя Пинхас Литвиновский. Страницы web высвечивают, в основном, котировки его картин. Да, вот несколько деталей в статье Гедеона Офрата, на которую все ссылаются; компиляция Ирины Климовой о становлении изобразительного искусства Израиля… Но тогда, в конце 50-х, мы так ничего и не узнали о Литвиновском – художнике, ставшем одним из самых значительных мастеров Израиля…

А как же бренд «Флер Одессы», который я всюду старался найти, ведь Пиня не одессит: родился в папином Новогеоргиевске в 1894 году, в Неодессе?

Дело в том, что совершенно случайно я наткнулся на свежий каталог персональной лондонской выставки Пинхаса Литвиновского (август 2010 года) и влюбился в его манеру письма и созданные им образы. Оказывается, он учился два года (1910-1912) в Одесском художественном училище (ага, вот оно, одесситство!) и потом еще работал здесь в 1919 году. В Одессе Литвиновский практически неизвестен, судьба распорядилась так, что его имя не вошло в славную когорту имен одесских «независимых» художников. Он был «прописан» по ведомству израильских мастеров. В 1932 году при открытии Тель-Авивского художественного музея Литвиновский попал в раздел «Израильское искусство» – ведь почти все его работы сделаны в Израиле. Чем больше я от-

крывал для себя Литвиновского, тем сильнее мне хотелось подарить одесситам ту радость, которую я испытал, выкладывая пазл из множества репродукций его работ.

Будто сделать это мне завещал отец.

В дни Хануки в 1911 году в Одессу из Палестины приехал скульптор Борис Шац, основатель «Бецалель» – Иерусалимской школы искусств. Он привез выставку студенческих работ и хотел познакомиться с учениками Одесского художественного училища. Шац обратил внимание на работы Литвиновского и, чтобы поддержать талантливого юношу, предложил ему стипендию и пригласил учиться, начиная с осени 1912 года, в «Бецалель» (по имени мастера, которому Моисей доверил построить Ковчег).

Как показала учеба, молодая, только что созданная школа не смогла ответить ожиданиям способного ученика, который вско-



П. Литвиновский. Свадьба



П. Литвиновский. Человек с бутылкой

рости возвращается в Россию. Там он продолжает учиться в петербургской Академии художеств у профессора Кардомского. Но настоящим его учителем стал русский авангард, о котором он узнавал из первых рук, сблизившись с Кандинским и Мих. Ларионовым. Затем пришла очередь «новой» французской живописи. «Человек с бутылкой» как будто сошел с картин Боннара или Сезанна. Свободная поза, артистично завязанный бант, бутылки аперитива, несколько клавиш инструмента, еще хранящих прикосновение пальцев, – все выдает в нем человека богемы, к которой принадлежал тогда и сам автор.

Посмотрите на его «Портрет» – на нем веселый юноша с южным оптимизмом готов к началу бесконечной дискуссии о путях развития искусства. Научной атрибуции я не нашел (даже в музее в Рамат-Гане), картина называется всюду «Портрет», и лишь на одном аукционе – «self portrait». Так или иначе, Литвиновский мог быть похожим на этого жизнерадостного и независимого юношу, что подчеркивает свободный мазок кисти. Зато «Автопортрет с трубкой» совершенно точно указывает автора, по которому уже прошлась волна личных переживаний и тревог за судьбу страны. «Дневной отдых» предстает современным рассказом библейского мифа. На остановившихся в пути людях лежит отпечаток духовного покоя. Ребенок спокойно прильнул к груди матери (библейский вариант византийской ико-

ны?), а глава семьи открыто всматривается в нас (а может быть, это только кажется мне…).

Я научилась просто, мудро жить,
смотреть на небо и молиться Богу…

– не эти ли строчки Ахматовой определили библейскую атмосферу картины?

В 1919 году Литвиновский работает в Одессе. В политически нестабильной России власть часто переходила из рук в руки, оставаясь более или менее враждебной по отношению к еврейскому населению. И Литвиновский решает навсегда поселиться в подмандатной Палестине.

В ноябре был зафрахтован пароход, на котором в Эрец-Исраэль из Одессы отправилась третья, самая значительная волна эмигрантов-сионистов. Среди уезжающих художников был и Литвиновский. Как и все другие, Литвиновский не знал, что меценат и общественный деятель Яков Перемен сумел спрятать в трюме парохода свою неоценимую коллекцию одесских «независимых» художников. Одесская школа живописи наряду с парижской и мюнхенской входила тогда в тройку мировых центров модернизма. Перемен, отличавшийся отменным вкусом, был одесским Морозовым и Щукиным в одном лице. Драгоценный груз из 220 картин, доставленных в Яффу, стал основой нескольких незначительных выставок. Вскорости о коллекции… забыли.

И разделила бы она печальную участь Украинской Атлантиды, если бы ее случайно не обнаружили в предгибельном состоянии, и этим не спасли от небытия. Будто судьба таким подарком расплачивалась за годы забвения, за другие рукотворные Атлантиды.

Началась реставрация картин, их атрибуция, и благодаря профессиональному подвигу Леси Войскун, куратора Музея русского искусства в Рамат-Гане, впервые была подготовлена экспозиция всей коллекции как единого целого (так завещал Перемен – первый израильский коллекционер).

В этом музее в 2006 году состоялась редчайшая выставка работ одесских модернистов из коллекции Якова Перемена, названная, как и прекрасно изданный каталог, «Одесские парижане». Одно уж известие о выставке найденных и спасенных картин вызвало



П. Литвиновский. Скрипач. 1930

эмоциональный шок… Блестящую статью к составленному ею каталогу «Одесские парижане» написала Леся Войскун. Пожалуй, это название было использовано для выставок впервые, обозначая сообщество одесских «независимых». А в роскошном стостраничном каталоге аукциона «Сотбис» (апрель 2010, Нью-Йорк) имя «Одесские парижане» утвердилось: так была названа представленная на аукционе коллекция. Картины, считавшиеся утерянными, были выкуплены и возвращены Украине. На обложке американского каталога значилось: «The Odessan Parisians. Ukrainian Avant-Garde».

По художественным приемам и идеям Литвиновский был близок к одесским парижанам (поэтому я и вспомнил об их выставках). Легко представить Пинхаса Литвиновского и Амшея Нюренберга беседующими в книжном на Преображенской, 41. Только вмешательство судьбы разбросало их по разным странам и помешало развесить на этой выставке в Израиле картины Литвиновского рядом с работами одесских модернистов, удачно названных одесскими парижанами.

Я уверен, что мир искусства признает в одесских парижанах и учившемся в Одессе их идейном брате – Литвиновском, великих модернистов начала прошлого века, гигантов живописи, каковыми они являются. И однажды в обращенных к морю светлых залах картинной галереи мы сможем увидеть их вместе.

Литвиновского увлекает напряженность цветовых соотношений. В картине «Скрипач» расцвеченные пространства, ограниченные стилизованной геометрией фигур, прямое следование особой связи между ранним Литвиновским и ранним Матиссом. А мистика картины «Учитель»! Наверное, многовековые сохра-

нившиеся заветы разъясняет «Синий учитель» с фанатичным убеждением. И стоишь в недоумении: «Что это со мной?» – будто погрузился в библейский мир Шагала в музее в Ницце.

Он обожал Шагала, который уже привез в Париж свой волшебный Витебск.

Тем не менее, Литвиновский сохраняет свою собственную манеру живописи: линия, цвет, мазок. Эта манера определила успех картины «Свадьба» (из собрания Женевского музея изящных искусств). Глубокая перспектива на фоне ярко желто-оранжевой стены, как на заднике сцены, маленькие фигурки разыгрывают спектакль с невестой и женихом под хупой с выстроившимися для поздравлений гостями и даже с мальчишками, забравшимися на стену. В диалоге с картиной – даже по репродукции – возникает чувство торжественности и радости.

Вдумайтесь, всмотритесь в одну из самых волшебных картин Литвиновского «Молитва на горе Мирон», и вам передастся ощущение вечности законов и заветов…

Литвиновский был влюблен в Иерусалим, куда он, в конце концов, переехал. Картину «Пожилой человек» можно было бы назвать «Башня царя Давида» или «Яффские ворота», настолько для понимания картины определяющими являются стены Старого города. Как сумел художник, не подавляя Вечный город, прочертить в центре картины глубокие морщины мудрости! Да, художник – создание штучное…

С 1924 г. Литвиновский участвует в ежегодных выставках «Ассоциации еврейских художников» и готовит свою персональную выставку, которая состоялась лишь в 1935 году, после благословения Парижем. Он представил более 20 полотен и картонов явно конструктивистской направленности («Играющие дети», например, или «Женщина с цветком»). Отвергая салонный символизм группы «Бецалель», дерзкий модернизм знаменовал начало иерусалимского «нового» искусства, которое использует экспрессионистски намеченные фигуры и абстрактный фон («Свадьба»).

Цветовые созвучия становятся в 40-х годах его визитной карточкой.

Отмечу, что сразу же после его смерти прошла с большим успехом мемориальная выставка Литвиновского в Кнессете, а по-

следняя из известных мне персональных выставок состоялась в августе 2010 года в Лондоне. Достаточно сказать, что были выставлены «Интерьер синагоги в Петах-Тикве» и серия «Раввины», каждый из которых вполне мог бы сойти с какой-нибудь картины Кременя или Паскина, художников парижской школы.

Литвиновский попадает в Мекку художников лишь в 29-м году, когда современные идеи живописи уже объединили сообщество художников в «парижскую школу». В мастерских по 30 франков за триместр, в «La Ruche», в «Bateau-Lavoir» обменивались идеями и приемами живописи молодые гении, определившие на целый век развитие нового искусства. Термин «парижская школа» как колыбель молодой живописи ввел, насколько мне известно, Андре Варно. Он определил парижскую школу как «интернациональное, космополитическое сообщество художников, работающих в Париже».

В начале XX века в мастерских Пабло Пикассо, Вламинка, Амедео Модильяни и Матисса кипели дискуссии о новых путях развития искусства. В работах Марка Шагала, Хаима Сутина, Жюля Паскина, Цадкина, Манэ-Кац (наш земляк, родившийся в Кременчуге) – этнических евреев – явственно присутствовал как их менталитет, так и память о маленьких еврейских городках, откуда они вышли. В книге «École Juive de Paris» (автор текста Сара Натан) с полным правом утверждается существование еврейской школы живописи. Там же я нашел такую фразу Шагала: «В искусстве все возможно, если оно основано на Любви»… Любви же к искусству этим одержимым живописью мастерам было не занимать! Еврейская волна эмигрировавших художников стала доминирующей частью парижского и мюнхенского модерна. Молодые художники словно были беременны невиданным доселе искусством и только ждали «акушеров» – уже признанных покупателей-маршанов, коллекционеров, призеров аукционов. Литвиновский, попав в этот мощный поток, был очарован буйством красок фовистов, линией Матисса, воздушной легкостью любовников Шагала.

Отдал он свой долг и увлечению ориентализмом. Восточный колорит передается исключительно средствами живописи, яркими цветовыми созвучиями. Из нескольких картин этой серии я бы выбрал «Бедуина» и «Восточную пару»: нель-

зя оторвать взгляд от глаз молодой женщины, а играющий на флейте бедуин завораживает, как легенда о Крысолове. Обожествление цвета привело Литвиновского к созданию многолетней серии картин, название которых представляло доминирующие краски. Так появились «Зеленое и красное» (мужчина в зеленом, женщина в красном), где создан ни с чем не сравнимый колорит, который заставляет нас примириться даже с необычными сочетаниями основных цветов.



П. Литвиновский. Молитва

Вот два портрета Давида Бен-Гуриона (Литвиновский был допущен к самым высшим этажам государства. Ему позировали несколько премьер-министров Израиля и даже Джон Кеннеди). Две различные, резко расходящиеся манеры, но один человек смотрит на нас с этих портретов. Как пуантилисты точками чистых красок создавали нужный цвет, так и Литвиновский короткими щедрыми прямыми мазками создавал объект или портрет. Добавлю только еще один прекрасный портрет Леви Эшкола – тоже неистовство мазка, а образ потрясает содержательностью и портретной достоверностью.

В 1926 году Литвиновский делает эскизы костюмов для театра «Габима». Шагал же в России работает для ГОСЕТа (Государственного еврейского театра). Занавес Шагала был отклонен, разрезан на части, спрятан в запасниках… А во Франции Шагалу предложили освятить потолок Парижской оперы библейскими сюжетами. И теперь можно любоваться шагаловским потолком в самом престижном парижском театре.

Много лет спустя на спектакле «Скрипач на крыше» я испытал такое же наваждение, как и перед картинами Литвиновского. Голубой старик задумался, подперев щеку. Не Тевье ли это молочник, сошедший со страниц Шолом-Алейхема? Голубой картуз, голубая рука, голубая одежда, голубые черты лица… Этот стиль –



П. Литвиновский. Портрет

«одна краска» – часто используется художником. Сегодня многие музеи мира соревнуются на аукционах в приобретении работ Литвиновского.

А вот Одессе его картин явно не хватает!

Широкие щедрые мазки и палитра цветов делают его картины сразу же узнаваемыми. Он верил в то, что художественная честность не зависит ни от заказчика, ни от котировок. Цены на его картины на аукционах беспрерывно растут. Оказалось, что Литвиновский стал одним из самых разыскиваемых художников на рынке произведений искусства (и одним из самых продуктивных). Он был одержим работой.

В 1980 г. художнику была присуждена Государственная премия Израиля. Это второе после премии Дизенгофа (1936) признание заслуг перед страной.

Умер он в 91 год, прославив своим творчеством малюсенький город, который, как Атлантида, покоится на дне моря.

Лион

Снежана Павлова

Дмитрий Бобышев: портреты в лицах



Борис Пастернак, Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Белла Ахмадулина… Их нет в живых, однако золотые строфы и воспоминания об этих отмеченных Богом поэтах будут вызывать интерес еще долгие времена. Одним из щедрых авторов на воспоминания эпохи 60-х является поэт, профессор-славист, живущий в США, Дмитрий Бобышев. Свой литературный роман длиною в жизнь, с персонажами, талантливыми и одиозными, мудрыми и вневременными, он описал в своих книгах «Я здесь. Человекотекст», «Автопортрет в лицах». Сейчас он работает над последним томом автобиографической трилогии, одновременно печатая написанные главы в журнале «Юность», выходящем в Москве.

Об отдельных эпизодах своей судьбы, друзьях и учителях, он поведал в интервью.

Ахмадулина служила лишь своей Музе

– Недавно умерла Белла Ахмадулина. С ней вы были знакомы. Помните, когда вы впервые услышали имя Ахмадулиной?

– Еще бы не помнить! Это было в конце 50-х. Тогда ходила легенда о ней: мол, есть в Москве замечательная поэтесса из моло-

дых, получше, чем эти комсомольские Евтушенко, Рождественский, Вознесенский! Потом я услышал ее голос в магнитофонной записи. Запись была технически ужасная, а голос – прелестный. И с этим голосом гармонически и сладостно сочетались образы ее стихов:

Дитя, не будь умней отца,
не трогай этого растенья.
Его лилового венца
мучительно прикосновенье.
Но одержимый жаждой боли,
не в силах справиться с собой,
ты выбегаешь утром в поле,
чтобы изведать эту боль.

Трогательна была и падающая интонация, с которой она читала.

Не знаю, напечатала ли Ахмадулина эти стихи поздней, но я их запомнил со слуха.

Оказавшись в Москве, мы с Евгением Рейном решились посетить ее. Она тогда находилась «за пять минут» до ее официальной славы, но встречала нас у себя дома очень свойски и дружественно, как сестра по перу.

– Она была замужем за известным уже тогда Евтушенко…

– Да, он как раз откуда-то вернулся домой, когда мы только разговорились с Беллой, но к нам не присоединился. Наверное, семейные отношения у них уже шли к концу. Запомнились не очень приятные диалоги поэтов-супругов: Белла принимала нас на кухне, а он кричал из другой комнаты о том, что в квартире бедлам, приказывал немедленно убрать, вымыть пол на кухне, был раздраженным. Она его притом спокойно умиротворяла. Но мы, разумеется, заторопились покинуть эту сцену… Вскоре Ахмадулина взлетела и стала частью советской элиты. Ахмадулина сочиняла великолепные стихи, произносила их и как бы пела, и выпела всю себя за свою счастливую творческую жизнь, но остались не до конца спетыми высокие темы (ангелические, духовные, словом – лермонтовские), которые обещал голос поэтессы, так неразрывно связанный с ее гортанью, легкими, сердцем, душой.

Я видел ее еще раз в Ленинграде, когда московские знаменитости приезжали к нам выступать и общаться в первой половине 60-х. Она была очень мила и любезна, но как-то очень высоко держала себя, воспаряя над нами…

В ее гостиничном номере было трезво и чопорно. Помню, что тогда из примыкающего покоя выглянул на минуту ее новый муж – коренастый, густо-седой, со сморщенным лицом и цепкими глазами: писатель Юрий Нагибин. Его ранняя повесть «Трубка» принесла ему ошеломительный успех еще при Сталине. «Трубку» эту без конца передавали по радио. Но его писательское мастерство оставалось отмечено высокой маркой и в после-, и в антисталинские времена.

– Тогда уже к месту будет спросить и о последнем муже Ахмадулиной. Вы были знакомы?

– Всего раз я его увидел в последнюю встречу с Беллой Ахмадулиной – на 200-летии Пушкина в доме Энгельгардта на Невском проспекте, в кулуарах после выступлений. Я его почему-то представлял иным: каким-то важным, элитарным, более советским, что ли… Но мне очень понравилось, как он держался, – симпатичный и широкоглазый художник Борис Мессерер. Мы обменялись словами приветствия и симпатии. Он подозвал Беллу, и она произнесла механически не в первый раз фразу о том, что ее поклонники-ленинградцы ценят ее больше, чем москвичи. Мои последние впечатления о ней – увы, увы, как о сгоревший спичке…

– Не падала ли тень на Ахмадулину от того факта, что ее мать работала переводчицей в КГБ?

– Как поэт она служила лишь своей Музе. Удивительно, что у нее, в отличие от поэтов ее круга, совершенно отсутствуют просоветские идеологические стихи. При этом власти ее щадили, она печаталась в периодике, издавала книги…

– В Америке вы встречались? Американцам знакомо имя Ахмадулиной?

– Нет, встречаться не приходилось. Если считать американцами наших эмигрантов, то да, конечно, ее знают. У Ахмадулиной были, да и сейчас, наверное, остались неистовые поклонники и поклонницы, которые старались сделать ее выступления

в Штатах праздничными. Они увезли любовь к ее стихам с собой в Америку. Что же касается сугубо американских читателей, то среди них интерес не только к русской, но и вообще к переводной иноязычной поэзии невелик. Да и своей англоязычной интересуется лишь определенный, близкий к литературе круг. Ну, а слависты, конечно, знают Ахмадулину по долгу службы, да и нельзя ведь профессионалу не признать и не оценить ее высокий литературный ранг. Это большое имя в современной поэзии. Что касается американских реалий, так она почетный член Американской академии искусств и литературы, как пишут справочные источники. Ее заявления в защиту советских диссидентов Андрея Сахарова, Льва Копелева, Георгия Владимова, Владимира Войновича публиковались в «Нью-Йорк таймс», неоднократно передавались по «Радио Свобода» и «Голосу Америки».

Ахматова учила достоинству

– Вас и ваших друзей – поэтов Евгения Рейна, Анатолия Наймана, Иосифа Бродского – называли «ахматовскими мальчиками». Такое «звание» дорогого стоит.

– К тому времени, когда мы познакомились с Ахматовой, а это случилось, как я припоминаю, в 1960 году в Ленинграде, мы были уже не мальчики, но весьма молоды, а Бродский еще на четыре года моложе нас. Поэтому Ахматова, которой было уже за 70 на момент нашей встречи, могла нас так называть. И тем не менее, она, как правило, звала нас по имени-отчеству. Это была, конечно, большая жизненная удача в том, что нас одарила своим вниманием и дружбой великая, в то время еще опальная поэтесса.

– Как вы познакомились с Анной Ахматовой?

– Первым с ней познакомился Найман – думаю, через Зою Томашевскую, архитектора, дочь известного литературоведа. А нашу встречу устроил Рейн.

Я был убежден, что это произойдет по испытанному сценарию «студентов из Ленинграда», как бывало не раз в Москве, но из студенческого возраста мы уже выросли. К тому же Рейн, очевидно, заранее сговорился и знал обстоятельства: мы зашли в кан-



Анна Ахматова. 1966 г.

целярский магазин, и он купил шпагату и оберточной бумаги. Он уверенно позвонил в дверь второго этажа дома, мимо которого я тысячу раз уже проходил, никак не ожидая на этой улице вообще ничего примечательного: наша семья жила в двух кварталах неподалеку, и няня Федосья ходила туда за продуктами.

Открыла сама Ахматова, полная, благообразно седая и, повернув свой неопровержимый профиль, бросила вглубь квартиры (властный голос, нежные модуляции): «Ханна, здесь молодые люди к нам пришли…». Ханна Вульфовна Горенко, родственница Ахматовой, гостила тогда у нее. Оказалось, что мы с Женей Рейном были призваны помочь в упаковке книг. Ахматова с остатками семьи Пуниных получила квартиру в писательском доме на Петроградской стороне. Помощь от нас была невелика, да и Ахматова не торопила. Наоборот, чуть ли не каждая книга, снимаемая с полок, сопровождалась каким-либо комментарием; многие были с автографами, пастернаковские – с обширными надписями. С гордостью она показывала научные статьи ее сына Льва

Николаевича Гумилева. Так наша работа по упаковке переросла в разговор о литературе. Ахматова не удивилась, узнав, что мы оба пишем стихи, и предложила перейти нам в смежную малую комнату и почитать по одному стихотворению. Потом попросила еще. После прослушивания она объявила, что «стихи состоялись», но «надо писать короче».

– А Блок считал, что идеальный объем стихотворения – от 24 до 28 строчек, – выпалил вдруг я и заметил на себе предостерегающий взгляд Рейна. От него-то я и узнал о таком мнении Блока, но, вероятно, как многое другое, это было одним из вымыслов моего друга.

– Блок… Хотите, я расскажу вам, как у меня НЕ БЫЛО романа с Блоком?..

И она рассказала сначала о том, как после их общего выступления перед студентами молодой распорядитель, вместо того чтобы просто отпустить их вдвоем на извозчике, оказывал им почести и развозил каждого в авто по домам. А затем – о случайной встрече на железнодорожной станции и его быстром вопросе: «Вы едете одна?».

– Бог знает, что было у него в уме. А сам он ехал тогда с матерью, я узнала об этом из его «Дневника». Вот и все. Эти догадки о нашем романе – не что иное, как «народные чаяния».

– Может, Ахматова еще о каких-либо знакомствах с другими поэтами рассказывала во время ваших встреч?

– Рассказывала, как Гумилев познакомил ее с Осипом Мандельштамом. Это произошло в знаменитой Башне, где была квартира Вячеслава Иванова. «Мандельштам стоял на смотровой площадке на крыше, вцепившись в поручни так, что косточки его пальцев побелели…» – помню пословно эту фразу Ахматовой. Позже они встречались очень часто, ходили вдвоем на концерты. Однажды ее это озаботило: не слишком ли часто? Мандельштам почувствовал, обиделся и пропал на долгое время. Они встретились опять, когда он был женат, и она подружилась с Надеждой Яковлевной. Они обе оказались в Ташкенте во время эвакуации и особенно сблизились. Мы говорили и о Цветаевой, о ее последних нелегких днях жизни, о ее сыне, с которым не получилось понимания, и о Пастернаке, которого погубил роман «Доктор Жива-

го», где он, как Гоголь в «Переписке с друзьями», попытался сказать «всю правду».

– А о Модильяни рассказывала? Вроде как у них был роман…

– Я помню, что над высокой кроватью висел рисунок Модильяни. Она кратко рассказывала о знакомстве с Модильяни, с запоминающимися деталями: например, с раскиданными по полу мастерской розами. О рисунке было замечено отдельно, что их еще была целая серия – числом до двадцати. Хранились они в Царском Селе, но пропали: их скурили красноармейцы на папиросы. Мне еще тогда показалось странным: уж наверняка солдаты предпочли бы для самокруток что-нибудь помягче, чем рисовальная бумага, – газету, например. Лишь много, много лет позже, целую вечность спустя, я узнал о сенсационном обнаружении коллекции доктора Поля Александра, врача, лечившего Модильяни. Не хотелось верить в подлинность рисунков, глаза отказывались их признать, ум искал уловок: не может профессиональный художник использовать, например, пунктирную линию для изображения нагой женской груди. Нет, оказывается, может! И – да, это все-таки она. У меня не осталось сомнений, что у нее был роман с Амедео.

– Как держалась Ахматова с вами? Наверно, величаво?

– Да, она была величественна, даже царственна, но оживлялась и делалась доброй, и в то же время могла быть очень насмешливой. Ее остроумие – великолепное, блестящее, в некоторых случаях убийственное. Вот она рассказывала, как лежала после третьего инфаркта в больнице на Васильевском острове в тяжелом состоянии, к ней не было доступа. Но правдами и неправдами к ней пробился молодой московский поэт. Он пробрался с единственной целью – узнать мнение Ахматовой, кто первый поэт: Цветаева, Мандельштам или Пастернак. Заметим, что молодой человек ее саму не включил в свой перечень. Ахматова нашла в себе силы ответить следующее: «Все они звезды первой величины, и не нужно превращать их в чучела наподобие подушек или диванных валиков, чтобы этими валиками избивать друг друга».

– Чем вызвано посвящение вам Ахматовой стихотворения «Пятая роза»?



Е. Рейн и И. Бродский. 1961 г.

– В день ее рождения я однажды привез ей пять свежайших роз, из которых четыре в положенный срок увяли, а пятая, по ее словам, «необыкновенно хорошо расцвела и долго творила чудеса, едва не летая по комнате». С этим букетом я преподнес ей стихотворение, в котором просил, чуть ли не требовал ответных стихов – не только для себя, но и для моих друзей-стихотворцев. И вскоре она одарила Бродского «Последней», Наймана – «Небывшей», а меня – «Пятой розой». В разговорах с ней случались паузы, которые требовали от собеседника заполнения, – но не словесной чепухой, конечно, а мыслями на том же уровне. И такие мысли возникали и произносились.

Казалось, разговоры с ней о ее поэзии, о Мандельштаме, Гумилеве, о Серебряном веке вообще, о Пушкине, Горации и даже о египетских писцах, которых она тогда переводила, будут длиться вечно. Но вот – 55 лет назад – ее вдруг не стало. На ее похоронах четыре упомянутых стихотворца встретились все вместе в последний раз. В своем цикле «Траурные октавы» я назвал их «ахматовскими сиротами», и это название как-то прижилось, потому что оно определило былую общность.

– А как относилась к стихам, которые ей посвящали вы, Бродский?

– Она называла их мадригалами – есть такая старинная форма любовного стихотворения. И действительно – все мы были как-то сыновне, литературно и, конечно, платонически влюблены в нее. Вот, например, какое «пылкое» письмо я отправил ей, когда она месяца на два загостилась в Москве (публикую впервые):

«Дорогая Анна Андреевна!

Вас уже так долго здесь нет, что никакие «скучаю» не выражают и доли Вашего отсутствия. И все-таки не это обстоятельство убеждает и просит меня написать Вам, а слишком большая и постоянная необходимость видеть Вас, которая из-за ее чрезмерности делает желаемое невозможным. Мне нужно, кажется, меньше Вас любить, чтобы встречи с Вами случались так часто, как они могли бы.

Сейчас я могу уже сказать, что, вероятно, отсюда произошла и неловкость моего посвящения Вам. Частично это же выразил и случай с моим мадригалом: счастье, которое я испытал, принимая Вашу «Пятую розу», казалось тогда непомерным – я мог бы целиком поместиться в многоточии ее эпиграфа.

Я постоянно чувствовал все это время, что Вы отсутствуете, живую тишину Вашего ответного отношения, и только теперь она вдруг ощутилась как молчание. Я знаю, что вы наверняка поймете меня, если я скажу, что дело здесь, вероятно, даже не в тех стихотворениях, которые мне довелось услышать от Вас, возможно, даже «дело не в любви», а все заключается в каком-то неназванном чувстве неизбежного, фатального, что ли, которое прямым образом связано у меня с Вами. Это не логика и не психология, – я имею в виду Ваш дар извлекать беспредельность из малого или случайного. Что же говорить обо мне, схватившем едва-едва, наспех, эту ноту на лету, и у меня еще кружится голова от открывшейся прорвы внизу и сверху, от пространства, которое стало просматриваться насквозь, до дыр, – только то и сказать, что вижу в этом свидетельство прямой и полной связи с Вашим образом, с Вами.

Я считал всегда, Анна Андреевна, что не только объяснять Вам, но и объясняться с Вами не обязательно и даже лишне, – Вы и так знаете. Но хочу назвать для Вас, как они ни громоздки, три вещи: мою приверженность, любовь и беспредельность.

Теперь я жду случая увидеть Вас, а пока до встречи, пусть это письмо и не прибавит ничего к тишине, но все же отбавит хоть какую-то долю от молчания.

Бобышев».

– Какие уроки преподнесла вам Анна Андреевна?

– Не только литературные (хотя и эти тоже – в реакциях и оценках), но и человеческие: как поэт должен держать себя в пору испытаний, которую и мы застали. Я однажды разговаривал именно на эту тему с Бродским еще Питере. Ахматова тогда была жива. Я сказал, что нас четверых (его, меня и Наймана с Рейном) другие люди воспринимают как тесную группу ее учеников. Согласен ли он с этим? Он хоть и с некоторой неохотой, но согласился. Тогда я спросил: чему учит Ахматова? Меня, например – достоинству. Человеческому и цеховому (имея в виду гумилевский Цех поэтов). Он, вдруг возбудившись, ответил: «Достоинству? Нет, величию!». Действительно, с той поры держал он себя статуарно… Я думаю, это из-за того, что он никогда не видел Пастернака.

– А как считаете, что Ахматова для себя брала из общения с молодежью?

– Думаю, что не только она нам, но и мы ей были нужны: она проверяла на наш молодой вкус свою работу над большим стилем, над крупными формами. Например, она мне – единственному слушателю! – однажды прочитала всю «Поэму без героя». Ей было важно узнать, как воспринимается на свежий слух последняя, самая полная версия поэмы. Я тогда был заворожен, переполнен ритмами и образами поэмы. А для нас признание и общение с Ахматовой было мощной поддержкой, когда нас не печатали, ругали в газетах. Помню, что сказала Ахматова после встречи с Иосифом Бродским:

– У меня вчера был Иосиф. Он говорил, что у него в стихах главное – метафизика, а у Димы – совесть. Я ему ответила: «В стихах Дмитрия Васильевича есть нечто большее: это – поэзия». Такая оценка дорого стоит.

– Читают Ахматову в Америке?

– Ахматову по-прежнему читают, она по-прежнему ведет свой интимный и душевный диалог с отдельной личностью и – одновременно – с огромной национальной аудиторией. И более того – с интернациональной. Я долгое время преподавал русскую литературу в Иллинойском университете – колоссальном культурном и научном центре американского Среднего Запада, расположенном в сдвоенном городе Урбана-Шампейн, примерно в двух часах езды к югу от Чикаго. Один из моих курсов был целиком построен

на поэзии Ахматовой, благо что к ее столетию был выпущен в Бостоне двуязычный двухтомник самого полного на тот момент собрания ее стихотворений в переводах Джудит Хемшемайер.

Живые глаза студентов – самое верное свидетельство о том, что ее поэзия обращена прямо к сердцу.

– А вы Пастернака успели застать?

– С тем же Рейном мы навестили Пастернака в Москве летом 1956 года. «Доктора Живаго» он закончил, и мы читали уже в самиздате стихи из романа, но вся последующая драматическая история, видимо, только начиналась. Мы пришли, чтобы увидеть его и выразить восхищение его поэзией. Он сам открыл дверь. Несмотря на раннее утро, он выглядел приветливым и свежим: седая челка, моложавое загорелое лицо, живые глаза, нарядный голубой пиджак с галстуком.

Я разглядел в уголке его глаза красный узелок лопнувшего сосуда и связал это с недавно перенесенным инфарктом. Узнав, что мы студенты из Ленинграда, он пригласил нас внутрь, в боковую комнату с полками книг, сам, грохоча по коридору, принес стулья и рассадил нас. Сказал, что роман – это главный труд жизни, а прочее, в особенности ранние стихи, которые мы так любили, «это – алхимия». Посоветовал, если мы очень интересуемся поэзией, познакомиться в Ленинграде с Ахматовой, что впоследствии и исполнилось. Вот тогда мы были перед ним почти совсем мальчики, едва достигшие 20 лет, но он держался с нами на равных, с удивительной простотой и радушием.

Бродский не простил измену

– Через годы дружба ахматовской «четверки» разладилась. Какова причина?

– Одна из причин – я, другая – Иосиф. Точней – наши отношения. Плюс свои проблемы у Рейна с Найманом. Но изначально все-таки Иосиф. В какой-то момент он поверил в свою великую миссию, осознал себя выше всех и стал других использовать ради своих целей. А до того был так мил и дружествен! Кто-то ему подчинился, а кто-то – нет. Это внесло соперничество, ссоры, раскол.



Похороны Ахматовой 10 марта 1966. В толпе – А. Найман, Е. Рейн, Д. Бобышев, И. Бродский

Похороны Ахматовой в последний раз собрали нас вместе. И я написал «Траурные октавы», в которых есть такие строчки:

…в череду утрат
заходят Ося, Толя, Женя, Дима
ахматовскими сиротами, в ряд.
Их дружба, как и жизнь, необратима.

Отсюда нас так и стали называть: «Ахматовские сироты».

Но есть еще иная причина разлада: каждый из ансамбля начал петь своим голосом. То есть – перешел на соло.

– Считаете ли вы предательством ваши отношения с невестой Бродского Мариной Басмановой?

– Прежде всего, она не была его невестой. И – кто кого предал? Он однажды так нагрубил мне, что я перестал его считать другом. А столкновения на любовной почве происходят постоянно, особенно в молодости, это нормально. Соперники дерутся, бодаются рогами, а чаще находят более мирные способы выяснения отношений. Есть, конечно, людская этика, следуя которой хорошие друзья стараются не увлекаться и не ухаживать за подругами

своих друзей. Но когда друзья уже не друзья, а подруга уверяет, что она свободна, то в чем моральная проблема? Кому-то обидно, кто-то продолжает ревновать, ну и что? Нужно и самому быть мужчиной, не впадать в истерику, не угрожать самоубийством. Женщина ведь не собственность, особенно когда она не связана обязательствами. Она и решает спор.

Но Иосиф широко обнародовал этот личный конфликт и то, что решают меж собой лишь участники, передал на обсуждение всему кругу знакомых, всей «прогрессивной» общественности, которая сильно сочувствовала ему, – пусть и по другому, чисто политическому поводу. Кстати, гражданski и я сочувствовал ему, и даже отправил в писательскую организацию заявление в его защиту, когда начались преследования. Но общественность, побаивающаяся властей, обрушилась с обвинениями на меня как на безопасную цель или, скорей, как на «козла отпущения». Наш конфликт с Иосифом затянулся на период его суда и ссылки, когда началась его международная известность, и тут уже я стал для многих – очевидным «предателем», «завистником» и даже «бездарностью», стихи которого они не читали и даже не желали читать.

Между прочим, Довлатов, разобравшись с ситуацией, хорошо объяснил мне эту непримиримость: «С КГБ не поспоришь, а Бобышеву не подать руки – куда проще».

Таким несложным и неопасным способом люди демонстрировали свою гражданскую добродетель.

– Кстати, Андрей Битов в одном из рассказов, правда, в допечатном варианте, дал своему персонажу, достаточно аморальному, вашу фамилию.

– Да, это касается его рассказа «Пенелопа». Он тоже вознамерился наказать меня за Бродского. Но при чем тут Битов? Кто он – высший суд? Про таких сказано: «Не судите, да не судимы будете». Я добился в издательстве того, чтобы Битов изменил фамилию персонажа, и он, вынужденно согласившись с требованиями начальства, потом рвал и метал по телефону, требуя меня на дуэль! Пусть бы он стрелялся с главным редактором издательства, а то и попросту отозвал свой рассказ. Но нет. Фамилию персонажа он покорно изменил, и рассказ был напечатан.



Бобышев и Рейн. 1961 г.

– А как Ахматова относилась к этой истории?

– Анна Андреевна говорила: «Так оно всегда и бывает», – и принимала у себя обоих «провинившихся».

– Почему именно Бродский был неугоден советским властям, ведь были и другие диссиденты среди вашего приятельского круга?

– Так ведь их тоже сажали! Наталью Горбаневскую держали в психушке. Поэт Юрий Галансков так и умер в лагере. Алика Гинзбурга посадили за поэтический альманах. Обстановка была такая, что после фельетона «Окололитературный трутень» в газете «Вечерний Ленинград» могли взять кого угодно: и Рейна, и Наймана, и меня, и Славинского. Нас уже не раз клеймили в прессе, а за этим мог последовать и арест. Но Бродский был уже арестован однажды на короткое время за намерение захватить самолет и угнать его за границу (Иосиф при этом предполагал размозжить голову пилота камнем), но его отпустили. Так что на следующий раз он и оказался жертвой судебного процесса. А осужден был за тунеядство.

– Действительно ли Бродского устроили в психиатрическую лечебницу друзья, чтобы спасти от преследований?

– Увы, его друзья Ардов, Рейн и Ярмуш были убеждены, что спасти Бродского можно было, если упечь его в сумасшедший дом. Не придумали ничего лучше. Между прочим, у него и был белый билет по этой части, спасающий его от призыва в армию. Но это была их ошибка. Лучше бы они устроили его на какую-нибудь легкую работенку, это бы спасло его от обвинения в тунеядстве.

– Как так получилось, что некоторые ваши стихи присвоили Бродскому?

– Стихи были приписаны Бродскому в фельетоне «Окололитературный трутень». Авторы выхватили три отрывка из двух моих стихотворений 1960 и 61 годов. Это было всего лишь недоразумение, вызванное невежеством обвинителей.

– В Америке, в эмиграции вы встречались с Бродским?

– Однажды лишь пообщались по телефону. И то – ради объединяющей нас Ахматовой. Сговорились оба не участвовать в томе антологии самиздата, где поэт и составитель Кузьминский издевается над Анной Андреевной в мерзких пародиях. Помимо этого Иосиф спросил, не нуждаюсь ли я в его помощи, но я ответил, что нет. Какая могла быть помощь, и зачем? Лучше бы он извинился за оскорбления, с которых все началось, тогда бы и я извинился… Может быть, мы и примирились бы. Но в дальнейшем ничего положительного для меня от него не исходило, скорей наоборот. А сам я в стихах все-таки к нему обратился, прощаясь с уходящим веком:

Прощайте, Женя, Толя, даже ты –
да, ты, Иосиф, наконец, прости же…
Ты – жертва давняя моей тщеты,
как я – твоих амбиций и престижа.

Ответа от него не было.

– Ваши воспоминания о Бродском, запечатленные в книгах, многие из пишущей братии подвергли враждебной критике. Справедлива ли она, на ваш взгляд?

– Ну уж, какая тут справедливость – одна злоба. Сотворили себе кумира, вот он и требует жертв. Но мои книги-то совсем не о нем, а о моей собственной жизни, куда он каким-то образом и на некоторое время вплелся, и – все. Из него сотворили раззолоченного кумира, предмет обожания, а меня для контраста пытаются принизить. Я считаю, что прожил честную жизнь, пред властями не подличал, гадостей людям не делал, а мне десятилетиями суют одно и то же: «увел Марину»...

Эмигранты критиковали Солженицына

– Что за история, когда газета «Известия» упомянула вас среди «бездельников»? И почему вас не издавали на родине?

– Это хороший пример того, как мы действовали от себя, и как система реагировала. Еще в 56-м году после хрущевских обещаний о том, что «к прошлому нет возврата», мы, тогда студенты Ленинградского технологического института, выпустили независимую стенгазету «Культура». Рейн писал в ней о живописи Сезанна, Найман об авангардном кинематографе, а я о молодом поэте Уфлянде. Эту инициативу грубо прихлопнули критической статьей в «Комсомольской правде», а стенгазету запретили. Я думаю, мы попали в «черный список», и наши стихи стали отвергаться любыми официальными изданиями. Но оставались устные полуподпольные выступления, появился самиздат. Александр Гинзбург из Москвы предложил мне участвовать в машинописном альманахе «Синтаксис», и я ему дал подборку своих ранних стихов. Альманах вышел, стал широко известен, о нем заговорили на Западе. Центральные «Известия» отозвались на это фельетоном «Бездельники карабкаются на Парнас» в № 209 в первых числах сентября 60-го года. Там упоминались многие участники, им давались уничижительные характеристики, среди «бездельников» был и я, работавший тогда инженером. После фельетона у меня на работе был сделан обыск, а Гинзбург получил свой первый срок лишения свободы.

– Не кажется ли вам, что именно сложная политическая ситуация в стране подарила нам таких самобытных поэтов-шестидесятников?

– Сложные ситуации были во все времена. И всегда были «неудобные» поэты, в том числе и в 60-е. Но вы знаете, мне не нравится сам этот термин по многим причинам. По-моему, его искусственно прицепило к нам следующее поколение в насмешку над старшими. Ведь с шестидесятниками XIX века связаны смазные сапоги и грубые манеры разночинцев. Какое это имеет отношение к нам? К тому же метрическими линейками литературу никак не измерить. Начнем с того, что движение, которое называют этим словом, началось не в 60-е, а раньше, в середине 50-х, в так

называемую «хрущевскую оттепель». В тот период выдвинулись новые имена, которые в последующее десятилетие – да и дальнейшем – прославились свежими голосами и весьма ограниченным (разрешенным сверху) либерализмом. Имена их настолько известны, что незачем и называть. Этот набор лиц был допущен в литературу, а дальше двери оказались заперты, и никто больше не допускался. Очень многие талантливые люди (в том числе мои товарищи) оказались за дверью и стали действовать неофициальными путями – через самиздат, тамиздат и т. д. Так что объединять одним термином эти столь отличающиеся явления мне представляется неправильным. Если они – «шестидесятники», мы – другие.

– Кстати, как оказались в Ленинграде? Ведь вы же родились в Украине.

– В Мариуполе до войны жили мои дед и бабка – Иван Иванович и Ксения Никитична Павловы. Их три дочери выросли, уехали в Москву и Ленинград, получили образование, повыходили замуж. Моя мать Зинаида Ивановна была младшей, она стала ученым-химиком, а вышла замуж за архитектора Вячеслава Мещерякова. Когда пришла пора родить своего первенца (то есть будущего меня), она из Ленинграда поехала к родителям, где и произвела меня на свет, а потом увезла обратно. Но Мариуполь – это не только отметка в документе, он стал и в самом деле родным местом. Туда съезжались на летние отпуска все три сестры, с мужьями и детьми, а меня оставляли там на целое лето. Так, из Мариуполя мы, часть большой семьи, бежали, спасаясь от немцев летом 41-го вместе с отступающей армией – на восток и на юг, до Грузии. Мать с отцом остались в Ленинграде. Отец погиб в блокаду, а мать впоследствии вышла вторично замуж, и я стал носить фамилию отчима. С тех пор в Мариуполе я больше не бывал. И еще раз я побывал на Украине в 79-м году, незадолго перед моим отъездом из СССР. С этим связан еще один немаловажный факт моей жизни. Я женился на аспирантке-археологине, и мы отправились в свадебное путешествие «в глубину тысячелетий», то есть в экспедицию на раскопки в селе Межирич под Каневым. Там были открыты стоянки наших далеких предков, охотников на мамонтов. Моя молодая жена была американка русского

происхождения и вскоре она вернулась домой, а я еще через некоторое время получил заграничный паспорт и воссоединился с ней в Нью-Йорке.

– Не ощущаете с годами ностальгию по России? Возможно, мелькало желание вернуться из Америки, как это сделал, например, Аксенов?

– Признаюсь, у меня случались моменты ностальгии, но не отдельно по России или Украине, а по единой стране, по ее родным местам. Мучила болезненная мысль, что я никогда их не увижу. Однако когда я почувствовал, что Перестройка – это не ловушка, я приехал в Ленинград на побывку к матери, в дом на Таврической улице, где я вырос, и ностальгию как рукой сняло. Я встретил там новый 89-й год и с тех пор стал приезжать в Москву и Ленинград (а потом и Петербург) почти ежегодно. Я выступал со стихами и лекциями, читал доклады на научных и литературных конференциях и даже остался на осенний семестр 91-го года, чтобы прочитать курс лекций по литературе русской эмиграции сразу на двух филологических факультетах: в петербургском государственном и педагогическом университетах. И конечно, я регулярно печатался в «толстых журналах», в газетах, издал несколько книг в Питере и Москве. Моя американская семья к тому времени, увы, развалилась после 12-ти лет совместной жизни. Зато появилась однокурсница Галя, которая никуда не исчезала, и с которой мы переписывались все время! В связи с этим обстоятельством у меня вновь появились фантазии жить на два дома или хотя бы возобновить утраченное гражданство. Но не тут то было… Мой старый советский паспорт был так сильно просрочен, что его отказались менять на российский. И вообще, с гражданством возникли такие бюрократические сложности, что мои фантазии благополучно испарились. А Галя переехала ко мне в Америку. И я не жалею, что так сложилась моя жизнь. В Америку я ехал именно за счастьем, желая основать семью и достойную жизнь. Перед этим два советских издательства отказались печатать мою книгу, в результате чего образовался тупик, из которого я рвался прочь. И наоборот, в Париже к 79-му году вышла моя первая книга стихов «Зияния». Так что все подталкивало меня к отъезду, это была судьба. А в новой жизни бывало порой нелегко, но всег-

да – очень интересно! К слову, мой ментор и старший друг, поэт Первой волны Юрий Иваск признавал, что эмиграция может быть несчастьем. Но это и «увлекательное приключение на всю жизнь», – как писал он в предисловии к антологии поэтов Первой и Второй волны «На Западе».


Найман и Басманова во Пскове. 1962 г.

– Одну из ваших книг проиллюстрировал известный художник Михаил Шемякин, который сотрудничал и был дружен с Владимиром Высоцким. Каким образом заслужили внимания Шемякина?

– С Шемякиным я познакомился еще в Ленинграде, побывав однажды в его мастерской, которая занимала комнату в обычной убогой коммуналке. Но сразу за его дверью начинался совсем иной мир. Его работы меня впечатлили сочетанием элегантности и грубой силы, заинтриговали гротескными фантазиями. Да и сама фигура молодого мастера выглядела эксцентрически, вне времени и пространства. Видимо, мои стихи были ему знакомы раньше по самиздату, потому что и он запомнил меня: спустя какое-то время, когда мы оба оказались в Соединенных Штатах, я получил из Нью-Йорка тяжеленную бандероль, которая следовала за мной по всем предыдущим адресам, пока не настигла в университетском городе на Среднем Западе. Это были два альбома цветных репродукций новых работ Шемякина с дружественнейшим посвящением. При первой возможности я навестил художника в Нью-Йорке, и он предложил мне издать книгу совместно: стихи мои, иллюстрации его. Я, конечно, с радостью принял это предложение, но решил, что для него я напишу совсем новую книгу стихов – таких, как шемякинская живопись, – гротескных, грубых и изысканных.



Басманова, А. Белич, Н. Каменцева, 1970-е

И я придумал совместить два сюжета: легенду об искушениях святого Антония и средневековый бестиарий. Полтора года я работал над книгой, словесно изображая, как целая галерея чудовищ является аскету, чтобы устрашить его, соблазнить, прервать его молитвенную связь с Богом. Но в конце святой побеждает самого себя, одолевает соблазны и заклинает зверей. Шемякину очень понравился мой текст, и он бурно начал работать над своей частью «Искушений св. Антония». Каждой странице текста соответствовал рисунок. Стихи и графика взаимно иллюстрировали друг друга. Шемякин торопился к открытию своей первой выставки в Третьяковской галерее в Москве и хотел там продать значительную часть тиража нашей книги. Он потом сокрушался, рассказывая по телефону: пока он давал интервью, все экземпляры растащили у него из-под ног. Я его пытался утешить: «Это – самый большой успех, какой только может быть!».

– Приходилось ли пересекаться с Высоцким?

– Нет, не приходилось, да я и не искал таких пересечений. Я признаю его талант, и не только исполнительский, но и поэтический, меня удивляет многоликость певческого образа Высоц-

кого (впрочем, тут уже сказывается его актерская выучка), но мне как-то не по сердцу его напор, надрыв, агрессия… Мне ближе задумчивый разговор по душам, а в этом я никого не нахожу равным Булату Шалвовичу Окуджаве. Вот с ним я познакомился очень рано, когда его слава только-только разгоралась, и он пел для своего удовольствия по московским литературным компаниям. Я совершенно влюбился в его ранние песни, ходил за ним, как парубок за гармонистом, да так и остался его приверженцем. Он знал мои стихи, сочувствовал тому, что их не печатают, и старался помочь, давая мне подстрочники для переводов (он работал редактором издательства, которое печатало поэзию народов СССР). И я был свидетелем его стремительного взлета, когда он стал кумиром (все-таки полуофициальным), и его концерты то запрещались, то на них ломилась публика, сдерживаемая конной милицией. С кумиром я встречался уже реже. Поздней мы увиделись с ним однажды, случайно оказавшись в том же месте в Германии. А еще поздней он удивил и растрогал меня, прислав в Америку свой стихотворный отзыв на мою книгу, впервые вышедшую в России.

Дима Бобышев пишет фантазии
по заморскому календарю,
и они долетают до Азии –
о Европе уж не говорю.
Дима Бобышев то ли в компьютере,
то ли в ручке находит резон…
Все, что наши года перепутали,
навострился распутывать он.
Дима Бобышев славно старается
без амбиций, светло, не спеша.
И меж нами граница стирается,
и сливаются боль и душа.

– Интересуются ли в Америке русской поэзией? Переводят ли?

– Изредка переводят, но плохо. И почти всегда без рифм: считается, что английский язык устал, и все рифмы предсказуемы. Рифмуют только поздравительные стишки или комические куплеты. Кроме того, хорошие признанные поэты редко занимаются

переводами: зачем им тратить свое время на каких-то иностранцев? Поэтому русские стихи по-английски становятся уделом аспирантов славянских отделений, знающих более или менее оба языка. Качество стихов при этом катастрофически теряется. Я одно время пытался это наладить, чтобы обеспечить свои двуязычные выступления по американским университетам. Договаривался со знакомыми местными поэтами, и они кое-что переводили из любезности… Но потом я получил денежный грант, и дело пошло веселей. Я решил, что эффективней всего будет действовать по советскому образцу. Я нанимал аспирантов, и они охотно делали буквальный перевод (под моим присмотром, конечно). А затем уже за хорошие деньги профессиональный поэт превращал этот полуфабрикат в добротные английские вирши! Таким промышленным способом мы перевели довольно много, и у меня появились публикации в антологиях и журналах США, Англии, Индии… А с отдельной книгой дело не дошло до конца – не хватало хорошей раскрутки! Впрочем, времена изменились, и я стал широко печататься в перестроечном Советском Союзе и в новой России, ведь читатель русских стихов именно там, а не на Западе.

– В Америке, в эмиграции, дружны ли литературные группировки, ощутим ли дух единства?

– Увы, насколько я ощущал, дух единения в писательской среде совершенно отсутствовал. Наоборот! Солженицын, в одиночестве совершавший свой писательский подвиг, прослыл националистом и консерватором, и на него накинулись с резкой критикой диссиденты и журналисты либерального толка – сначала, после его «Гарвардской речи», – американские, а затем, как по команде, и эмигранты Третьей волны. В этом неблагородном деле к ним присоединились Войнович и Синявский. С Синявским рассорился Максимов, редактор «Континента». Поклонники Бродского тоже не терпели Солженицына, а сам Бродский – Аксенова, которому чинил препятствия в американских издательствах, но помогал Довлатову. Из-за этого Довлатов дистанцировался от меня, которого не жаловал Бродский. Не жаловал он и Сашу Соколова, которого когда-то благословил Набоков. А Лимонов вообще заявил, что он слагает с себя звание русского пи-

сателя. Кузьминский, издатель антологии самиздата, ругал последними словами всех подряд. Вот так действовала на нашего брата свобода: воцарились безудержное личное самолюбие, безответственность и нетерпимость к чужому мнению. Тем дороже оказались старые дружбы с собратьями по перу и их поддержка. Я очень благодарен Горбаневской за инициативу и помощь в издании моей первой книги, за возможность печататься в «Русской мысли» и «Континенте». Спасибо Славинскому за добрые слова по радио Би-Би-Си. И сам я горячо приветствовал поэта Юрия Кублановского, когда он оказался на Западе.

Фото из личного архива Дмитрия Бобышева

Евгений Голубовский

Изумление перед миром

Третья выставка картин Давида Тихолуза состоялась в декабре 2011 года во Всемирном клубе одесситов.

Первая выставка, открывшаяся 2 декабря 2008 года, стала открытием удивительного художника, неизвестного мастера, который и сам, прожив полвека, благодаря коллекционеру В. Выродову впервые увидел свои работы на стенах выставочного зала.

Вторая выставка, «На мосту между мирами», состоялась в 2009 году в Музее современного искусства Одессы в рамках проекта «(Ре)Социализация искусства». Были представлены картины, выполненные Давидом Тихолузом под кураторством сотрудников МСИО в 2008-2009 годах, и фоторепортаж Елены Вересковской о его трудной жизни, в которой все же появился луч света – призыв к творчеству.

Выставка 2011 года, хоть прошло всего три года с первой, – дань памяти художнику, человеку, до конца дней своих не растерявшему изумление миром.

Давид Наумович Тихолуз скоропостижно скончался 8 декабря 2010 года. 9 декабря 2011 года на выставке мы увидели картины, собранные из многих коллекций, так как творчество художника привлекло к его картинам многих любителей искусства.

«Одессит, художник, еврей», – писал Давид Тихолуз на многих своих работах. И все три составляющие этой формулы были для него одинаково важны.

Вне Одессы он не представлял себя, любил город, одесситов и одесситок(!), вливаясь в толпу, он не испытывал отторжения, он сам был частью одесского Староконного рынка, одесского Привоза, одесских окраин.























Художником он был всегда, когда писал картины или мечтал о встрече с Модильяни, Сутиным, Шагалом, – что с того, что все они давно умерли? Он был художником и тогда, когда неделями на своей лежанке читал Диккенса, и тогда, когда в психбольнице рисовал инакомыслящих, инакочувствующих, инакоживущих.

Еврей для Тихолуза – это не приверженность иудаизму, это память и любовь к предкам, к воспитавшему его художнику Зейлику Блувбергу, его дяде. Но одновременно это была его позиция. Когда в государстве был государственный антисемитизм, он на своих картинах писал: «еврей».

Давид Тихолуз был удивительно одиноким человеком. После смерти родных он беседовал с книгами, природой, своими картинами. Не преувеличиваю. На многих картинах, холстах Тихолуза сзади – исповедальные записи, открывающие в нем ранимую душу.

На обороте картины, хранящейся сейчас в коллекции Стаса Жалобнюка, названной автором «От души – душе», его размышления:

«Писал пейзаж Давид Наумович Тихолуз в 17 лет в Одессе, в переулке Сеченова (бывшем Рождественском, № 9, кв.16). Подписал Давид Тихолуз в 26,5 лет, год рождения 1954, 11 декабря.

Этот пейзаж призван. Теперь, когда после 9 лет лежания за шкафом, как безумный пейзаж, теперь, когда в 26,5 лет отроду я вновь вешаю его на стену, он призван напомнить мне, что тогда, в 17 лет, я был хорошим человеком! И не таким, как теперь.

В этом пейзаже заключено все мое тогдашнее мировоззрение и мироощущение. Вся моя душа в то время, когда я был очень молод и глуп.

Пейзаж написан с маленького искреннего этюдика художником-живописцем и колористом. Искренно!»

Вот это изумление миром и искренность в своих живописных диалогах со зрителем Давид Тихолуз пронес через всю свою очень трудную жизнь.

Можно искать искусствоведческое определение – экспрессионист, еврейская ментальность, колорист. А нужно запомнить – это был большой ребенок, наивный философ, добрый, я бы сказал, блаженный человек. Не от мира сего. И поэтому счастье, что

мир сей хоть в самые последние два года его жизни полюбил и принял этого человека.

Выставка закрылась, но работы Д. Тихолуза есть в Музее современного искусства Одессы, у коллекционеров, интервью с ним опубликовано в «Смутной алчбе», а значит, он среди нас, в любимой им Одессе.

На обложке «Книги отзывов», положенной в декабре 2008 года (удивительное совпадение – декабрь был месяцем рождения Давида Тихолуза, стал месяцем его смерти, но именно в декабре состоялись и первая, и последняя его выставки во Всемирном клубе одесситов), так вот, на обложке «Книги отзывов» Давид Наумович Тихолуз написал:

«Большая просьба.
Напишите что-нибудь хорошее автору.
Он очень в этом нуждается».

Мне кажется, и этой публикацией мы выполняем эту искреннюю и трогательную просьбу замечательного художника.

Валентина Голубовская

Лишь одни созвездья Магадана…

Из Москвы нам прислали книгу Петра Вайля «Стихи про меня». Книга пришла к нам уже после кончины ее автора, передачи которого на радио «Свобода» мы когда-то слушали и книги которого с интересом читали…

Петр Вайль выбрал пятьдесят пять любимых стихотворений русских поэтов XX – начала XXI века, написав к ним свои, порой едкие и ироничные, порой печальные, а то и парадоксальные комментарии, воспоминания, размышления. Можно было бы спорить о выборе тех или иных стихотворений, не соглашаться с какими-то комментариями. Но автора уже нет. Книга очень личная, даже пристрастная, и названа ясно и точно – «Стихи про меня»…

Среди многих любимых мною поэтов и стихов почему-то я, вначале к собственному удивлению, задержалась на одном из трех стихотворений Николая Заболоцкого в книге Петра Вайля – «Где-то в поле возле Магадана…».

Я открыла для себя Николая Заболоцкого более чем полвека назад, когда прочла маленький синий томик, вышедший в серии «Библиотека советской поэзии». Многие стихи из этого сборника запомнились навсегда.

Через два года я уже читала «Столбцы» Заболоцкого из библиотеки моего будущего мужа.

Став преподавателем, говоря со своими студентами об итальянском искусстве, говоря о Джотто и Данте, иногда читала им «Равенну» Блока, а иногда стихотворение Заболоцкого «У гробницы Данте» – «Мне мачехой Флоренция была, я пожелал покоиться в Равенне»…

Но совершенно иным представился Николай Заболоцкий в шестидесятые годы, когда в альманахе «День поэзии» было напечатано стихотворение «Где-то в поле возле Магадана…».

Где-то в поле возле Магадана,
Посреди опасностей и бед,
В испареньях мерзлого тумана
Шли они за розвальнями вслед.
От солдат, от их луженых глоток,
От бандитов шайки воровской
Здесь спасали только околодок
Да наряды в город за мукой.
Вот они и шли в своих бушлатах –
Два несчастных русских старика,
Вспоминая о родимых хатах
И томясь о них издалека.
Вся душа у них перегорела
Вдалеке от близких и родных,
И усталость, сгорбившая тело,
В эту ночь снедала души их,
Жизнь над ними в образах природы
Чередою двигалась своей.
Только звезды, символы свободы,
Не смотрели больше на людей.
Дивная мистерия вселенной
Шла в театре северных светил,
Но огонь ее проникновенный
До людей уже не доходил.
Вкруг людей посвистывала вьюга,
Заметая мерзлые пеньки.
И на них, не глядя друг на друга,
Замерзая, сели старики.
Стали кони, кончилась работа,
Смертные доделались дела...
Обняла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела.
Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,

Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой.

Первое впечатление от этого стихотворения с его лагерной темой, особенно в те годы, было очень сильным. Я не забывала эти стихи, но нечасто к ним возвращалась, хоть помнила.

В книге Вайля я прочла их, словно заново, и поразилась многому, на что прежде не обращала внимание. На многие странные «сдвиги» в этом стихотворении.

Первое, на чем я споткнулась, – «шли они за розвальнями вслед» – без конвоя, без охраны? Если так, почему шли, а не поместились в розвальнях (с мукой или что там еще везли на тот раз)?

Потом зацепили строки, начиная с этой – «…В эту ночь снедала души их». Ночь?! Заключенные ночью, без охраны, предоставлены сами себе?

Но слова «Стали кони», напомнили что-то очень знакомое, но в другом порядке поставленное. Вспомнила!

Стали кони. – Николай Заболоцкий.

Кони стали… – Александр Пушкин.

– Господи! – подумала я, – это же пушкинские «Бесы»!

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин.
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

«Эй, пошел, ямщик!» – «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело,
Вьюга мне слипает очи,
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня,
Вон – теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной,
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой».

Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали… «Что там в поле?» –
«Кто их знает? пень иль волк?»

Вьюга злится, вьюга плачет,
Кони чуткие храпят,
Вот уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят;
Кони снова понеслися;
Колокольчик дин-дин-дин…
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
Сколько их? куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне…

Сколько совпадений в двух стихотворениях, сколько «странных сближений»!

Ночь, поле, вьюга, кони, пень и пеньки.

У Пушкина и у Заболоцкого – два героя: ямщик и ездок («Коням, барин, тяжело» – «Два несчастных русских старика…»).

Начиная с пушкинских, «Бесы» русскую словесность не покинули. Как и не исчезли из отечественной истории.

Я продолжала читать все внимательнее Заболоцкого и с удивительным сходством деталей открыла для себя еще не менее удивительные несовпадения.

«Невидимкою луна» – …«звезды, символы свободы».

«Мутно небо, ночь мутна» – «дивная мистерия вселенной шла в театре северных светил».

Пушкинское стихотворение полно звуков – человеческая речь, храп коней, плач вьюги, «дин-дин-дин» колокольчика, шорох «листьев в ноябре», бесы с их «визгом жалобным и воем»…

В пушкинских «Бесах» – кромешная кутерьма, завораживающее кружение бесконечных шипящих – ч, ш, щ, ж…

У Заболоцкого – «посвистывала вьюга» многочисленными свистящими «с», перекликающимися с колючим, все более нестерпимым «з», как ледяные иголки, пронизывающим все тело. И перегоревшие души.

И достигает трагической кульминации этот безжалостный звук в строфе:

Вкруг людей посвистывала вьюга,
Заметая мерзлые пеньки.
И на них, не глядя друг на друга,
Замерзая, сели старики.

Эти мерзлые пеньки – умерщвленные деревья, для пантеиста Заболоцкого – убитая топором природа.

Не «бушлат деревянный», а саван, сшитый из вьюги, не общая яма, а пеньки стали местом ухода стариков «в дальний край», в свободу, из которой нет возвращения, в свободу навсегда. И «Лишь одни созвездья Магадана Засверкают, став над головой».

Кажется, что посвистывание вьюги – единственный звук в ледяном выморочном пространстве от далеких родимых хат до поля возле Магадана. Мертвое пространство. А жизнь только в недосягаемой высоте – «Жизнь над ними в образах природы Чередою двигалась своей».

И еще одна особенность этого стихотворения.

Известно, что лагерная судьба Заболоцкого не была связана с Магаданом. По многочисленным воспоминаниям, Николай Алексеевич Заболоцкий не любил рассказывать о каторжных годах. Оставил только короткую и страшную «Историю моего заключения».

«Где-то в поле возле Магадана» меньше всего мне кажется стихотворением биографическим, и не кажется посвящением своим погибшим друзьям – в память о них он написал (одно из самых моих любимых стихотворений!) «В широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений…».

Это стихотворение о двух стариках из миллионов «Иванов Денисовичей», таких же стариков и молодых, мужчин и женщин.

У Пушкина – бесы мчатся «в беспредельной вышине».

У Заболоцкого – бесы на земле – солдаты с их луженными глотками, бандиты шайки воровской, охрана, лагерный конвой и далее – везде.

Так услышала я трагический отклик на пушкинских «Бесов» и такое долгое пушкинское эхо в стихотворении Николая Заболоцкого…

Публикации

292 **Ирина Вышеславская, Глеб Вышеславский**
Леонид Вышеславский и Одесса

310 **Б.И. Эгиз**
Воспоминания о К.К. Костанди
Публикация Марины Верховецкой

Ирина Вышеславская, Глеб Вышеславский

Леонид Вышеславский и Одесса*

Воспоминания внука – Глеба Вышеславского

Я впервые увидел Одессу в 1976 году, во время летних каникул после шестого класса художественной школы. Со мной был альбомчик для зарисовок и строгое задание учителя рисования Юрия Ивановича Золотова выполнить летнюю практику – огромное, казавшееся нереальным количество рисунков и акварелей. Меня взяли с собой мой дедушка – поэт Леонид Вышеславский, и бабушка – филолог и поэтесса Агнесса Балтага. Летом Дом творчества писателей на Большом Фонтане становился санаторием, куда приезжали не писать, а купаться, вечерами читать друг другу стихи в тени акаций центральной аллеи, которая неожиданно обрывалась глубоким провалом – глиняными оползнями к морю. Летний кинотеатр слева от аллеи, где раз в неделю крутили фильмы Шукшина, был последним строением, за которым с высоты обрыва открывался головокружительный вид на Большефонтанский мыс и здания монастыря. «Видишь, – говорил мне дедушка, – мыс становится все длиннее, поскольку берег сползает в море – деревья, дома, дороги, а мыс, на котором монастырь, – остается». От этих слов, столь наглядно демонстрировавших действие времени, становилось очень тревожно. Но вокруг жаркое солнце заполняло удивительное пространство, террасами спускающееся к морю. Я часами лазил по оползням, соединяя нитями ветви деревьев, которые когда-то были на одной высоте, а теперь ушли вниз. Из цветных нитей получалась огромная воздуш-

* Окончание. Начало в кн. 47.

ная диаграмма спуска деревьев. Я тогда не знал, что это можно назвать инсталляцией.

Отношение Леонида Вышеславского к Одессе было восторженным и полным воспоминаний. Он очень много рассказывал. Казалось, каждый дом, каждое дерево оживляло в его памяти какое-то событие или стихотворение. Конечно, для моей головы шестиклассника было не под силу вместить и малую часть того, что я слышал. А слышал я вещи удивительные. Истории про неведомых мне священников, монахов, офицеров, уплывающих в Стамбул. Про мэра Одессы, библиотеку и парк со скульптурами, которые увозят во Францию. Про писателей, уехавших из Одессы. Про писателей расстрелянных или чудом спасшихся. И все это изобилие сюжетов странным образом имело ко мне непосредственное родственное отношение.

Но чтобы не перегружать мою неподготовленную голову картинами столь разных миров, а ведь я был учеником советской школы 70-х годов, мой дедушка вполне резонно сосредоточился на тех воспоминаниях, которые мне, в силу близости по возрасту, было легче воспринять, – о своем детстве, которое прошло в Большефонтанском монастыре.

Но, как и во всякой истории, была прелюдия. Дедушке пять лет, он живет в Одессе с родителями. Но мама заболевает и оказывается в больнице. Идет гражданская война, город переходит из рук в руки. В какой-то момент отец, опасаясь расстрела, должен был срочно скрыться. Он оставляет сына у своих знакомых, недалеко от Успенского монастыря, что на Большом Фонтане. Но оказалось, что и они рискуют жизнью. Ночью всех будят солдаты и ведут на расстрел по казавшемуся бесконечным глиняному спуску к морю. Вокруг оползни, которые образуют пещеры. В одну из таких расщелин и спрятался пятилетний Люсик, спасши себе жизнь у стен монастыря. Много лет позже я обнаружил этот рассказ в одной из книг Л. Вышеславского. Там он обрел название «Когда я был ящерицей».

Спустя несколько лет Л. Вышеславский жил в Большефонтанском монастыре уже школьником. Он учился в антирелигиозной советской обстановке в харьковской школе «Метал-

лист». Как известно, в те годы вся динамика жизни, вся убежденность окружающих были направлены в будущее, к прогрессу, к науке, к коммунизму. Он участвует в школьных демонстрациях, в работе детских кружков, оформляет стенгазеты. Восхищается поэзией Маяковского, помнит наизусть его стихи, в том числе поэму «Облако в штанах». И вот, рассказывая это, дедушка цитировал:

Я думал – ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.

Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою́
отсюда до Аляски!

Но вот летние каникулы – и юный Люсик попадает в монастырь, в тихие кельи монахов. Он помогает в службе своему дедушке – священнику Харлампию, поет в церковном хоре, а когда поднимается на звонницу сзывать к обедне, то ветер морского простора сливается с жарким солнцем и пронзительно ярким звоном колокола. Он говорил, что сам шум прибоя продолжал мелодию древнего и величественного церковного славословия природе космосу и их создателю – Богу. Вечером он смотрел на встающий над морем небосвод вселенной и переполнялся радостью от ощущения величия мира. Он слышал шепот взрослых: «Когда же власть переменится?». И этот контраст, эту несовместимость укладов юный Леонид Вышеславский воспринимал особенно остро. Во многом преодолеть этот кризисный период Л. Вышеславскому помог митрополит (владыка) Ювеналий (в миру В.К. Машковский), который возглавлял в те годы монастырь. Он жил в соседней келье, возле комнаты о. Харлампия и Эвридики. В саду (мне было тщательно показано дедуш-

кой, где именно), стоял стол, за которым проходили летние вечерние чаепития (вместо дефицитного сахара – сушеная рыба). Там же проходили занятия. Владыка Ювеналий обладал огромным опытом и знаниями в самых разных областях, живым характером, прекрасным тонким юмором. Намного позже, в 1980-х, дедушка говорил, что о. Александр Мень ему напомнил Ювеналия. Антирелигиозные рассуждения казались после бесед с Ювеналием, впрочем, как и с Менем, поверхностными выходками малообразованных людей.

Владыка Ювеналий много рассказывал юному Леониду Вышеславскому о своих путешествиях по Святой земле, Афону, по Европе. И, по словам Леонида, с удивительной скоростью его рука рисовала все, о чем он говорил. Пирамиды Египта, верблюды, арабы, гробницы Патриархов в долине Иордана, берег Галилейского моря, Париж, посетителей Лувра с тросточками, студентов на лекции в Сорбонне, художников в кафе на Монмартре. Получались рассказы с картинками – в юности о. Ювеналий был художником, и даже выставлялся на нескольких выставках (уж не на Салонах ли Издебского?). В Париже он посещал лекции А. Бергсона, и даже дружил с ним, – и на бумаге появлялся его портрет; был в дискуссии с Вл. Соловьевым – борода на рисунке, беседовал с Мережковским, З. Гиппиус, Н. Федоровым, поддерживал взгляды митрополита Шептицкого в его споре с Соловьевым, а Флоренский обладал «птичьим носом». Все это изображалось на бумаге. Юному Леониду он преподал первые уроки французского, основы стихосложения, передал некоторые навыки рисования (сочетание рисунка тушью с акварелью по стилю отдаленно напоминали сецессию).

По рассказам дедушки, однажды владыка Ювеналий и протоиерей Харлампий провели несколько собраний-дискуссий в монастыре для местной молодежи. На ограде монастыря вывесили плакат с приглашением на встречу со священниками под названием «Почему люди не верят в Бога?». Несмотря на антирелигиозный ажиотаж и открытую враждебность тех лет, зал был полон. Ювеналий говорил о важности культуры, настоящих знаний о мире, о том, что каждый человек может только тогда стать твор-



Ювеналий

цом окружающего, когда осознает свое положение в мире, в космосе. Что труд без этого становится не творчеством, а обязанностью, рабством. И что один и тот же труд может быть и свободой, и рабством, а зависит это от отношения к себе и Богу. Отдельная встреча была посвящена тому, что религия не в прошлом. Она идет вместе с наукой. Она помогает творить будущее, но творить его не по приказу, а творчески, с любовью. Что миру и обществу нужны еще многие преобразования, что интуиция объединяет чувство и мысль, и тогда они идут вместе, устремлены в будущее, находятся в постоянной эволюции.

Однажды мы (дедушка, бабушка и я) поехали в центр Одессы на трамвае, который из-за нерегулярности сообщения называли «жди меня». Мы пришли в какое-то кафе на улице Дерибасовской, там, где улица начинает свой плавный выложенный брусчаткой спуск. Сели за столик. Мне ничего не рассказывали, но я почувствовал особую радость воспоминаний на лицах моих родных, их углубленные во что-то взгляды, что можно видеть не глазами, а только памятью. Эта обстановка придала особое чувство радостной значимости всему происходящему вокруг – съедаемому мороженому, интерьеру, прохожим, необычно жаркому для киевлянина небу.

По дороге из Одессы к Большефонтанскому мысу в XIX в. были построены роскошные особняки, окруженные парками. В одном из них свои летние гимназические каникулы проводила бабушка Л. Вышеславского – Евридика Митрофановна Цицильяно. Мы вышли на трамвайной остановке и долго бродили

в поисках древностей по тому месту, где когда-то был парк, стояли мраморные скульптуры, возвышалась над морем вилла. Воображение рисовало –

Колонны, портики, ограды,
Парадной лестницы разлет, –
В Одессе вольный дух Эллады
Сильней, чем где-либо, живет!

Но, увы, мы ходили по обычным асфальтированным дорожкам с гипсовыми вазонами, по саду советской «санаторной» планировки. Некоторые сомнения вызывала роскошная вилла, самая старая на территории, с просторной обращенной к морю верандой с медальонами из майолики. Но точных сведений, была ли это вилла славного мэра Одессы Г. Маразли, у нас не было. Во время этой прогулки Л. Вышеславский вспомнил рассказ – импровизированную сказку – про скульптуры из этого парка, которая ему в детстве запомнилась со слов бабушки:

«В прекрасный парк возле Одессы прилетели скульптуры из итальянской Каррары. Они были из белого мрамора, как и горы в их родной Карраре. Они жили на высоком берегу моря в тени деревьев, среди цветов. Можно было слышать их рассказы, если тихо и долго стоять между ними, – ведь они располагались лицом друг к другу, вдоль аллеи. Но потом начались войны, а хозяин парка, который пригласил их в Одессу, заболел и умер. Они очень грустили и решили сообщить родственникам хозяина парка, что с ним стало. Так они, подобно перелетным птицам, вернулись в Италию и Юг соседней Франции».

В тот день я узнал, что Евридика Митрофановна Цицильяно принадлежала к древнему греческому княжескому роду, вынужденному вдали от родины заниматься коммерцией. Училась в кишиневской гимназии, где считалась лучшей ученицей. В гимназические годы в Кишиневе участвовала в конкурсе красоты, где получила первый приз. Венчалась с семинаристом, сыном священника из греческого дворянского рода фанариотов, Харлампием

Ивановичем Платоновым. После замужества всецело ушла в воспитание детей, что не мешало ей поддерживать дружбу с подругами и учителями гимназии, которые высказывали сожаление, что она не посвятила себя преподаванию музыки. Была прекрасной рассказчицей. Умела и любила петь, особенно украинские народные песни. Была любимой внучатой племянницей Г.Г. Маразли. В юности некоторое время воспитывалась в его доме, позже часто там бывала. Любовь к искусству, литературе, театру, музыке, интерес к истории с оттенком краеведения, умение петь – во многом приобрела благодаря окружению и обстановке в доме Маразли.

Особое расположение Г. Маразли распространилось и на детей Евридики. Согласно семейному преданию, потомкам Евридики Г. Маразли завещал большую сумму. Увы, из-за революции Леонид Вышеславский не только не смог воспользоваться завещанием, но был вынужден скрывать свое родство с Маразли.

Большую любовь Евридика Митрофановна питала к своему внуку, сыну Клеопатры, – Леониду Вышеславскому. В течение ряда лет именно она занималась его воспитанием и образованием.

Лето 1976 года было необычно жарким – температура не опускалась ниже 35 градусов. Конечно, большее время дня мы проводили в море. Но дедушку влекло вдаль. Мы заплывали дальше всех и плыли до тех пор, пока берег не превращался в еле видимую полоску, а пароходы, которые с берега обычно не видны, представали перед нами, как огромные башни. Но и это моему дедушке показалось недостаточным. У каких-то знакомых в Одессе он достал надувную лодку. На ней мы достигли той дальней воды, по которой проходила трасса гигантских кораблей. Берега уже не было видно. Там мы купались в ледяной почти черной воде. Чувствовалась бесконечная глубина и высота над нами и под нами, невесомость и необъятность обволакивающего все пространства. Огромная стихия. Думаю, это похоже на космос, а еще так чувствовали себя древние – с наслаждением говорил дедушка. Когда мы уже возвращались вплавь, толкая перед собой лодку, над нами на несколько минут завис вертолет пограничников, а со стороны мыса по пляжу шло четверо военных. Мы сдули

лодку и улеглись на нее, как на матрац, среди других загорающих. Нас не заметили.

К территории Дома творчества, несколько дальше от Одессы, примыкал полузаброшенный парк. Там возвышался пустующий сложенный из темного камня особняк с высокой башней. В один из дней меня туда повел дедушка. Он говорил, что это «Башня Иванова», известного поэта и переводчика, что в особняке проходила изысканная жизнь деятелей искусств начала XX века, а башню именовали «башней из слоновой кости». Увы, большинство имен, о которых тогда шла речь, мне не удается вспомнить, но по оставшемуся впечатлению, это было одно из любимых мест символистов. На втором этаже стоял почти истлевший бильярд. На полу вперемешку с прошлогодней листвой – шары из потемневшей слоновой кости. Я взял ближайший. На нем была цифра пять, которую пересекала тонкая трещина. «Все расхищено, предано, продано», – продекламировал дедушка отрывок из «Канцоны – II» А. Ахматовой. Эти строки он произносил почти всегда, когда видел упадок и разрушение культуры.

Прошли годы. Настал новый век, и теперь уже мне довелось вспомнить строки из «Канцоны – II». Несколько дней я жил в домиках какой-то базы отдыха возле Белгорода. Но несмотря на отдаленность, решил побывать снова в Доме творчества и погрузиться в воспоминания. На Большой Фонтан мне удалось добраться лишь к вечеру.

В лучах закатного солнца я вошел в величественные, но изрядно обветшавшие ворота с надписью «Дом творчества писателей». Центральная аллея была перерыта траншеями, ворота не охранялись, а вдалеке, в парке, какие-то рабочие или сторожа жгли костер. Опасаясь, что меня остановят, я с деловым видом проследовал к строениям на краю обрыва. Кинотеатра уже давно не было, провал начинался намного раньше. Половина лучшего когда-то корпуса – столовой – лежала в руинах из-за подточившего ее бок оползня. Не было и того места, где читали стихи под акациями, – оно растворилось в пространстве над морем. Приблизительно там, где собирались поэты, но только далеко внизу, беззвучно и еле заметно шевелились кроны сползших, но не упавших деревьев. Слева вдалеке, перекрывая линию горизонта,



Леонид Вышеславский

как и прежде, величественно и горячо освещался последними лучами мыс монастыря. К моей радости, сохранился корпус, где мы когда-то жили, первый перед столовой. Я взбежал на крыльцо. Вошел и был удивлен открытым дверям и выбитым окнам. На подоконнике – цветы и сломанные детские игрушки, на полу – матрацы и чьи-то вещи. Сушится на перилах тряпье, хаотично разбросана одежда. Удивили и странные рисунки, процарапанные на стенах с чудовищными элементами садизма. В раздумьях, обитаем ли Дом творчества, и кем, я дошел до края сильно укороченной временем аллеи, перпендикулярной обрыву. Она была съедена оползнями, как свеча съедается пламенем. Тем временем стало почти совсем темно, тихо и тягостно. Действительно, думалось мне: «Все расхищено, предано, продано, // черной смерти мелькало крыло». Я повернулся к воротам, чтоб выбраться, но они оказались закрыты, а ко мне с кольями в руках приближались те, кого я по ошибке принял за рабочих. Бомжи в лохмотьях, синяках. В воздухе стояла угроза и осязаемая всем телом опасность. В памяти промелькнули рисунки со стен корпуса, отрывки из фильмов Шукшина.

Через несколько мгновений я уже, как ящерица, прыгал в почти полной тьме с одной ступени оползней на другую, бежал по берегу, перелазил через забор, переводил дух в кустарниках. Уже глубокой и темной ночью в разодранной одежде я поднялся по какому-то длинному, казавшемуся бесконечным, глинистому подъему и обнаружил себя, как это ни выглядит символично, у стен Большефонтанского монастыря.

А значит – в безопасности!

Леонид Вышеславский

Стихи из разных сборников, посвященные Одессе

Из цикла «Глина»

Детство

Детство берег морской исходило и обжило,
Все излазило кручи до самых вершин,
Потемнело от солнца, как глина от обжига,
И наполнилось небом, как влагой кувшин.

В глине – алюминий

Соль сверкает у моря узорами инея,
Выше – огненной глины громоздятся пласты…
Уж не здесь ли из скрытого в ней алюминия
Были сделаны крылья моей звездной мечты?!

Призыв к перелету

Крик журавлей над кромкой берегов
Летит из туч, что небеса закрыли.
А море? Море слышит этот зов,
О берег бьется и ломает крылья.

В бурю

Чайки кричат, будто реи скрипят.
Растормошенные волны кипят,

В брызгах весь мир от макушки до пят.
Реи скрипят, будто чайки кричат.

Улица Амудсена на Большом Фонтане

Выступами глины бухту стискивая,
Берега на жгучем солнце млеют,
По-былому стены монастырские
У подножья маяка белеют.
И все так же яростней паяльника
Полдень с морем небеса сливает,
Улица великого полярника
От жары нещадной изнывает.
День переливается под кручею,
Отданный на растерзанье зною,
Доверху наполненный трескучею
Тишиною.
Но от прежних дней с их яростью и мукой
Не осталось ни следа,
Ни следушка…
Уходил когда-то я отсюда
Внуком,
А теперь сюда вернулся
Дедушкой.

80-е годы

Морская банка

Морская банка – отмель, периодически выступающая над водой.

Опять, как рыба, твердь земная
всплыла у моря на краю,
и волны чешут, набегая,
ракушечную чешую.

Все увеличено, все крупно
на этом ложном островке:

как бы под линзой, крабьи трупы
лежат на тлеющем песке.

Сюда прибитое полено
простерлось мира поперек,
и заслоняет полвселенной
баркаса выщербленный бок.

Иду, вливаюсь в безграничье,
и то ль в тревоге, то ль в тоске
вокруг мятутся крики птичьи
и птичьи тени на песке.

На море штиль – в бакланах банка,
на море шторм – и нет ее,
не банка это, а обманка.
Виденье. Призрак. Забытье.

Перед пустыми берегами
она исчезла без следа.
Где было твердо под ногами,
теперь – лишь зыбкая вода.

60-е годы

Берег

Эскадра строем караванным
проведать нас издалека
плывет то в сумраке туманном,
то в резком свете маяка.

А берег сдержанно и зорко
уже встречает корабли,
и ночь дозорною моторкой
слегка пульсирует вдали.

Стремлюсь и я во тьму вглядеться,
и мне отчетливо слышны
удары собственного сердца
средь полнокровной тишины.

Осенние проводы

И.К. Черновой

Уже темно, хоть далеко до ночи.
Дождь полосует плетью по ногам.
А люд идет, закончив день рабочий,
спешит к своим остывшим очагам.

Людской поток. Он в лямку ветра впряжен,
и кажется: вот-вот польется вспять.
Тащу и я с тобой твою поклажу,
стараясь только память не помять.

Хранится там с твоей улыбкой детской
иная даль, иная сторона:
ракушечник Аркадии одесской
обкатывает жаркая волна.

Крошатся блестки утреннего света
По берегу, по всей его резьбе.
Рука в часы наручные одета,
Да наблюдать их незачем тебе!

А нынче жизнь вокзальными часами
До каждого мгновенья учтена,
И мы стремимся разобраться сами,
какие нам судились времена.

Дорога в лужах. Ветер. Тьма глухая.
Как хочется во всем тебе помочь!

И электричка – вся в слезах – вздыхает,
И вздох глубокий уплывает в ночь.

70-е годы

Большой Фонтан
(Одесса)

Над глиной круч –
Большой Фонтан.
Фонтан-фантом.
Фонтан-фантаст.
Фонтан
С фатальным для меня
Дымком кадильного огня,
С окладами церковных книг,
Когда приморская заря
Стекала с башен угловых
Успенского монастыря.
Где глины пласт,
На месте том –
Фонтан-фантаст, фонтан-фантом.
Там Ювеналий –
Ювелир
Душ человечьих –
Осенил
Благословеньем жизнь мою.
И я поныне жадно пью
Былое –
За струей струю.
И беспрестанно
В полный рост
Струя фонтана
Бьет до звезд.

12-15 августа, 9 октября 1999, Киев

Колокол

Памяти Харлампия Ивановича Платонова

Июльский вечер над церковным садом.
На колокольне время льется зря:
Давным-давно звонить к вечерне надо,
А колокол молчит. Нет звонаря.
Вновь загулял, наверно. Прощелыга…
Дед говорит мне: «Леня, выручай!»
И я по лестнице крутой взбегаю мигом,
Схватил канат и оттянул на край.
«Язык» тяжел. Скрипит. Его непросто
так раскачать, чтоб вызрел громкий звук,
в нем, верно, два моих мальчишьих роста
и он моих не слушается рук.
На колоколе потемневшем, старом
Медь в противоположных двух местах,
Куда обычно падают удары,
Блестит. Но вот уж «языка» размах
Обрушился на колокол. И дрогнул
Подвешенный под небо медный свод,
И звуки мерно, полновесно, гордо
Плывут, и мне подвластен их черед.
Все с колокольни видно: отблеск моря,
Обрывы в красной глине и сады,
Шаланды острогрудые у мола,
Крыш черепичных пестрые ряды.
Где нынче камни этой колокольни?
Где этот колокол? Он вырван с «языком»
Безумьем века. Горше, неспокойней
И глуше стало на сердце людском.

1979

Люстдорф

Мечтам и солнцу не было предела,
И лентой смоль волос переплетя,

Над рукодельем девушка сидела,
Еще почти дитя.
Цветущий персик облаком лиловым
Над балюстрадой дачною парил,
Я с нею не обмолвился и словом,
Лишь медлил у перил.
Почти дитя, а взор совсем недетский…
Случилось мимоходом услыхать,
Как ей (мне показалось – по-немецки)
Сказала что-то мать.
Забыть об этом было так легко мне
За столько лет,
Хоть память не слаба.
Быть может, то, о чем я нынче вспомнил,
Была моя судьба.

28 июня 1990

Тайное свиданье

Чтоб никто не хаял и не цыкал, –
Прямо к морю, в мир камней и трав,
Прибыла любовь на мотоцикле,
Пыли хвост до облака задрав.

Хорошо влюбленным жить на свете.
Не спеша спустились под откос,
Камни спят. Волну швыряет ветер.
Мотоцикл в траве лежит, как пес.

70-е годы

Купание в шторм

Шторм для купанья – время неурочное:
Вылы нагромождаются нелепо,
И шхуна,
Их вознею замороченная,
Все время попадает пальцем в небо.

Стихия в бухте еле умещается,
Шарахается берег от волны.
В такие дни
Купаться воспрещается.
Стой в стороне.
Смотри со стороны.
Ох,
Как мотает шхуну однопалую!
Как волны гложут черную кору!
…Люблю из шторма выпрыгнуть на палубу
и в пять минут обсохнуть на ветру!

70-е годы

Раскопки

На берегу пустынного лимана
Издалека приехавшие люди
Лопатами раскапывали город,
Упорно, пядь за пядью оттесняя
От древних стен столетий океан.

В углах дворов зияют водоемы,
Сереют в глине зольные кладки
И розовеют печи, на которых
Дыхание огня запечатлелось
Такого ж молодого, как теперь.

И солнце. Рассыпаясь по лиману,
Неугомонно ткет и ткет лучами
Материю, не знающую сносу,
Идущую на выделку созвездий,
Людских сердец и завтрашних времен.

60-е годы

В вечерний час

Сегодня я открыл окно и замер:
Из края в край все небо в поздний час
Не звездами сверкает, а глазами
Людей, туда стремившихся до нас.
Горят созвездья выпукло и четко, –
Пригвождены к ним испокон веков
Глаза провидцев, взоры звездочетов,
Скитальцев, мореходов, пастухов.

Глазами фантазеров и влюбленных,
И мудрецов, годами умудренных,
Не смаргивая, смотрит небосвод,

Сверлит зрачками, в душу проникает,
Нас приворотным взглядом привлекает,
притягивает, кличет и зовет.

60-е годы

Б.И. Эгиз

Воспоминания о К.К. Костанди*

Во время моей последней командировки в город Киев я работала в архиве Института истории искусства, фольклористики и этнографии им. М.Т Рыльского. Там хранится привезенный некогда из Одессы архив документов Товарищества южнорусских художников. В нем есть текст биографии художника К.К. Костанди, написанный современником, человеком, близким художнику и его семье, Б.И. Эгизом. Старательный студент в мастерской художественного училища, Эгиз стал в свое время значительным художником. Он не имел такого уж огромного круга почитателей, но ко всему прочему был прекрасным педагогом и секретарем товарищества.

Эгиз Борис Исаакович 30.07.1869 – 1946 Вильнюс. Живописец. Учился в коммерческом училище, затем в ОРШ (1886-1888) и в АХ (1890-1894). В 1895-1897 продолжил обучение в Париже в академиях Р. Жульена и Ф. Коларосси, посетил музеи Парижа, Венеции, Флоренции, Берлина, Дрездена, Мюнхена, Вены. По возвращении в Одессу с 1897 до 1920-го преподавал рисование в гимназиях города, давал частные уроки, принимал участие в выставках ТЮРХ. Член ТЮРХ с 1893. Секретарь о-ва с 1904 по 1909. «Это художник серьезный, строгий к себе, художник, анализирующий… Его рисунок строго правилен. Закончен, колорит до мельчайших подробностей выдержан в ярко реалистическом направлении. Любя свое искусство, художник отдается ему с увлечением, и это сказывается во всем его творчестве, даже в любовно законченных аксессуарах»**.

* Текст находится в ИИИФЭ им. М.Т. Рыльского. Фонд 38, ед. хр. 3, лист 31.

** Соломонов М. XIX выставка картин Товарищества южнорусских художников в 1908 г.

Его рукопись – это полусохранившийся выцветший текст на папиросной бумаге. По-моему, это черновые наброски. Особенности текста сохранены. Биография не такая системная и скрупулезная, как у другого биографа, В.Ф. Лазурского, но искренняя и сердечная, и со многими подробностями. Как любой подлинник, текст кроме очарования несет в себе массу вопросов. Но уже то, как формулирует Эгиз события и факты жизни одного из самых замечательных художников Одессы, необычайно интересно. Отрывки этого текста мы можем встретить в книге А.Н. Шистера «К.К. Костанди», 1975 г., в книге Н.Ю. Асеевой «Украинское искусство и европейские художественные центры. Конец XIX – начала XX в».

Биография написана до отъезда Б.И. Эгиза в эмиграцию в августе 1922 года. Эгиз упоминает многие живописные произведения Костанди. И это стало для меня первой задачей при чтении данной биографии. О каких работах идет речь? При жизни художника Костанди не было ни одной его персональной выставки. Прижизненного авторского списка вещей тоже нет. Произведения художника Костанди упомянуты без дат. И как писал сам Лазурский, «Под одним названием мы находим не только ряд повторений и вариантов, но и совершенно различные вещи».

Марина Верховецкая

Первый раз я встретил художника Костанди в 1887 году, когда я поступил в Одесскую рисовальную школу Общества изящных искусств.[1] Одновременно со мной тогда учились многие из… (известных) теперь в Одессе художников.[2] Я помню, Костанди очаровал нас с первых же дней своим удивительным даром не стеснять индивидуальность в учащихся, никогда и ничего не навязывать, он очень (тонко) истолковывал им художественную сущность изображаемого и вселял любовь к непосредственному и внимательному изучению природы и исполнению. Он предостерегал нас от манерности, от всего вычурного, крикливого и поверхностного. Указания его всегда были меткими, ясными и значительными, причем особенное внимание с первых же дней обучения было им обращено, главным образом, не столько на сухую академическую выучку, сколько на художественную сторону исполнения, и клонились к широкому развитию вкуса учащегося. Очень трогало нас не только особенное внимание к каждой из на-

ших работ. Много лет спустя он вспоминал наши ученические работы и помнил до мелочей то, что было в них удачно и неудачно исполнено. Все мы горячо любим его за его сердечность, отзывчивость, прямоту, бескорыстие и доступность. Он всегда очень заботливо относился к нуждающимся из нас, доставал для нуждающихся краски и ходатайствовал об освобождении от оплаты за учение. Он не был сухим односторонним педагогом.

Любил беседовать со своими учениками по разным вопросам искусства, всегда очень охотно отвечал на все волновавшие их запросы. Эти беседы развивали его учеников и способствовали развитию понимания и оценке художественной сущности в произведениях… Наконец, когда мы поехали в АХ[3] в Петербург для продолжения художественного образования, то там с особенной гордостью выслушивал мнение о нем таких авторитетов, как знаменитый художник Чистяков и Репин. Чистяков говорил, что «Ваш добрый учитель, судя по его ученикам, приезжающим в академию, учит беседовать с природой, открывает им тайны очарования ее и тонко истолковывает ее художественную сущность».

И.Е. Репин им же говорил: «У вас в Одессе есть такой исключительный художник К.К. Костанди, который может дать вам не только не менее любого из нас, но даже в некотором отношении никто из нас его вам заменить не сможет, так что у вас, собственно, и не было особенной необходимости приезжать сюда только для того, чтобы учиться у нас. Работы его учеников, появившиеся на годичных отчетных выставках в залах Петербурга, поражали художественный совет академии и всех обозревателей этой выставки своей свежестью, любовными исканиями, отсутствием рутины и чисто художественной непосредственностью исполнения в отношении от произведений других школ, тут же выставляемых».

Ему впоследствии неоднократно предлагали занять место профессора в Петербургской Академии художеств и в школе живописи-ваяния в Москве, но он каждый раз отклонял эти предложения, не желая расставаться со своей любимой школой и с южным солнцем и природой – источниками своих вдохновений. Его дивно исполненные произведения появились сначала на



Сидит, подперев голову, Б.И. Эгиз, правее сидит в шляпе Е.О. Буковецкий

выставках в Одессе, впоследствии также … (способствовали) нашему развитию, и мы у них также многому учились. Я помню, также: неотразимое впечатление произвели на нас первые виденные нами произведения нашего дорогого учителя на передвижной выставке в Одессе. Это были «Гуси»[4], которые находятся в настоящее время в бывшем музее Александра III в Петербурге и выдворявшиеся в «галерею Терещенко» в Киеве.[5] Мы сразу почувствовали, какой это замечательный художник и какое исключительное место он должен занимать среди русских художников того времени.

Восторгам нашим и изумлениям пред его великолепной правдивостью не было пределов, и мы с нетерпением ждали следующих годичных выставок.

В 1891 году мне посчастливилось в окрестности Винницы провести несколько летних месяцев в семье дорогого учителя.[6] Семья его тогда была еще малочисленной и состояла из трех лиц: из него, его супруги и грудного младенца их (старшей дочери). Дорогой учитель мой со свойственной ему любовью и энтузиазмом все свободное время от многочисленных семейных задач, вызванных болезнью дочери, посвящал живописи. Тут я впервые наблю-

дал дар Кириака Константиновича за его работой. Он писал тогда свою картину «Идиллия»[7] и переделывал фон на картине «Возле веранды»[8], и написал целую серию необыкновенных изумительных этюдов. Палитра его была до чрезвычайности простой: 6-7 красок удивительно… разнообразного колорита. Он меня поразил своей влюбленностью и настойчивостью, с которой исполнял свои произведения. Так, например, в картине небольшого размера «Варка варенья»[9] он бесконечное число раз переписывал ветви черешни, (находившиеся) в центре картины на втором плане на фоне неба, постепенно соскабливал ее до тех пор, пока не добился того, что поставил себе задачи, и так он поступал всегда. Картину «Идиллия» он писал на холсте без предварительной подмалевки и начал ее с центрального места на втором плане, ежедневно снова ее писал с 3-х точек вокруг как бы приемом музыки… Он ее правил потом 2½ месяца, достигнув великолепных результатов, и впоследствии всегда гордился ею, считая ее особенно удавшейся. Нередко мы отправлялись с ним на этюды, любовались природой. Он писал свою этюды в маленьком карманном ящике и большей частью, несмотря на малый их размер, писал по нескольку сеансов.

По вечерам мы большей частью беседовали с ним по вопросам искусства, а беседовать с ним было сущим счастьем, так как он говорил всегда очень просто, с увлечением с особенной влюбленностью, обладал очень большой художественной эрудицией. Он часто вспоминал свои годы, проведенные в Петербурге, когда учился в Академии художеств, с особенной любовью своих друзей – Дубровского, Кудрявцева и Афанасьева, с последним он жил. Всех их троих он изобразил на своей картине «У больного товарища», находящейся в галерее Третьякова в Москве. И что они… все четверо работали, о чуждом ему по академии стиле… Он рассказал, что в то время господствовал академический стиль, который довольно упорно навязывался ее воспитанникам, и что он вынужден был идти своим самостоятельным и независимым путем, так как ни в коем случае не мог согласиться ни с какими ограничениями свободы творчества.

Лишь один профессор того времени, знаменитый П.П. Чистяков, составлял исключение, он был против академической ру-

тины, и только у него одного из академических преподавателей мог учиться К. К. Он о нем всегда вспоминал с особенной любовью и благодарностью. П.П. Чистяков был пламенный поклонник мастеров эпохи Возрождения и восторженно говорил о них дорогому К. К., и впервые он узнал о всем великом их значении, их произведениях. Он с особенным усердием стал копировать в Эрмитаже Тициана и Рубенса, Венеру и портреты и внимательно осматривал и изучал богатые сокровища живописи Эрмитажа.[10] По его словам, это много способствовало (развитию) его художественного вкуса, техники и пониманию красоты глубокого тона и интенсивного колорита. К. К. всегда говорил, что главной задачей для живописца должны служить утонченная и непосредственная передача той разнообразной красоты зрительных впечатлений, которые на каждом шагу порождают искательного и чуткого художника поэта. И действительно, он всю свою жизнь, начиная с академической скамьи, был неподражаемым певцом этой красоты. С особым удовольствием он вспоминал, как и когда писал свои первые картины, что также относится к академическим годам. С особенной любовью он вспоминал картину «У больного товарища», «В люди», «Свидание».[11] Все знают о том, какое впечатление производили эти картины на находившихся в это время в зените славы знаменитостей, художников Репина и Крамского, как их поразил блестящий колорит и техника этих произведений. Они часто стали посещать К. К. и своими советами много способствовали развитию его таланта. К. К. выставил эти первые свои произведения на передвижной выставке в Петербурге и сразу занял на ней исключительное место, резко выделяясь из всей среды русских художников того времени. Впоследствии мы, его ученики, поняли, какое огромное значение было отведено нашему учителю в истории русской живописи. Он был, несомненно, одним из первых русских художников, истинным plain'air, и им прославлено, и замечательно то, что он в своих произведениях прекрасно разрешал те задачи колорита, которые дотоле были поставлены плеядой славных пленэристов в Париже. С ними ему удалось познакомиться лишь впоследствии, во время 3-его путешествия в главные центры Европы,[12] после которого он еще с большим великолепием смог давать яркость вибрирующе-

го света и чудесную игру рефлексов в тенях, возбуждая своими произведениями еще до того времени почти никем в России не испытанные зрительные художественные эмоции. В этом отношении тогда с ним рядом можно было лишь поставить Серова, которого К. К. очень любил, с которым он был связан впоследствии личной дружбой, и произведения которого очень высоко ценил. К. К., однако, никогда и впоследствии не подражал импрессионистам Запада, и даже резко отличался от них тем, что не ставил себе их излюбленных задач – передачу быстро проходящих мимолетных впечатлений и движений, и в отличие от них, всегда старался давать более доведенную и законченную форму, не ограничиваясь лишь передачей первого светового и цветового впечатления. Он большей частью подолгу создавал свои произведения и некоторые их них писал два или более трех летних сезона, совершенствуя их и усиливая в них художественную сущность. Так он, например, писал свои «Сирень»[13] и «Весной» с фигурой одинокого монаха на фоне монастыря.[14] Эти замечательные картины находятся теперь в одесских музеях. Все то, что открыл дорогой К. К. после 1891 года, то есть после того лета, которое я провел с ним в окрестностях Винницы, было уже создано на моих глазах, так как я стал часто бывать в его семье. Картины свои он писал, главным образом, двумя манерами: одна – о которой я говорил, о картине «Идиллия», то есть манерой этюдной, a la prima, без предварительной подмалевки, а другая – это по предварительной подмалевке, которую он заготовлял обыкновенно большею частью на … в зимнее время по этюдам и затем на лоне природы доводил их, наблюдая самую действительность.

Так … были написаны и его «Идиллия», и «Весна», и мн. др. Ведя свою работу два и более трех летних сезонов, он бесконечное число раз переписывал почти каждое место, то соскабливая, то накладывая слой на слой, но обладая изумительной техникой и чувством меры, произведения его, несмотря на это, никогда не носили характера вымученности, сухости, и были удивительно свежими и очаровательными в своей … исполнения. Он всегда говорил, что его влечет больше к писанию этюдов, когда он занят непосредственной передачей волновавших его в данный момент впечатлений, предпочитая их картинам, где ему приходится сум-



Слева направо: П.А. Нилус, Б.И. Эгиз, стоит Т.Я. Дворников, крайний справа В.Х. Заузе

мировать свои отдельные впечатления и многое дополнять интуитивным путем от себя. Интуиция и зрительная память у дорого учителя также были поразительно развиты, как, например, свои картины «Цветет акация»[15], «Сирень» и «Весной», где изображены быстро проходящие мимолетные виды, он писал в течение почти всего лета, когда уже от весны и помину не оставалось, продолжая наблюдать форму в природе и заканчивая их, дополняя наблюдения воображением. Но что бы он ни писал, он черпал непосредственно из своих наблюдений над природой, наблюдений длительных и глубоких, и непосредственно с натуры – вот чем можно объяснить то обстоятельство, что он не писал ни … ни капризного, часто сменяющегося моря, за не … исключением «штиль», ни гроз и т. д. По той же причине, вероятно, он не изображал и зимы, так как зиму он проводил в городе, и потому мало ее наблюдал. Он предпочитал живопись на лоне природы, или plan air, перед живописью в домашней обстановке, то есть une interieur'a. Им написано также несколько великолепных портретов по этюдам, но … его тоже меньше влекло. Часто говорил он, что после великих мастеров Возрождения, в особенности (он осо-

бенно любил) до Рафаэля (раннее Возрождение), (а также) интимную группу художников, так называемых барбизонцев – Коро, Добиньи, Диаза, Миле, Тройона и др., которые были ему особенно по душе, которые он копировал в прекрасном Кушелевском собрании картин, находящемся в залах академии.[16]

Любил он в них непосредственность, скромность в выборе задач, любовное отношение к природе, отсутствие напыщенности, хвастливости, крикливых эффектов и сухой фотографичной протокольности. И в нем самом, безусловно, можно отметить прекрасное сочетание любовно(го) искания формы и тона барбизонцев с использованием вибрирующего света воздуха импрессионистов в истории живописи в протяжении XIX века и интенсивного и яркого колорита неоимпрессионистов, более (позднего) времени. Он часто вспоминал также и те два лета, что он провел в Мариновке[17] еще до женитьбы, в имении художника Кузнецова в Херсонской губернии, где он и два брата Кузнецова очень дружно жили и работали, там был написан и портрет дочери дорогого К. К. Дмитрием Кузнецовым. Вспоминал он и о совместном рисовании в обществе художников Врубеля, Серова и Кузнецова в Одессе.[18] В последнее время краски на его картинах были особенно интенсивны и выразительны, и в этом отношении замечательны его картины «Цветет акация», «Симфония» и «Размолвка». Особенного внимания также заслуживают его великолепные эскизы и картины, между которых есть неоконченные … написанные на сюжеты из Евангелия – он был по природе религиозным человеком и в последние годы жизни с особенной любовью отдавался творчеству в религиозном духе.[19]

В 1910 году минуло 25 лет его художественной деятельности. Тогда буквально вся Одесса в течение стольких дней с гордостью поздравляла с этой победой своего любимца. Для одесских художников, обожавших своего дорого учителя, эти дни никогда не сотрутся в памяти. Это для нас были исключительно праздничные дни нашей жизни. Чествование было очень … дорогому юбиляру был оказан триумф, в котором принимала участие не только вся Одесса, но … и вся Россия. Во всех более или менее крупных органах печати появились прекрасные о нем отзывы с иллюстра-

циями его произведений и пожеланиями самых теплых (слов), и его портретами.

Со всех концов России были присланы приветственные телеграммы и письма, как от выдающихся художников, так и от других почитателей его таланта. Из полученных писем особенно выделялось письмо И.Е. Репина. Он писал: «От Ваших картин всегда веет теплотой, жизнью и красотой! Все, что Вы изображаете, полно прелести и технического очарования. С первого взгляда это скромное, бесконечно милое создание художника. Но стоит остановиться – и эта небольшая по обыкновению картина начинает увеличиваться в размере, расцветать в прелестных блестках колорита, и все пластичнее и пластичнее (становится) … форма. Вот лекарство! Стоит … радоваться (от того) созерцания природы и всей красоты, которую видит … художник!».

Дорогой К. Костанди не только в России, но и на Западе изумлял знатоков своей блестящей и в то же время утонченной техникой и колористическим дарованием. Он получил на Всемирной выставке в Париже медали.[20] Художник Дм. Кузнецов знавал, как в Париже были поражены тем, что в России такие тонкие художники, как К.К. Костанди, он тогда показал эскиз к его картине «Старички». Успех его был непередаваем… (Отличными) были и этюды, написанные им за два месяца до смерти в одесском санатории, – такие свежие, прекрасные и значительные, как и все то, что выходило из-под его мастерской кисти до сего времени. Уже ставшие самостоятельными в его указаниях и советах художниками мы всегда приходили (к нему) в студию. Дорогой К.К. Костанди, несмотря на свое исключительное дарование и свою известность, всегда благодаря своей скромности нуждался, и это заставляло его … перегружать себя уроками – кроме художественной академии он много времени уделял частным урокам и урокам в гимназиях, которые его особенно почитали. Много времени он уделял также художественной общественной работе, где он ыл незаменимым … Его всегда приглашали на такую работу, и он был одним из самых деятельных добросовестных участников всяких комиссий… Он был вдохновителем и учителем организации южнорусских художников, и очень любимым, и несменным председателем этого объединения. Три десятилетия чле-

ном Общества изящных искусств, членом передвижных выставок и также … музея.

Очень много времени ему приходилось уделять в заботах о своей многочисленной им любимой все испытавшей … семье своей. Если ко всему тому прибавить особенно тяжелые переживания его за последние годы (смерть сына в 1920 г. в Красной армии), то для нас станет понятным, почему ушел в вечность преждевременно этот великий человек, обладавший сильным от природы организмом и прекрасным здоровьем. При других обстоятельствах он мог бы еще многие годы жить среди нас и творить свои произведения. Перегруженный физическим трудом и моральными страданиями, он еще год тому назад серьезно захворал. По настоянию врачей и друзей он лето провел за городом и хорошо поправился, но возвратясь в город и опять попав в водоворот тяжелых условий жизни, он вскоре снова захворал, и на этот раз еще серьезнее. Силы его все убывали, страдания его были очень тяжелы – он задыхался и не находил себе места… В один раз предчувствуя свою близкую кончину, он, задыхаясь, с большими паузами начал мне … свою биографию с мытарства его юных лет и обещал продолжить в следующий раз, – но положение его настолько ухудшилось, что его из дому перевели в 4 клинику, и он больше к изложению не возвращался.

Через несколько месяцев, когда его перевели в санаторию, он почувствовал себя выздоровевшим и большим захватом энергии и жаждой к творчеству приступил к писанию этюдов. Я никогда не рассказывал одного из моих посещений К. К. в санатории, когда он меня радостно встретил, чувствовал себя здоровым, и мы отправились к обрыву, где он должен был продолжить начатый этюд. Вечер был чудесный, дорогой учитель писал этюд по предварительной живописи и выражал свои восторги по поводу часто меняющегося … освещения, окидывая своим взором весь городок вокруг. Он говорил, что следовало еще изобразить. Я ушел от него счастливым его выздоровлением и под впечатлением всего пережитого в этот вечер. Но улучшение его состояния длилось недолго, и следующие 3-4 недели он пребывал в санатории, и силы его стали убывать. Его снова уложили и запретили работать, но он все же украдкой делал наброски.

Предчувствуя свою близкую кончину, К. К. продолжал интересоваться всем, что делается, подробно меня обо всем и обо всех спрашивал … про семью … (текст неразборчив). … Он заботливо спрашивал об успехах его последних учеников… Я оповещал его… и давал мне некоторые указания по этому поводу. Очень интересовался своим любимым …еем, беспокоился о том, что благодаря неисправности стеклянной крыши и сильной течи могут пострадать художественные произведения, и так почти до последнего дня он был всем этим озадачен. Наконец последовал последний роковой день. У его постели кроме обожаемой им семьи были я и художник Стилиануди, и мы были свидетелями его самых последних страданий, начавшихся еще до нашего прихода и продолжавшихся при нас еще пять часов. Он со всеми нами прощался, несколько раз поцеловал каждого из нас и, мучаясь в тяжелейших удушьях, бросал на нас умоляющий взгляд об облегчении его страданий и ускорении кончины. И в 10 часов вечера 20 октября он почил вечным сном. Мир праху твоему, мой дорогой учитель и друг. Не стало Великого человека и в его лице искусство вообще, вся Россия, и в особенности Юг с Одессой во главе понесли невосполнимую и самую тяжелую утрату. Он здесь создал целую эпоху, до него … советом, а в настоящее время все профессора новой академии в Одессе и большинство местных, состоявших его бывшие ученики, кроме того, во всей России и на Западе немало его учеников, занимающих почетные места в мире искусства. До него в Одессе почти совсем отсутствовала … (не читаемо).

Примечания

[1] Одновременно поступали Н.А. Околович, Е.О. Буковецкий.

[2] Учились Бершадский, М.В. Бант, Браз, Т.Я. Дворников, Д.К. Крайнев.

[3] В 1890 г. поступали в Академию художеств Е.О. Буковецкий, Д.К. Крайнев, Н.Н. Лепетич, А.Н. Стилианути.

[4] См. ниже.

[5] О какой передвижной выставке в Одессе идет речь? И о каких первых «Гусях»? Первые картины «Гуси» и «Больная на даче» были показаны художником Костанди на 17 передвижной выставке ТПХВ в 1889 г. в Петербурге и в Москве. Х. м. Размеров в этом каталоге нет – по каталогу «Товарищество передвижных

художественных выставок. Обзоры выставок в периодической печати». Изд. «Искусство». М. 1959 г.

По книге «Товарищество передвижных художественных выставок. 1871-1923. Энциклопедия». СПб. «Оркестр». 2003 г. Ред. Г.Б. Романов – на 17 передвижной выставке были «Больная на даче». 1888. 34×42 (В каталоге произведений Киевского музея русского искусства, утраченных в годы войны 1941-1945 гг. Жив. Граф. Киев. 1994 г. упоминается картина «Последняя весна. Больная на даче», 1889 г., х. м., 33,5×42, и «Девочка с гусями», 1888. ГРМ. Д. м. 31,5×27. Поступила в 1913 г. от Н.П. Кондакова.

Может быть, речь идет о передвижных выставках ТЮРХ в 1891 г. Каталоги не найдены.

Что же это за «первые» «Гуси»? Художник В.С. Бальц утверждал, что «Гуси с девочкой» были написаны еще в 1886 г. и подарены Н.П. Кондакову, от которого перешли в Музей Александра III в Петербурге. Но семья Костанди говорит, что это совсем другие «Гуси» – с девочкой на лужайке, а не на холме.

П. Нилус в статье к 25-летнему юбилею педагогической деятельности К.К. Костанди пишет: «Приехав в Одессу в 85 году с подготовленными холстами в темной гамме, К. К. сначала пробует их закончить, но темные холсты скоро отворачиваются к стенке, и только много лет спустя они появляются на выставках. К этому времени относится первая заграничная поездка К. К-ча. Как бы отзвуком заграничного влияния появляется картина выздоравливающего в легких тонах (галерея Терещенко) (автор – Это картина «Больная на даче»). Год спустя К. К. уже нашел себя, и его 2 картины, изображающие гусей среди пейзажей в серой и золотистой тональностях, ему удаются удивительно». То есть в 1889 году уже, по словам Нилуса, было две картины с гусями.

Есть сведения в каталоге персональной выставки Костанди 1952 года: под № 33 «Гуси», 1886-1888. Этюд для картины 1886-1888 г. Х. на к. м. 12,8×8 см. Собств. М.К. Костанди. И другие «Гуси», 1886 г. (или 1888 г.), находящихся в Русском музее СПб, как пишет каталог персональной выставки Костанди, Одесса, 1924 г. Эти же сведения подтверждает в своих воспоминаниях М.К. Костанди.

[6] Село Мариновка – это Марьяновка рядом с селом Калиновка Коминтерновского района. У Лазурского – это место на берегу реки Буг.

[7] В экспозиции Одесского художественного музея это картина «На веранде». Упоминается в каталоге музея как «Семейная идиллия. Первенец», 1891 г., х. м., 58×62.

По книге А.Н. Шистера «К.К. Костанди» изд. «Художник РСФСР», 1975 г., – «Первенец (Семейная идиллия)», 1891. Д. м., 58×62, ОХМ. Была на XXI передвижной выставке ТПХВ в 1893 г.

В каталоге персональной выставки Костанди, Дворникова, Головкова. Киев, 1941 г., под № 24 упоминается «Семейная идиллия. На даче». 58×62, х. м., 1892 г.

В каталоге персональной выставки К.К. Костанди, Одесса, 1952 г., «Семейная идиллия». ОХМ. Х. м., 58×62, 1891.

В биографии Костанди, написанной В.Ф. Лазурским, находящейся в каталоге выставки «Художественное общество им. К.К. Костанди», 2003 г., упоминается «Семейная идиллия», 1891. Вариант был у Е.К. Костанди-Синицкой под названием «Семейная идиллия», 59×66, х. м., ныне в Национальном музее украинского искусства в Киеве.

[8] Скорее всего, это картина «На даче». Полдень, 1892 г., А.Н. Шистер, стр. 58, в которой раскрывается дар Костанди как колориста. Изображена дача в районе Большого Фонтана. Небольшой домик, крытый красной черепицей. К нему примыкает глинобитный сарайчик с саманной двускатной крышей, написанной в трепетных лилово-голубых тонах. Строения ограждены невысоким заборчиком. У приоткрытой калитки стоит освещенная солнцем девочка в красном платьице. На полянке в густой траве утопает детская коляска, за которой наблюдает, сидя на стуле, молодая женщина в серо-лиловой кофте и коричнево-серой юбке.

[9] По каталогу выставки «Картины о жизни. Русская живопись середины XIX – начала XX века из частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга». Русский музей, 2007 г. Это картина К. Костанди «Варят варенье», 1891, х. на д. м. 40×46,5. Сл. вн.: К. Костанди, 1891. Частное собрание, Москва.

[10] В Эрмитаже Костанди выполнил копию портрета Е. Фоурмен кисти Тициана. По Акту № 16 от 24 сентября 1938 г. – копия с портрета Е. Фоурмен, х. м., 89×76, выполненная Костанди, куплена у Е. Буковецкого для ОМЗВИ за 750 р.

[11] По каталогу персональной выставки К.К. Костанди 1941 г. картины «У больного товарища», «Свидание», «В люди» упоминаются как первые его картины.

Далее из каталога выставки Общества им. Костанди 2003 г.: «Проводя лето Псковской губернии, записывая этюды пейзажей, он задумал большую картину «Свидание». Сюжет картины опять в духе передвижников, на это раз в направлении народническом. На пригорке у лесочка сидит деревенская девушка. У ног ее лежит парень. Оба смущены. Это любовное свидание. Костанди работал над картиной два лета (1883-1884 гг.). Этюды девушки, парня и окружающего пейзажа писались целиком с натуры… Картина «Свидание» была закончена осенью уже в Петербурге. Это одно из самых больших полотен Костанди. Уроженец Юга, он чутко понял особенности северного неба и северного пейзажа. На выставке передвижников «Свидание» резко выделялось свежестью и сильной передачей солнечного света среди тусклых передвижнических картин. Прекрасная эта картина переходила из рук в руки частных владельцев и вывезена теперь за границу».

[12] В 1900 г. Костанди поехал вместе с Головковым, Стилиануди и Эгизом в Вену, Мюнхен, Швейцарию, Париж – по тексту биографии К. К., составленной В.Ф. Лазурским.

[13] «Сирень». 1902 г.

В каталоге 1924 № 152 – «Цветущая сирень».

В каталоге 1941 № 39 – «Сирень», 1902 г. Д., м., 69×92 Спр. вн.: К. Костанди 1902.

В каталоге музея – «Цветущая сирень», 1902. Д., м., 70,5×93 Спр. вн.: К. Костанди 1902. Приобретена Одесской городской думой для Музея изящных искусств. 1903.

В НХМУ этюд для этой картины – «Сиренью» Д. м, 17,5×20,7. Спр. вн.: К. Костанди. Пост. в 1968 г. от Б.М. Васильева (Ленинград).

Лазурский пишет: «Монастырский пейзаж (семья Костанди жила на даче по Цыганской улице, что ведет в поле с базара 16 станции Большого Фонтана, в 1892, 1895) лег в основу картины «Цветет сирень» 1902, которая теперь особенно привлекает внимание публики, посещающей музей».

Из книги «Воспоминания об отце» Михаил Кириакович Костанди …повторение картины «Сирень» было выполнено Костанди по просьбе подруги детских лет своей жены С. Бохановой.

[14] Речь идет о картине «Монах», написанной в последние 10-12 лет жизни художника (галерея Руссова), по статье П. Нилуса, 1910 г. Это «Ранняя весна», 1915 г. Д. м., 44,8×53,6. Спр. вн.: К. Костанди. Повторение. 1915. ОХМ.

[15] «Цветет акация» по каталогу персональной выставки Костанди 1952 г. Х. м., 64×85,5, 1912. Как пишет Лазурский: «…Эта вещь осталась непроданной. Быть может, сюжет ее показался публике слишком простым: справа дерево цветущей акации, вдали виднеются дачи в зелени, на лужайке небольшие фигурки играющих детей, мальчика и девочки. Костанди упорно работал над этой картиной, первый раз сделал ее темперой, второй – маслом. Художники очень высоко ценят «Цветущую акацию», написанную во вкусе импрессиониста Клода Моне; в ней поражают обилие воздуха и света, красивые пятна, нежность тонов».

[16] Кушелевская галерея – галерея картин западноевропейской живописи (до Окт. рев.). Согласно завещанию графа Н.А. Кушелева-Безбородько, галерея поступила в Академию художеств в 1862 г.

[17] См. примеч. 6.

[18] В 1885 – эту дату мы можем найти в книге В.С. Серова «Как рос мой сын». Ред. И.С. Зильберштейн. Л., 1968, стр. 228.

Ул. Софиевская, дом 18, – это мастерская, которую снимали художники в доме Эдуардса.

[19] Одесса. Акт от 16 июля 1926 г. Приняты из церкви военного училища в ОМЗВИ иконы, написанные К.К. Костанди: «Благовещенье», х. м, 155×133; «Вознесение», х. м., 125×158; «Успение», х. м., 157×34; передал ответственный религиозных общин города. Есть о «Благовещенье» после Великой Отечественной войны: по акту № 33 от 9 декабря 1945 г. в ОМЗВИ обнаружена картина «Благовещенье», х. м., 133×157. ОМЗВИ, Инв. кн. № 9, русское искусство и русская живопись. РЖ-6, картина «Благовещенье» в 1960 г. передана в Донецкий худ. музей. Там значится с размерами 133×158. Ж-328, КП-624.

[20] «Старички», 1891 г. Д., м., 27×42. Спр. вн.: К. Костанди 1891 г. Согласно каталогу собрания Киевского Национального музея, была на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. и награждена медалью. Далее мнения расходятся: В.А. Афанасьев упоминает работу «Ранняя весна» без даты; А.Н. Шистер – «Ранняя весна», 1896 г., В.Ф. Лазурский – «Идущий монах», и картина награждена большой бронзовой медалью.

Публикация и комментарии Марины Верховецкой

Наши предшественники

326 Татьяна Щурова
«Театр – огромная цивилизующая сила…»

Татьяна Щурова

«Театр – огромная цивилизующая сила...»

Одесситы понимали это еще в начале XX века. Свидетельство тому, например, ежедневная газета «Театральные отголоски», посвященная театру, литературе и искусству, с программами и либретто. Выходила она в Одессе в 1910 году совсем недолго – с 19-го февраля по 4-е апреля.

Энтузиаст редактор-издатель Бер Шрайбер, будучи присяжным поверенным, сумел подготовить и выпустить 21 номер издания, затрагивавшего актуальные вопросы театральной жизни, рекламировавшего репертуар местных театров, концерты и спектакли приезжих музыкантов и мастеров сцены.

Как часто бывало, имелся у редактора и свой интерес – познакомить читателей с собственным опусом. Действительно, пьеса о погромах «Под стягом Мойсея» печаталась в газете с продолжением в нескольких номерах. Еврейская тема звучала также в публикациях о театре Переца Гиршбейна «Гармония» (работал в Одессе в 1908-1910 гг.). В то время труппа уезжала из города, находясь в кризисе, ибо «убийственный индиферентизм многочисленных еврейских обществ» не оценил молодого талантливого поэта и драматурга, переполненного мистико-символистскими идеями. В Одессе традиционно предпочитали буффонаду и прочие легкие жанры.

Литературоведам будет, вероятно, любопытно познакомиться с переводом Марка Талова «Песни Галеви» Х. Бялика, фельетоном Шолом-Алейхема «Некому смеяться!», где он размышляет о достоинстве и горечи своей национальности; привлекает внимание большой материал на два номера газеты, посвященный подробному разбору пьесы С. Юшкевича «Комедия брака». Пьеса вызвала страстные споры, делала полные сборы, то есть была «той типичной новин-

Приложеніе къ №. 1.

„Театральные Отголоски“.

Программы и либретто.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.

Въ пятницу 19-го Февраля

Въ пользу общества взаимнаго вспомоществованія учителей евреевъ Новороссійскаго края

представлено будетъ:

въ 4-й разъ А. Н. ОСТРОВСКІЙ:

СНѢГУРОЧКА

Весенняя сказка въ 4-хъ дѣйствіяхъ съ прологомъ.

Дѣйствующія лица:

Весна-Красна . . г-жа Юрьева
Дѣдъ-Морозъ . . г-нъ Николаевъ
Дѣвушка-Снѣгурочка . . . г-жа Юреневa
Лѣшій . . . г. Константиновъ
Царь Берендей г-нъ Валуа
Бермята, ближній боярин . . г-нъ Степановъ
Елена Прекрасная, его жена г-жа Рахманова
Мизгирь, торговый гость изъ посада Берендеева . . . г-нъ Радинъ
Мурашъ, богатый слобожанинъ . г-нъ Ячменевъ
Купава, его дочь г-жа Лисенко
Лель, Пастухъ г-жа Коллинъ 1-я
Бобыль-Вакула , г-нъ Кручининъ
Бобылиха, его жена г. Мельникова
Радуша) слоб. дѣв. г. Мансветова
Малуша) г. Заварова
Брусило) г. Юреневъ
Малышъ) парни г. Нелиновъ
Курилко) г. Борушкій
1-й бирючъ . . г. Шелестовъ
2-й бирючъ . . г. Филоновъ
1-й шутъ . . . г. Ильиновъ
2-й шутъ . . г. Соколовъ

Танцы поставлены балетм.
К. Д. Казимировымъ
Капельм. І. В. Прибикъ
Хоры разучены г. Немировскимъ
Постановка Н. Н. Синельниковa

СНѢГУРОЧКА. Прологъ. *Начало весны.* У Мороза и Весны дочь Снѣгурочка. Весна проситъ у Мороза отдать ей Снѣгурочку; Морозъ предупреждаетъ ее, что лишь только Ярило, богъ солнца, коснется сердца дочери, она растаетъ. Родители рѣшаютъ отдать ее на воспитаніе бобылю и бобылихѣ. Д. I. *Бобыльи избы.* У бобыля Мизгирь женится на Купавѣ. Мизгирь отказывается, за что царь отправляетъ его въ ссылку; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ объщаетъ награду тому, кому удастся увлечь Снѣгурочку; сдѣлать это берутся Лель и Мизгирь, которому для этой цѣли отсрочивается ссылка. Д. II. *Поляна.* Снѣгурочкѣ нравится пастушокъ, но онъ предпочитаетъ Купаву. Мизгирь, отвергнутый Снѣгурочкой, хочетъ силой взять ее, но отъ насилія ее защищаетъ Лѣшій. Объясненіе Леля и Купавы подслушиваетъ Снѣгурочка и, убѣдившись, что вся бѣда ея произошла оттого, что въ ея сердцѣ нѣтъ теплоты, убѣгаетъ къ своей матери-Веснѣ и проситъ сердечнаго огня. Д. IV. *Ярилина Долина.* Весна даетъ своей дочери вѣнокъ, талисманъ дѣвичьей любви. Снѣгурочка получаетъ способность любить. Мать ее предупреждаетъ чтобы она свою любовь скрывала отъ Ярилы, бога солнца, иначе она растаетъ. Снѣгурочка влюбляется въ Мизгиря и бросается къ нему въ объятія. Царь благословляетъ женихова и невѣсту. За благословленіемъ поѣхалъ и Мизгирь со Снѣгурочкой, но солнце озаритъ ее своими лучами и она таетъ. Мизгирь бросается въ озеро.

Театръ СИБИРЯКОВА

Русская оперетта М. П. Ливского

въ пятницу 19-го февраля

Бенефисъ А. Г. Германа

представлено будетъ:

Тайны нашего города

(Обозрѣніе).

Оперетта въ 3-хъ дѣйств., соч. В. Валентинова.

Дѣйствующія лица:

Капустинъ, капитанъ парохода . . . г. Дѣлоровъ
Фроловъ, его помощ. г. Гальбиновъ
Луша, горничная на пароходѣ . . . г. Миловидова
Тифтеля, попѣщикъ г. Медвѣдевъ
Марія Кузминишна, его жена . . г. Гамалѣя
Надя, ихъ дочь . г. Сара Лиръ
Державинъ, артистка г. Грановская
Элизъ, ея компан. г. Эрлеръ
Зильберландель комиссіонеръ . . г. Германъ
Татариновъ, путеш. на парох. для удов. г. Елисаветскій
Брошка отставной полковникъ . . . г. Глумовъ
Переплетъ . . г. Миловидова
Мельничная ул. . г-жа Эрлеръ
Горожане, матросы, пассажиры, посѣтители, гости и народъ.

Главн. режис. М. И. Кригеръ.
Гл. капельм. Г. И. Зельцеръ.
Начало въ 8 час. вечера.

Театръ „ГАРМОНІЯ“

Нѣмецко-Еврейскій драм. театръ товарищества артистовъ

въ пятницу 19-го февраля

представлено будетъ:

ВЪ ГОРОДѢ

(IN STADT).

Драма въ 4 д. перев. В. Зильберберга.

Дѣйствующія лица:

Гланцъ, 50 лѣтъ . . г. Зильбербергъ
Дина, его жена 38 л. г. Нюми
Соня, 21 г. | ихъ дѣти г. Дальская
Эва, 18 л. | г. Орловская
Дѣдъ, отецъ Гланца, глуховатъ . . . г. Аншинъ
Бобикъ, 25 л., учитель изъ самоучекъ . г. Бенъ-Ами
Арнъ, 25 лѣтъ . . г. Баскинъ въ
Беръ, 45 лѣтъ . . г. Бутнеръ
Элька, 18 лѣтъ г-жа Эстринъ
Машка, старуха г-жа Дунская

Дѣйствіе происходитъ въ большомъ городѣ.

Постановка Я. Бенъ Ами.

Начало въ 8½ час. вечера.

Въ антрактахъ играетъ салонный струнный оркестръ подъ управленіемъ Подлубнаго.

Въ субботу 20 го февраля

ДНѢМЪ

представлено будетъ:

САТАНА

(Der Satan).

Драма въ 4-хъ д. и 6-ти карт. съ прологомъ.—Як. ГОРДИНА.

Дѣйствующія лица

Гертезе Дубровскій, писецъ Тор... г. Зильбербергъ
Несевио, его жена г. Нюми
Фрейденъ,) ихъ г. Дальская
Цицеро, (дѣти г. Орловская
Дейзеръ-батюшка, отецъ Гертезе г. Бутнеръ
Канцель Драхме, судья г. Гласкій

кой, которая заставляет о себе говорить всех и каждого». Похоже, талантливому бытописателю удалось схватить и скопировать отдельные узнаваемые мелочи действительности и сделать «удобопонятную, доступную» бытовую пьесу.

«Театральные отголоски» много внимания уделяли кончине великой актрисы В.Ф. Комиссаржевской, предстоящей постановке «Гамлета» в московском Художественном театре английским режиссером Гордоном Крэгом, гастролям в Одессе известных драматических артистов Николая Радина и Веры Юреневой, а также талантливого 12-летнего пианиста Яши Спиваковского.

Очень актуально звучит материал о кризисе итальянского оперного театра «La Scala». В то время тоже поднимался вопрос о самоокупаемости театра, хотя и тогда, и сейчас театры, музеи и библиотеки могут существовать лишь при субсидии местной думы или же взносов меценатов. Сто лет оказалось мало, чтобы доказать эту истину, увы…

Газета пыталась затронуть актуальные вопросы жизни театра. Речь шла об актерской необеспеченности, взаимоотношениях артиста и рецензента, бедах актерского рынка и невозможности объединения господ артистов в одно общество (со временем все же удалось создать Союз театральных деятелей, но это случилось много позже). Дискутировалась проблема проведения бенефисов, ибо они являются «материальной подачкой, в этом есть что-то принижающее актера. Если же смотреть на бенефис как на специальные смотрины артистического дарования, то это еще обиднее…». Спорный тезис, но любопытно.

На страницах «Театральных отголосков» можно найти немало забавных актерских баек и в то же время романтическую малоизвестную миниатюру Максима Горького «Перед лицом жизни».

Необходимость издания в Одессе театральной газеты была подтверждена в дальнейшем изданием «Обозрения одесских театров» (1911-1917). Этому изданию удалось продержаться вплоть до Октябрьской революции.

На смерть Коммиссаржевской.

* * *

Угасъ твой духъ, горѣвшій
яркимъ пламенемъ,
Нетлѣннымъ пламенемъ,
нѣжнѣйшей красоты:
Все озарявшій творческимъ сіяніемъ
несозданной мечты.
Какъ молнія,
сверкала ты средь тучъ,
И молніей ты души обжигала;
Блисталъ алмазный
многогранный лучъ
Огнемъ тончайшаго кристалла.
Ты жизнь умѣла
въ сказку претворить,
Зажечь тоской
и опалить страданьемъ,
Въ безгранной вѣчности
сверкая будутъ жить
Твои созданья!



* * *

Къ чему слова, рыданья, слезы!
Холодный ужасъ... тишь могилы...
Погибъ цвѣтокъ тончайшей грезы,
Погибли творческія силы!
Нѣтъ словъ, не вырвется рыданье.
Уста нѣмы въ глухой печали.
Какъ камень пало въ грудь страданье;
Какъ камень въ сердце
слезы пали.

Нѣтъ словъ!.. угасла ты въ сіяньи,
Погибъ цвѣтокъ
тончайшей грезы
Сгорѣла въ творческомъ исканьи:
Къ чему слова, рыданья, слезы!
Холодный ужасъ... мракъ могилы.
Угасъ твой духъ, погибли силы...

С.Д. Полевая.

Бенефисъ г. Гаевскаго.



Режиссеръ Городского театра Г. П. Гаевскій.

Прекрасная, волшебная, чарующая обстановка. Переливы загадочнаго свѣта. Старый рыцарскій замокъ, синія воды озера – все красиво, все поэтично! Тонкое искусство г. Гаевскаго проявилось во всемъ великолѣпіи, но... странно сказать: дѣйствующія лица мѣшали сказочному впечатлѣнію. Они были сдѣланы, вклеены. Они не играли, они декламировали, и, читая стихи, забывали о дѣйствіи. Приходитъ посолъ короля къ плачущей, страдающей Эленъ и деревяннымъ голосомъ, стоя неподвижно, какъ манекенъ, передаетъ свое порученіе. Невольно хочется сказать ему: «уйди, не мѣшай чудному впечатлѣнію». Глаза вчера отдыхали и наслаждались, взоръ, какъ-бы купался въ прелестныхъ мягкихъ сочетаніяхъ, но слухъ страдалъ: не было тѣхъ тонкихъ, нѣжныхъ переливовъ тона, той дымки, какая нужна для сказки, были обыкновенные житейскіе, грубые голоса и жесты обыденности – и страннымъ казалось, къ чему здѣсь бумажныя короны. Дѣйствующія лица производили впечатлѣніе переряженныхъ для маскараднаго праздника.

Мнимо-мертвая дѣвушка оживаетъ (между прочимъ, невѣдомо почему) и король, который долженъ быть въ высшей степени потрясенъ, произноситъ чуть-ли не механическіе заученные стихи. Становится больно и досадно.

Рыцарь Ланчелотъ, причина трагической смерти дѣвушки, умирающей отъ нераздѣленной имъ любви, такъ-же механически читаетъ ей стихи, которые должны напутствовать ее въ вѣчность – онъ будто повторяетъ урокъ въ этой пьесѣ, пришитой не бѣлыми, а скорѣе сѣрыми нитками къ сказкѣ – и и все сказочное кромѣ обстановки, испаряется какъ жемчужныя росы въ лучахъ солнца. Жаль огромныхъ трудовъ г. Гаевскаго Можно ему принести лишь благодарность за то наслажденіе, какое являла сцена восхищенному взору и пожелать ему приложить свой талантъ, свою энергію и тонкій вкусъ къ болѣе достойному серьезному матеріалу.

С.Д. Полевая





Директоръ Театра

Ѳ. И. Островскій



Къ предстоящему БЕНЕФИСУ
25 Февраля с. г.

Снизу вверхъ: М.М. Петипа, В.М. Петипа,
Н.М. Радин, Марій Петипа
Одесскій городской театръ. 1910

Маститый юбиляръ.

Ивану Петровичу Сидорову сильно не повезло въ гор. N.

Что ни спектакль съ его участіемъ, г.г. рецензенты такъ и набрасывались на бѣднаго Ивана Петровича, точно онъ паклю на сценѣ глоталъ или премьершу зарѣзалъ...

А вѣдь онъ, Иванъ Петровичъ, слава тебѣ Господи, третій десятокъ актеромъ служитъ и игралъ онъ не то что съ Петромъ Петровичемъ, а съ самымъ Варламовымъ! Да-съ!.. Даже нѣкоторыя свои роли онъ играетъ «по-Варламовски».

И вдругъ какіе-то мальчишки вздумали его учить!

Ну, учи, отчего же нѣтъ! Но утверждать, чго онъ, Иванъ Петровичъ Сидоровъ, безпомощно и умоляюще глядитъ на суфлерскую будку и что его «Фамусовъ» похожъ на квартальнаго!? Въ то время, когда самь Владимиръ Николаевичъ Давыдовъ сказалъ, что...

Напрасно горячился и доказывалъ всѣмъ Иванъ Петровичъ, что къ нему придираются, что его не понимаютъ... Эго никого не убѣждало, напротивъ, всѣ исподтишка хихикали, по одиночкѣ улетучиваясь изъ уборной Сидорова.

– Какого рожна «имъ» отъ меня нужно? – волновался и недоумѣвалъ Иванъ Петровичъ.

– А вы бы съѣздили, попросили, поужиналп бы кое съ кѣмъ разочекъ, другой... Хотите, мы васъ сведемъ съ ними, – предлагали свои услуги опытные по этой части «любовникъ» и артистъ на амплуа «благородныхъ отцовъ», считавшіе своимъ долгомъ почти ежедневно поужинать или съ театральнымъ репортеромъ, или съ женой двоюроднаго брата секретаря редакціи или съ тещей злободневнаго фельетониста Пелагеей Сидоровной...

– Нѣтъ ужъ, знаю я за что они меня, – съ какой-то таинственностью отвѣчалъ Иванъ Петровичъ, – ничего, я найду другое средство заставить ихъ цѣнить истинные таланты!

Иванъ Петровичъ, увѣрявшій всѣхъ въ театрѣ, что онъ «изъ принципа» никогда газетъ не читаетъ, на самомъ дѣлѣ выписывалъ всѣ мѣстныя газеты, ничего другого не читалъ, кромѣ отдѣла «Театръ и Музыка».

А г.г. рецензенты при всемъ желаніи найти хоть черточку таланта, артистичности въ игрѣ г. Сидорова – не могли этого сдѣлать и «друзья» каждое утро съ особеннымъ удовольствіемъ докладывали маститому Ивану Петровичу про его громкую славу и лестные о немъ отзывы въ этомъ проклятомъ отдѣлѣ «Т. и М.».

Иванъ Петровичъ въ такихъ случаяхъ отходилъ, фыркая и бормоча себѣ подъ носъ:

– Ну, ладно!.. Посмотримъ, ктокого!..

Но тутъ же, успокоившись, не такъ ужъ гнѣвно продолжалъ:

– Ругни-разъ, ругни-два, но до безчувствія, – нѣтъ, шалишь!..

Шли недѣли, а объ Иванѣ Петровичѣ ни одного еще хорошаго слова не написали.

Въ одно прекрасное утро, послѣ жестокой рецензіи, Иванъ Петровичъ рѣшилъ положить конецъ этой «травлѣ», начавшей не на шутку угрожать его положенію, а главное – жалованью.

Въ глубокой думѣ зашагалъ по своей комнатѣ и вдругъ остановился, сжавъ губы и кулаки. Казалось Иванъ Петровичъ всѣхъ «проклятыхъ рецензентовъ» вызывалъ на поединокъ. Правую руку протянулъ онъ впередъ, точно цѣлясь въ мишень и съ тѣмъ же мрачнымъ выраженіемъ отпилъ изъ бутылки чуть ли не половину.

А не объявить ли себя юбиляромъ?! Что скажете теперь, будете вы и юбиляра ругать, – дудки-съ, рука не подымется.

Эврика! крякнулъ и торжественно рѣшилъ Иванъ Петровичъ.

Рѣшилъ и тутъ же самъ себя предъ зеркаломъ и поздравилъ:

– Поздравляю васъ, Иванъ Петровичъ, и отъ души желаю вамъ отпраздновать... какой же по счету?.. да, 30 лѣтній юбилей! Какъ-то уваженія больше...



Программы и либретто.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.

Сегодня 26 февраля

утромъ

представленіе будетъ

„Цезарь и Клеопатра"

Петерб. комедія въ 5 д., 8 картинахъ, соч. Бернарда Шоу, пер. В. Бескина и Лебедева.

Дѣйствующія лица:

Юлій Цезарь . . г. Радинъ
Клеопатра . . . г. Шухмина
Птоломей . . . г. Соколова
Руфіонъ . . . г. Орскій
Британнъ . . . г. Кручининъ
Люцій Септимій . г. Николаевъ
Аполлодоръ . . г. Ячменевъ
Потинъ. . . . г. Юреневъ
Теодотъ . . . г. Шелестовъ
Ахиллъ. . . . г. Вершининъ
Фетатита . . . г. Колзинъ
Бальзанеръ . . . г. Филоновъ
Персъ . . . . г. Смирновъ
Бель-Аффрисъ . г. Соколовъ
Ирасъ . . . . г. Незнановъ
Гарміанъ . . . г. Мочаровъ
Центуріонъ . . г. Константиновъ
Отрокъ нубіецъ г. Гремитъ
Музыкантъ . . г. Борухіи

Постановка Г. П. Гаевскаго.

Вечеромъ

бенефисъ В. Л. ЮРЕНЕВОЙ

представленіе будетъ

НОРА

(КУКОЛЬНЫЙ ДОМЪ)

Драма въ 3 дѣйствіяхъ Г. Ибсена

Дѣйствующія лица:

Адвокатъ Гельмиръ . . . г-нъ Радинъ
Нора, его жена . г-жа Юренева
Докторъ Ранкъ . г-нъ Орскій
Фру Линде . . г-жа Колзина
Частный повѣренный Гюнстандъ г-нъ Дмитріевъ
Анна-Марія, нянька . . . . г-жа Болгина
Служанка въ домѣ у Гельмаръ г-жа Болгина
Посыльный . г-жа Обстрахъ
Постановка *И. И.* Самойленкова.

Начало въ 8 час. вечера.

Нора. (Кукольный домъ) Нора замужемъ за адвокатомъ Гельмаромъ уже восемь лѣтъ. У нихъ—трое дѣтей. Мужъ ее любитъ, холитъ и нѣжитъ, какъ ребенка. Сама Нора—милое, наивное существо. Вскорѣ послѣ свадьбы, когда Гельмаръ былъ опасно боленъ, а денегъ у нихъ не было, Нора, чтобы спасти любимаго мужа, совершила подлогъ: она поддѣлала подпись своего отца и заняла подъ вексель деньги, на которыя повезла мужа заграницу. Съ тѣхъ поръ она втайнѣ отъ мужа выплачиваетъ изъ сбереженій по хозяйству проценты и погашаетъ по долгу. Это „дѣло" она считаетъ своею „гордостью" и увѣрена, что Гельмаръ, когда узнаетъ, оцѣнитъ ея самоотверженное и любовь.

Это не былъ бредъ сумасшедшаго. Иванъ Петровичъ рѣшилъ объявить себя маститымъ юбиляромъ, забывъ, что еще сезона три назадъ въ Тирасполѣ, затѣмъ въ Кременчугѣ онъ уже отпраздновалъ 35 лѣтній.

Иванъ Петровичъ по опыту зналъ, что юбилей есть разрѣшеніе отъ грѣховъ и во всякомъ случаѣ средство, смягчающее и не безприбыльное.

И онъ не ошибался.

Осторожно самъ распустивъ слухи о своемъ юбилеѣ и попросивъ коекого лично и чрезъ посредство «любовника» и «благородиаго отца» – за-

кадычныхъ пріятелей всѣхъ нужныхъ и ненужныхъ критиковъ, Иванъ Петровичъ сталъ встрѣчать въ отдѣлѣ «Театръ и Музыка» краткія, но весьма сочувственныя свѣдѣнія «о предстоящемъ юбилеѣ Сидорова, отдавшаго сценѣ лучшіе годы своей... многострадальной жизни».

– Проклятые! Не могутъ «они» обойтись безъ иголочки, – ну, спрашивается, зачѣмъ это словечко «многострадальной»?

А все же Ивана Петровича оставили въ покоѣ.

Къ юбилею Иванъ Петровичъ впервые быть можетъ выучилъ роль, старался играть Расплюева «по-Давыдовски» и даже получилъ нѣсколько подарковъ, но отъ одного какого-то зоила... халатъ и туфли.

Послѣ юбилея Ивана Петровича г.г. рецензенты окончательно забыли, точно онъ не въ труппѣ, а въ архивѣ служилъ.

Не оставлялъ его только надоѣдливый суфлеръ Монопольцевъ, живой свидѣтель его многократныхъ юбилеевъ, называвшій Ивана Петровича не иначе, какъ «маститый» и «юбиляръ».

– Эй ты, юбиляръ, у меня въ горлѣ что то свербитъ... Иванъ Петровичъ не отказывалъ ему и тѣмъ спасался.

Ал. Восходовъ.

Искры.

«Артистка Зарайская исцарапала лицо артистки Жвирблинъ, а Гусачевъ обозвалъ ее торговкой».

Изъ газетъ.

Въ актерскомъ мірѣ неспокойно.

За кулисами дерутся...

Актеры отпускаютъ другъ другу грубыя «любезности», уснащаютъ свои рѣчи отборными словечками, свободно манипулируютъ по физіономіямъ своихъ товарищей...

Скажутъ, что все это естественно, обыденно, въ порядкѣ вещей.

Актерскій міръ, скажутъ, не есть нѣчто особенное, оторванное отъ общества, «человѣческое содружество», а часть цѣлаго, мірокъ, связанный видимыми и прочными узами съ общественной организаціей.

Въ обществѣ дерутся, и вь актерскомъ мірѣ не все можеть быть благополучно.

Вь обществѣ – обычное явленіе – игра подвижными пальцами по лице-

вой мускулатурѣ – и въ закулисной средѣ можетъ быть то же самое...

* * *

О, далеко нѣтъ!

Міръ артистическій – это міръ высшихъ задач, міръ окрыленныхъ фантазій, высокихъ образцовъ моральныхъ ученій, міръ благороднѣйшихъ усилій, направленныхъ ко благу человѣчества...

Культура въ лицѣ актеровъ имѣетъ вѣрныхъ, одухотворенныхъ жрецовъ...

За утопающей въ цвѣтахъ общественнаго благоволенія актерской колесницей бѣгутъ, едва переводя духъ, тѣ самые, которые въ пароксизмѣ восторженнаго поклоненія осыпали колесницу цвѣтами, увлажнили ея помостъ слезами безмѣрнаго восхищенія...

Къ сценической трибунѣ прикованы тысячи горящихъ взоровъ, въ которыхъ перебѣгаютъ волны смѣняющихся настроеній...

Низменное, тривіальное, пошлое и безмѣрно жестокое тщится уловить чуткое сердце зрителя, а нѣчто высокое, окрыляющее духъ, успокаивающее взбудораженную совѣсть, сулящее перспективы радужнаго будущаго...

И выростаетъ въ глазахъ зрителя актеръ въ фигуру колоссальную, таящую въ себѣ могучій символъ любви и благородства..

И рвется къ нему сердце, преисполненное чувства благоговѣнія, и несется къ нему обостренная мысль, и тянутся къ нему молитвенно руки...

И вдругъ...

* * *

Нѣтъ, г.г. актеры!

Не сбрасывайте съ себя волшебнаго покрова вѣчной красоты сценическихъ идеаловъ!

Живите и въ жизни, обыденной, тяжелой, кошмарной, отраженіями тѣхъ высокихъ задач, какія бросила на ваши плечи милость Провидѣнія!..

Смягча те суровыя контуры нашего повседневнаго существованія, бросая въ пропасть жизни, въ ея темныя закоулки снопы животворящаго свѣта...

Пусть актеръ останется въ душѣ восхищеннаго зрителя тѣмъ полубогомъ, которому еще въ древности воздавали неземныя почести...

Пусть проповѣдь любви и мира отдаетъ подчасъ ходульностью, Чайльдъ-Гарольдизмомъ, пусть сквозь красивыя одежды идеальнаго настроенія проглядываетъ лоскутъ земныхъ вожделѣній... Пусть!..

Міръ земныхъ отношеній нуждается въ покровѣ идеализма...

Не сходите же со сценическихъ подмостковъ въ омутъ обывательщины, не срывайте съ себя мишурныхъ одеждъ, не замѣняйте бряцанія кимваловъ вульгарнымъ крикомъ толпы...

Дайте намъ сказки и только сказки, красивыя, яркія, вдохновляющія!..

Неизвѣстный.

Изъ копилки моихъ разсказовъ.

Трагикъ.

Въ провинціальный городъ пріѣхалъ трагикъ шестидесятыхъ годовъ. Одинъ изъ тѣхъ, которые пѣшкомъ ходятъ «изъ Вологды въ Керчь», счастливые сознаніемъ, что «самъ Рыбаковъ» ихъ одобрилъ. Высокаго роста, богатырская грудь, голосъ въ родѣ «алгалантьерской трубы» и шевелюра ála Муромскій лѣсъ даетъ литературный вечеръ. До выхода на эстраду отправился въ буфетъ, чтобы набраться «таланта». И набрался. Выраженіе лица бенгальскаго тигра, завидѣвшаго жертву. Читаетъ некрасовское «У параднаго подъѣзда». Въ рукахъ книга. Походка не твердая, голосъ звѣриный, жесты широкіе, внушительные, плавность рѣчи – колебаніе почвы во время землетрясенія... Читаетъ.

– Вотъ...

Откашливается... Хочетъ вновь начать, но кашель начинаетъ его душить... Онъ напрягаетъ усилія, чтобъ извергнуть изъ горла застрявшую флегму, багровѣетъ, вздрагиваетъ всѣмъ своимъ тѣломъ, выбрасываетъ съ силой правую руку впередъ... Кашель постепенно проходитъ, становится похожимъ на легкое рычаніе цѣпной собаки... Выпаливаетъ:

– Вотъ... парадный подъѣздъ...
По торжественнымъ днямъ
Одержимый холопскимъ
недугомъ,
Цѣлый городъ
съ какимъ-то испугомъ
подъѣзжаетъ...

Умолкаетъ съ выраженіемъ застывшаго изумленія на лицѣ...

– Подъѣзжаетъ... Подъѣзжаетъ...

Бормочетъ про себя, опустивъ лохматую голову и вперивъ туманный взоръ въ одну точку...

– Подъѣзжаетъ...

Щелкаетъ пальцами, словно обрадовался, что припомнилъ. Начинаетъ скороговоркой и весело...

– Вотъ парадный подъѣздъ...



По торжественнымъ днямъ
Одержимый холопскимъ
недугомъ,
Цѣлый городъ
съ какимъ-то испугомъ
подъѣзжаетъ...

Взглядъ, полный растерянности, недоумѣнія...

– Подъѣзжаетъ...

Открываетъ книгу, нерелистываетъ страницы... Лицо его освѣщается виноватой улыбкой...

– Виноватъ... Не тотъ томъ захватилъ.

Ковыляя ногой, уходитъ...

Чтецъ.



Миніатюры Петера Альтенберга.

I.
Онъ и она.

Онъ былъ безъ нея въ «Moulin-Rouge», увеселительномъ заведеніи въ Пратерѣ. Онъ оставилъ ее дома въ слезахъ.

Громадный искусственный прудъ вносилъ влагу и прохладу въ жаркій залъ, въ которомъ красавицы-танцовщицы, русскія и испанки, не скупились на прекрасныя движенія. Кругомъ въ сотнѣ низкихъ ложъ, сидѣли кавалеры со своими богато разодѣтыми дамами, женами, подругами и такими, съ которыми невозможны человѣческія отношенія, хотя онѣ чарующе прекрасны.

Онъ думалъ спокойно: – Я оставилъ ее дома, одну, въ слезахъ, въ одинокой комнатѣ... Жестокій я, палачъ, собака! Но почти въ каждой ложѣ сидитъ кавалеръ исключительной на-


1910 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1910 г.

на театральную и художественно-литературную газету, издающуюся въ Одессѣ подъ редакціей Б. Шрайбера, при ближайшемъ участіи Льва Жданова, А. П. Бурдъ-Восходова и др.

„Театральные Отголоски"

Выходитъ ежедневно, кромѣ понедѣльниковъ, съ программами и либретто одесскихъ театровъ, концертовъ и зрѣлищъ.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:

Передовыя статьи и замѣтки по вопросамъ искусства, литературы и спорта. Театральная хроника, мѣстная, иногородняя и иностранная. Отзывы о спектаклях городских театров. Критическій обзоръ ре-цензій обѣихъ прессы (русской и иностр.). Музыкальный отдѣлъ. Романы, повѣсти, разсказы, отекателюнъ, очерки, драматическія произведенія и пр. Библіографія. Портреты и характеристики артистовъ, сцены, иллюстраціи, шаржи, карикатуры. Письма читателей. Спортъ. Смѣсь. Справочный отдѣлъ.

Собственные корреспонденты въ столицахъ и заграницей.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

На 1 годъ—4 руб., на 6 мѣс.— | На 3 мѣс.—1 руб. 50 коп., на 2 руб. 50 коп. | 1 мѣс.—75 коп.

съ доставкой въ Одессѣ и пересылкой во всѣ города Россіи.

Допускается разсрочка платежа по годовой и полугодовой подпискѣ отъ 1 руб. въ мѣсяцъ.

Главная контора и редакція: Одесса, Б.-Арнаутская, 55. Тел. 17/15.

ОТДѢЛЕНІЯ КОНТОРЫ:

въ Пассажѣ, при книжномъ магазинѣ „посредникъ", на Садовой, въ д. № 11, при магаз. „КНИЖНЫЙ БАЗАРЪ". Въ ресторанѣ 1-й русск. артели Рышковской 2, противъ Лянского кредита и Гор. театра.

Пріемъ подписки и объявленій. Розничная продажа газеты

Отдѣльные №№ по 5 коп.

Продаются во всѣхъ кіоскахъ и у разносчиковъ.

ружности, аристократъ, которому она бы непремѣнно и не сознавая сама, – посылала бы невозможно кокетливые я таинственные взгляды. И я бы умиралъ отъ отчаянія, хотя сознавалъ бы, что это побѣждаетъ власть природы. Я уже замѣтилъ всѣ удобные кабинеты, ночью для нея широко раскрывающіе свои двери. Тогда я почувствовалъ огромную радость, что она должна была одиноко плакать въ своей комнатѣ, и что я могу восторгаться красавицами-танцовщицами! Женщина «теряетъ себя» и «падаетъ» каждое мгновеніе, мужчина, – если онъ художникъ въ душѣ, наслаждается холодно и неприступно.

Поэтому онъ никогда не обманываетъ любимую женщину, а она его – всегда.

И поэтому пусть онъ покойно идетъ по свѣту, а она пусть безпокойно рыдаетъ въ своей комнатѣ.

II.
Афоризмы.

Женщины не любятъ быть благодарнымн, ихъ даже оскорбляетъ требованіе благодарности. Онѣ грезятъ въ своемъ романтическомъ сердцѣ, что все должно для нихъ дѣлаться изъ чувства «неизбѣжной необходимости». Во всякомъ случаѣ, это имъ понятнѣе, чѣмъ мрачная поэзія нашей трагической «жертвоспособности».

* * *

Женщина становятся тѣмъ, что составляетъ нашу вѣру въ нее! Печально увядаетъ она въ присутствіи невѣрующихъ въ нее!

* * *

Горе женщинѣ, понятой мужчиной! Горе женщинѣ, которая не является для мужчпны непонятнымъ, истеричнымъ и полубезумнымъ созданіемъ!

* * *

Въ загадочности женщины – сила ея.


ОТЪ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ

„Театральные Отголоски".


ШКОЛА КРОЙКИ и ШИТЬЯ

А. Г. ШЕСТОПАЛЪ

Курсъ кройки 5 р.

Передъ лицомъ жизни.

Неизданная миніатюра Максима Горькаго.

...Передъ суровымъ лицомъ Жизни стояли двое людей, оба недовольные ею, и на ея вопросъ: «Чего вы ждете отъ меня»? – одинъ изъ нихъ усталымъ голосомъ сказалъ:

– Я вомущенъ жестокостью твоихъ противорѣчій; безсильно разумъ мой пытается понять смыслъ бытія, и сумракомъ недоумѣнья предъ тобою душа моя полна. Мое самосознаніе говоритъ мнѣ, что человѣкъ есть лучшее изъ всѣхъ твореній жизни, и въ то-же время я – несчастенъ... Почему?

– Чего ты хочешь отъ меня? – безстрастно спросила Жизнь.

– Счастья! Для счастья моего необходимо, чтобы примирила ты два основныхъ противорѣчія души моей: мое – хочу, съ твоімъ – я долженъ!

– Желай того, чго долженъ дѣлать для меня! – сказала Жизнь сурово.

– Я жертвою твоей быть не желаю! – воскликиулъ человѣкъ. – Я властелиномъ жизни быть хочу, а долженъ выю гнуть въ ярмѣ ея законовъ – для чего?

– Да вы говорите проще! – сказалъ другой, стоявшій ближе къ Жизни.

А первый продолжалъ, не удѣливъ вниманья словамъ товарища:

– Я хочу свободно жить въ гармоніи съ желаньями моими! Я не желаю быть для ближняго по чувству долга ни братомъ, ни слугой, – я буду тѣмъ, чѣмъ захочу свободно – рабомъ или братомъ. Я не желаю въ обществѣ быть камнемъ, который общество кладетъ, куда и какъ захочетъ, устраивая тюрьмы благополучія своего. Я человѣкъ, я – духъ и разумъ жизни, я долженъ быть свободенъ...

– Постой! – сказала Жизнь, сурово усмѣхаясь. – Ты много говорилъ и все, что скажешь дальше, мнѣ извѣстно. Ты хочешь быть свободнымъ? Что-же! Будь... Борись со мною, и будь мнѣ господиномъ, а я тогда твоею рабою буду. Ты знаешь, я безстрастна и побѣдителямъ легко сдавалась. Но, нужно побѣдить... Ты на борьбу со мной, – твоей свободы ради, – способенъ, да? Достаточно ты силенъ для побѣды и въ силу свою вѣришь?

И человѣкъ сказалъ уныло:

– Ты вовлекла меня въ борьбу съ самимъ собою, ты наточила разумъ мой, какъ ножъ, а онъ вонзился мнѣ глубоко въ душу и раздавилъ ее...

– Да вы съ ней строже говорите, не жалуйтесь, – сказалъ другой.

А первый продолжалъ:

– Я отдохнуть хочу отъ гнета твоего. О, дай вкусить мнѣ счастья!..

Жизнь снова усмѣхнулась усмѣшкою, подобно блеску льда.

– Скажи, когда ты говоришь о счастьѣ, ты требуешь, илъ милостыни просишь?

– Прошу, – какъ эхо, человѣкъ сказалъ.

– Ты просишь громко, какъ привычный нищій... Но, бѣдный мой, сказать тебѣ должна я: Жизнь милостыни людямъ не даетъ. И, знаешь что? – свободный – онъ не проситъ, онъ самъ беретъ дары мои. А ты, ты – только рабъ своихъ желаній, не болѣе. Свободень только тотъ, въ чьемъ сердцѣ сила есть отъ всѣхъ своихъ желаній отказаться затѣмъ, чтобы въ одно всего себя вложить... Ты понялъ? Отойди!..

Онъ понялъ и улегся, какъ собака, у ногъ безстрастной Жизни, чтобъ тихонько ловить куски съ ея стола, ея объѣдки...

Тогда безцвѣтные глаза суровой Жизни взглянули на лицо другого человѣка. То было грубое, но доброе лицо.

– О чемъ ты просишь?

– Я не прошу, а требую!...

– Чего?

– Гдѣ справедливость? Дай ее сюда!.. Все остальное послѣ я возьму; пока нужна мнѣ только справедливость. Я долго ждалъ, я терпѣливо ждалъ, живя въ трудѣ, безъ свѣта. Я ждалъ: но – будетъ; – пора мнѣ жить! Гдѣ справедливоеть?..

И Жизнь ему безстрастно отвѣчала:

– Возьми...

Путешествие

342 **Иван Липтуга**
Дуализм русской души

346 **Феликс Кохрихт**
Джульетта и Ромео

Иван Липтуга

Дуализм русской души

Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
А.С. Пушкин

Любое путешествие на страницах альманаха – это история нашего с вами времени. Недавно описанный мною (в сорок втором выпуске) круизный лайнер «Коста Конкордия» – в январе 2012 канул в Лету… Кто бы мог себе представить и поверить в то, что такая махина, по сути, плавучий город, вмещающий пять тысяч человек, может так парадоксально глупо и загадочно утонуть прямо возле, казалось бы, давно изведанных берегов Италии. Хорошенькое начало 2012 года, в пятницу тринадцатого. Думаете, совпадение? Мне кажется, нет.

Слишком много на первый взгляд случайных стечений обстоятельств последнее время происходит в мире. Войны, которые бесструктурно управляются якобы мировым сообществом с целью восстановления справедливости в странах Ближнего Востока, повсеместная борьба с терроризмом, пиратством и глобальным потеплением, крах искусственно раздутой финансовой системы, вспышки неизвестных эпидемий, которые исчезают так же загадочно, как и появляются. А венец всего – пропаганда апокалипсиса Майя. Нас все время кто-то чем-то пугает, как будто хочет приучить к состоянию страха и неопределенности. Кому-то, видимо, так нужно… Наверное, кто-то знает, что с этим делать. Но большинство людей ленивы и не любопытны, привыкли жить готовыми рецептами и охотно глотают все приготовленные для них пилюли.



На такие мысли меня натолкнула поездка в московском метро. Непрерывный поток людей, несущихся во встречных направлениях и глубоко погруженных в себя. Меня, как и любого провинциала, такая картина пугает. Ты не идешь, а тебя несут, и если вдруг ты исчезнешь, то на это никто даже не обратит внимания. Ты просто винтик в гигантском механизме. И похоже, что все давно свыклись с этой мыслью, и каждый винтик спешно выполняет свою роль, потому что если он собьется с заданного машиной ритма, его тут же заменят на новый. Выйдя из метро на улицу, сталкиваешься с таким же потоком машин. Часами они стоят в многокилометровых пробках на работу и с работы. Рядом одинаково плетутся «копейки» и «Роллс-ройсы» – и все равны перед стрелкой часов.

Москва – большой, разнообразный и сложный город. Такой же, как русский народ. Я в полной мере отношу себя к нему. Потому что никакие искусственные границы и барьеры не изменят нашу душу, нравы, традиции и мировосприятие. Мы если не одинаковы, то очень похожи. Москва, как выставочный экспонат России в миниатюре, впитала в себя все, и если хочешь понять загад-

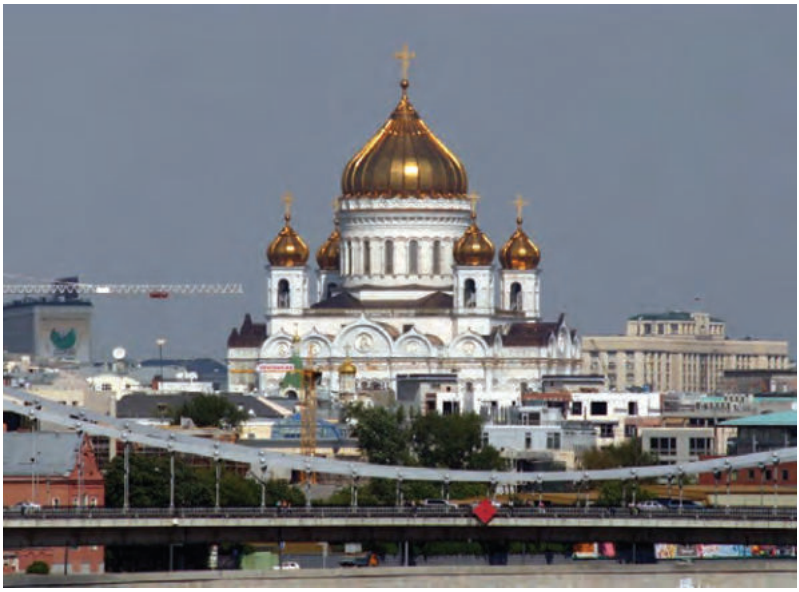




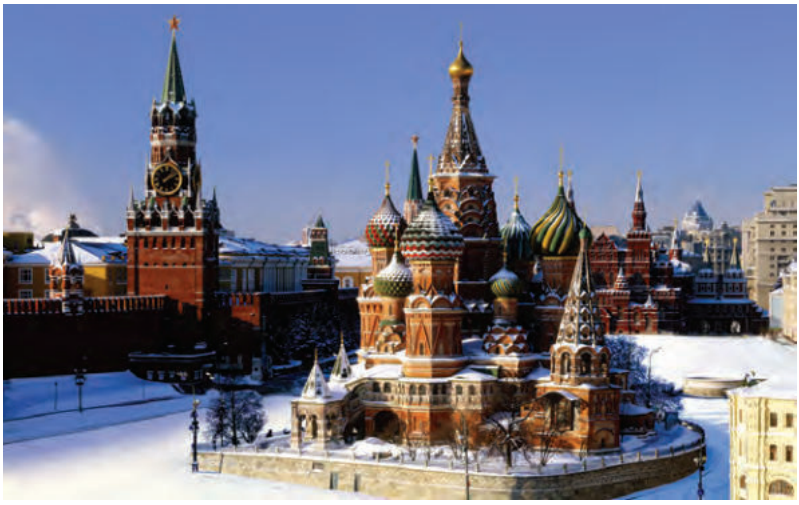
ку русской души, то начинать нужно непременно с Москвы.

Загадка русской души в том, что все русские, принимая неопределенность как норму жизни, держат в своем сознании два наработанных веками разных варианта поведения в условиях стабильной и нестабильной ситуации. И у каждого «встроен» тумблер переключения из одного режима в другой, так как для любого русского в порядке вещей одновременное действие неких правил – и правил, как нарушать эти правила. И эти качества существенно увеличивают способность к выживанию в самых неблагоприятных условиях, потому что жить по неписаным правилам – это творчество. Наше сочетание терпения и нетерпения, желание иметь все и сразу, а также неуемная страсть к воле, которая периодически срывается в состояние ничем не стесненного разгула страстей, все это делает нас одновременно и героями, и преступниками. Умирать – так умирать, красть – так красть…

Тысячу лет мы живем в устойчивой системе двойных стандартов. Знаем об этом, смеемся над собой, но ничего не можем с этим поделать. А может, и не нужно? А может быть, в этом и есть наша сила, которая заставляет весь мир с опаской наблюдать за нами? Ведь в чем парадокс? Неэффективное управление, массовая бедность, воровство, пьянство, разгул, но при этом Россия остается самой большой, самой богатой и, как жизнь показала, самой сильной страной в мире. Конечно, это не может не раздражать. Кто-то веками работает, преумножает капитал, накопленный поколениями, складывает копеечку к копеечке, а русские гуляют и гу-








PLASKE
ПЛАСКЕ
Energy in motion

ляют, и все им нипочем. Кто только не посягал на Россию за тысячу лет – и монголо-татары, и поляки, и французы, и немцы, ну, все кому не лень. И никак. Непредсказуемость – мощнейший инструмент.

Конечно же, всем выгодна предсказуемая, открытая, прозрачная демократическая Россия. Но к счастью и к сожалению одновременно, она никогда такой не будет. Она другая. И ее нужно принимать такой, какая она есть. Яркий пример попытки навязывания несвойственной народу системы – демократическая Украина. Любая свобода для нашего народа опасна – возникает риск саморазрушения…

И пора уже перестать строить иллюзии насчет того, что мы возьмем опыт Запада и применим его у себя. Не применим! Не получится у нас! Даже если они нам помогут, хотя они этого не делают. Настало время сосредоточиться и переключить тумблер в режим созидания.



Феликс Кохрихт

Джульетта и Ромео



В Вероне мы остановились в отеле «Джульетта и Ромео». Выбрали его по нескольким причинам. Он находится вблизи от самых знаменитых памятников истории и культуры, о нем хорошо отзывались в Интернете, да и цена была приемлемой… Но, пожалуй, решающим фактором стало название гостиницы. Согласитесь, перестановка имен героев трагедии Шекспира и интриговала, и обещала новый взгляд на историю о влюбленных, над которой уже который век вздыхают юные (и не только) читатели и зрители.

И мы не обманулись в своих ожиданиях. И отель оказался на обещанной высоте, и знаменитый древний цирк – Арена ди Верона – был виден из окон наших номеров. Он лишь немного уступает в размерах римскому Колизею, здесь когда-то сражались гладиаторы, а нынче идут спектакли с участием звезд. Кстати, о звездах, – к Рождеству цирк украсили огромной Вифлиемской звездой, а у его стен соорудили каток.

Верона – город замечательных архитектурных ансамблей, музеев, знаковых мест, где вершилась судьба стран и народов, но

главной его достопримечательностью являются несколько зданий, связанных с судьбой Джульетты и Ромео. Заметьте, не исторических личностей – императоров, полководцев, живописцев, ваятелей, ученых, которые жили здесь, а персонажей пьесы. Мне доводилось быть в еще одном подобном месте – в замке Кронборг, что на границе Дании и Швеции, который все тот же Шекспир нарек в своей пьесе Эльсинором и поселил в нем Гамлета. И сюда заезжают автобусы с экскурсантами, чтобы аукнуться с эхом дворцовых подвалов, но куда принцу Датскому до популярности юных возлюбленных, семьи которых «в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои…».





Уже на вокзале мы заметили таблички, указывающие путь к дому Джульетты. У него есть адрес – Via Capello, 23, по которому можно отправить письмо синьоре Капулетти, – и вам ответят… Но, разумеется, лучше прийти сюда ранним утром, чтобы первыми пробиться во двор старинного дома, где с XIV века жила семья Капелло, и где мало что изменилось с тех пор….

За прошедшие столетия дом сменил немало хозяев, и всем им (особенно начиная с начала XIX-го) досаждали поклонники трагической пары. Среди них были и супруга Наполеона Бонапарта, и Байрон, и певец Джильи, и актриса Сара Бернар, и тысячи безвестных со всего света… Они толпились у балкона, на котором Джульетта ждала Ромео, пытались отломить камешки от ограж-



дения… Наконец в 1907 году дом выкупили городские власти, и с тех пор здесь продают билеты, а также всевозможные сувениры. Особо терпеливые, выстояв очередь, проникают в покои и выходят на балкон, где целуются и машут рукой толпящимся во дворе у бронзовой статуи Джульетты. По существующему поверию, следует дотронуться до левой груди изваяния, что обеспечивает удачу в личной жизни.

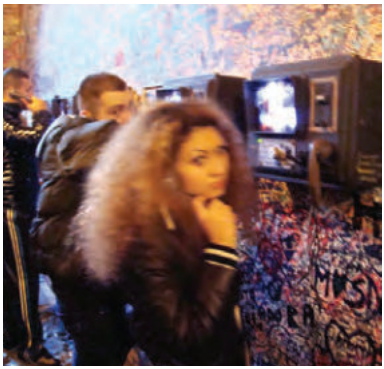
Но самое сильное впечатление произвели на нас юноши и девушки, отрешенно и сосредоточенно разговаривающие по установленным в подъезде телефонам-автоматам с маленьким экраном, на котором мелькают кадры из знаковых фильмов о Джульетте и Ромео. По их лицам можно предположить, что связь двусторонняя…

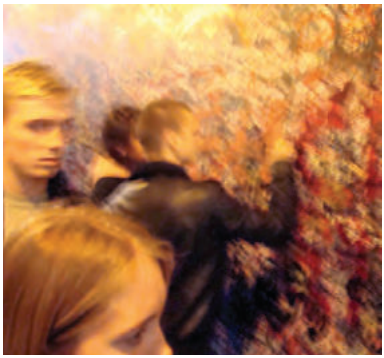
Те же, кто ждал очереди – и на балкон, и к телефону, – оставляли послания на стенах подъезда прямо поверх написанных ранее, ничуть не заботясь о том, будут ли они прочитаны и поняты…

Дух Джульетты витал над этим местом. «Джульетта и духи» – так назвал свой фильм великий Федерико Феллини, Джульеттой звали его жену – исполнительницу главной роли, Джульетта Мазина.

Тайна высокого искусства…

Известно, что фабула истории о влюбленных из Вероны принадлежала не Шекспиру. Впервые ее поведал итальянец Луиджи да Порто, да и сага про принца Амлета была известна задолго до выхода в свет пьесы английского драматурга. Но лишь под пером гения они приобрели пафос и глубину трагедий и возымели странную – инфернальную власть над миллионами людей. И вот уже в XXI веке – что им Гамлет, что им Джульетта, – а ведь рыдают!







Джульетта

Как ты сюда пробрался? Для чего?
Ограда высока и неприступна
Тебе здесь неминуемая смерть,
Когда б тебя нашли мои родные.

Ромео

Меня перенесла сюда любовь,
Ее не останавливают стены.
В нужде она решается на все,
И потому что мне твои родные!

Вильям Шекспир
«Ромео и Джульетта»
Перевод Бориса Пастернака











Среди женских образов Шекспира есть и злодейки, и торжествующие красавицы, но три героини его пьес – трагические и прекрасные жертвы страстей человеческих – достойны того, чтобы их имена в театральных программках и на афишах шли перед мужскими: Дездемона из Венеции, Офелия из Эльсинора, Джульетта из Вероны.

Но оставим пафос и высокий стиль, навеянный у входа в жилище Капулетти, добавим только, что в Вероне имеются и монастырь, где (согласно легенде!) похоронили Джульетту, и дом Ромео Монтекки – там нет мемориального музея, но есть неплохой ресторан.

Но если действительно жила в XIV веке в этом городе девушка Джульетта, то ее Верона была опоясана крепостными стенами, часть из которых сохранилась до наших дней. Особенно впечатляет замок Кастельвеккьо. Его владелец из клана Скалигери опасался нападения со стороны враждебных аристократов Висконти (предков выдающегося кинорежиссера) и Каррара (на его землях добывали мрамор для шедевров Микеланджело) и возвел могучие башни и форты. Зубцы на них схожи с кремлевскими – и в Москве работали итальянские зодчие.

Просыпаются с рассветом стены древнего Кремля.

В этой крепости вполне мог служить родственник Джульетты Тибальд – задира и виновник многих случившихся в этой истории бед, а быть может, и ее возлюбленный Ромео стоял у бойницы – в самом опасном месте…

Мы вышли из крепости и по берегу реки Алидже добрались до моста, а там недалеко и до церкви Святого Дзено. Она находится вне шумных центральных кварталов, и поэтому здесь меньше туристов, чем в других храмах города… А ведь и здание, и его убранство, и хранящиеся здесь святыни – самого высокого класса. По мнению специалистов, эта церковь – одна из самых красивых, построенных в романском стиле. Заложенный еще в VI веке храм неоднократно разрушался завоевателями, но вновь и вновь возрождался. В 806 году он был освящен в присутствии короля Пипино (сына Карла Великого), а через год сюда перенесли мощи святого Дзено, бывшего епископом Вероны в IV веке и ставшего покровителем города. Святой этот необычный – темноликий, ро-



дом из Африки и славен добрыми делами.

Услышишь колокол Святого Дзено – случится чудо непременно.

Святой Дзено покоится в крипте, а стены храма украшают дивные фрески художников школы Джотто, в часовне хранится деревянная икона Величие Девы – шедевр великого Андреа Мантенья. Меня поразили огромные бронзовые ворота, сработанные в XI веке, с изображением библейских персонажей – и праведных, и грешных…

К вечеру мы – уже по другому берегу Алидже – вернулись к Арене и взобрались на один из верхних ярусов. Сюда могла приходить в сопровождении бдительной кормилицы и Джульетта, чтобы полюбоваться превосходным видом на окрестности…

Над эллипсом Арена ди Верона всегда кружит античная ворона.

…Нынешним летом сезон в этом древнейшем театре откроется спектаклем «Ромео и Джульетта», но не гениальной пьесой Шекспира, не великолепным балетом Прокофьева, а малоизвестной оперой Гуно. И многочисленные зрители, приехавшие в Верону со всего света, в который раз убедятся, что «повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете». Так – с английского на русский – перевел финальную фразу этой вечной истории Борис Пастернак.

Фото автора и Татьяны Вербицкой

Ах, Одесса

352 **Владимир Ефименко**
Классический развод

358 **Владимир Трухнин, Ирина Полторак**
«Городок» – пятый угол!

Владимир Ефименко

Классический развод

Делать было нечего, и мы с Толиком шлялись по парку Шевченко возле стадиона «Черноморец» и Александровского столпа. Там стоял еще такой театришко «Ракушка» – эстрада, где-то на метр высотой от земли, а над ней полукруглая крыша в форме створки ракушки. Как суфлерская будка, только высотой метра четыре, да к тому же повернутая лицом к зрителям. Чуть не сказал «к зрительному залу», а зала-то нет. Ряды скамей под открытым небом – вот и весь зал. А все потому, что туда всегда был вход свободный – слушай, смотри не хочу. Бесплатное шоу.

За «Ракушкой» какой-то дед сидел на парапете и играл в шахматы с самим собой.

– Что, – говорю, – все соперники разбежались кто куда, от страха? – подначиваю.

А он мне:

– Нет, юноша, это я разбираю финальную партию в матче Карпов – Корчной. Классика!

– А я вообще в этих делах ни бум-бум. Мне все равно, что офицер, что лошадь.

– Вы хотели сказать «слон» и «конь», молодой человек.

– А какой тогда вам смысл и интерес с собой играть? Вы же все равно знаете, как в ответ пойдет противник. Потому что это – тоже вы. От себя же мыслей не утаишь! А поддаваться нет понту. И за кого тогда болеть? За себя – черного, или за себя же, но белого? Разницы никакой.

– А вот и есть разница. Я, конечно, знаю все ходы партии, это же хрестоматия. Но делая каждый ход за белых или за черных, я стараюсь понять, где же кто-то из них дал маху, почему он пошел имен-

но так, а не иначе. Ищу свои варианты, как бы я сходил, и анализирую, что бы было потом. И, кстати, вы неправы насчет того, что от себя своих мыслей не утаишь. Еще и как утаишь! Хочется выпить с друзьями, но надо идти на лекции, потому что потом влетит, да и к экзамену явно не успеете догнать. Что из этого выйдет, вы прекрасно знаете, отдаете себе отчет, но вам об этом думать не хочется, неприятно, и вы себе говорите: «А! Кривая вывезет! Как-нибудь выкручусь», – и идете на море вместо учебы. Что, я неправ? Не было такого никогда? Вы вытесняете это из сознания. Это называется «не брать в голову» – словно этого вовсе нет, а оно есть, да еще как есть. А вы это прячете или, наоборот, от этого прячетесь, как страус.

– А вы что, Зигмунд Фрейд? Как вас, простите?

– Петр Иваныч. Нет, но у меня есть какой-то жизненный опыт. Я преподавал когда-то в «бурсе», и вся эта ваша психология – она с годами не меняется. Всегда были те, кто учился, и те, кто сачковал. И теперь я на отдыхе. Смотрю телевизор, а тут сижу – каждый день, пока солнышко. А что еще делать? Но иногда так тянет к аудитории… Есть что сказать…

Подошел Толик: «Господа гроссмейстеры! Давайте я вас сфоткаю!». И сфоткал, негодяй.

Из рассказов старого я понял, что он когда-то много плавал по морям и океанам и свет повидал. Потом, когда его списали на берег, он учил всяких молокососов, что такое морская профессия. Но после второго инфаркта решил, что преподавательская нива – более уверенная дорога к смерти, нежели штормы, акулы и тайфуны вместе взятые, и ушел на пенсию.

Дома у меня Толик, этот мастер развода, предложил гениальную идею: ключевой фигурой оказался дед. Толик слил фото на компьютер, вырезал из фото изображение деда отдельно и сделал в программе CorelDraw шикарный плакат:

Уникальная возможность реализовать себя!

Набор на курсы гидов-экскурсоводов с обязательным трудоустройством после окончания. Выдается международный сертификат! Курсы ведет заслуженный деятель культуры, кавалер ордена Дружбы народов, профессор Попов Петр Иванович (на этом месте Толик вставил крупно фото деда).

Курсы – трехмесячные, знание языков необязательно, обучение бесплатное, но с обязательной стажировкой в Ялте в течение месяца в летний сезон. Требования к соискателю: Общительность, порядочность, целеустремленность. Проживание и организованное питание – б/п. Для подачи заявлений необходимо иметь с собой:

1). Конверт, 2 фото 3×4 (без уголка), автобиографию (указать возраст).

2). 100 грн. – только на оплату оформления ст. билета, пропуска и ведомостей (включая оформление виз).

3). Заявление о зачислении в академию экскурсоводов.

С этими документами вам нужно подойти в ЦПКиО им. Шевченко (летний театр «Ракушка») в воскресенье в 14 часов дня. Число вакансий ограничено!

Плакаты развесили по всему городу. На столбах, на остановках, в переходах.

С недельку эти плакатики уже всем намозолили глаза. Народ ждал воскресенья. И вот где-то в 12 дня в означенную дату мы с Толиком подошли к Деду, который «тихо сам с собою» играл в шахматы. На этот раз он анализировал маршальский гамбит:

– Здравствуйте, Петр Иваныч! Выручайте! У нас должна была состояться научно-практическая конференция, но профессор заболел. Представляете себе! Июль месяц, а он перекупался! Теперь толпа студентов придет послушать, задать вопросы о море, о путешествиях, экзотике всякой – а профессора нет! И нас, лаборантов, за то, что не предупредили, что не нашли замены, просто выгонят взашей! Это ж столько людей зря приехали! Петр Иваныч! Выручайте! Вы же свет повидали, ну, что вам стоит! Расскажите им об интересных морских путешествиях, круизах! Они же вам в рот будут заглядывать! Мы вас представим как профессора, а вы им чего-то расскажите интересного.

– Ну, вообще-то, я не профессор… Но кое-что могу рассказать.

– Вы не волнуйтесь, студенты его вообще в глаза не видели. Держитесь уверенно, и все будет Ok! А это – вам, в знак нашей глубокой признательности, что не отказали. (Толик достал пакет, набитый пивом, тараньками и раками.)

В два часа дня, когда на пляже делать нечего (если вы не самоубийца – сгореть в такое пекло), возле «Ракушки» собралось много народа. Занимали места и, как я понял, неспроста. У многих в руках были заготовленные конверты. Мы с Толиком припасли заранее добытые где-то на помойке стол и стул, накрыли все это безобразие сверху белой простыней, притащили кучу макулатуры и даже какой-то ящичек, похожий на урну для голосований, с прорезью. Декорации солидные. Лина, девушка Толика, прихватила кассетник, который орал, как скаженый, бодрую музыку.

Патрульная служба не дремала: увидев скопление людей, милиционеры поинтересовались: а что дают? Им указали на плакат на столбе: «Заслуженный… Профессор… Популярная лекция… Вход бесплатный… Академия экскурсий и международного туризма…» И портрет – похож на то, что сидит на эстраде. Ладно, порядок! Пошли дальше!

На авансцену вышла Лина – роскошная брюнетка (парик) в темных очках:

– Друзья! Давайте вместе поприветствуем нашего профессора Петра Иваныча! Он расскажет вам много интересного о вашей будущей профессии! А пока будет идти лекция, я пройду по рядам и соберу ваши анкетные данные в конвертах. Каждому выдается взамен отрывной талон с печатью, и если вы имеете серьезные намерения, то обязательно придете завтра ровно в 14 часов во Дворец Леси Украинки, что возле Тираспольской площади, в наш центральный офис, кабинет № 13 на третьем этаже. Там вы пройдете индивидуальное собеседование и получите на руки свидетельство о зачислении и студенческие корочки. А теперь я предоставляю слово Петру Иванычу!

Лина пошла по рядам, собирая конверты и выдавая взамен отрывные талоны с печатью организации. Петр Иваныч подпил пивка, и язык у него развязался. Дед рассказывал, как интересно путешествовать, особенно морем, рассказал, как их однажды возле побережья Сомали атаковали морские пираты, и т. д.

Через полчаса, поблагодарив всех за внимание, Лина попросила всех записавшихся «завтра не опаздывать», после чего народ стал расползаться: кто на море, а кто – домой.

Дома мы, вся троица, включая Лину, упивались пивом с раками и пересчитывали содержимое конвертов. Их оказалось меньше, чем мы рассчитывали, – всего семьдесят восемь. Итого 7.800 грн. Негусто. Ну, ничего, тоже неплохо. Такого количества портретов Тараса Григорьевича Шевченко в одночасье мы еще не видели, тем более что все это свалилось нам на голову в парке его же имени. Толик выудил фотографии абитуриентов, отобрал из каждого комплекта по одной, а остальные сжег на газовой плите.

– А на фига тебе эти фотки? На память, что ли?

– Не боись, старик. В том-то и вся красота прикола… Я где-то тоже художник…

Толик был в ударе, смеялся и спецом рассказывал «застольные» анекдоты из серии «приятного аппетита!», от которых хотелось блевать.

Из рассказа потерпевшей:

«В 14 часов мы, почти все, как один, пришли во Дворец им. Леси Украинки, поднялись на третий этаж, а вахтерша еще орала: «Куда?!»

А мы:

– В приемную комиссию.

А она:

– Так на бальные танцы уже прием закончился!

– А нам совсем не туда!

Приходим всей толпой на третий этаж, кабинет № 13, а там табличка: «Ремонт». Мы сразу скисли. Но рядом, возле двери, висит плакат: «ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВЫ ПРИНЯТЫ!». А дальше на листе ватмана – все наши фотографии, 3×4, без уголка! Внизу приписочка: «См. на обороте».

Мы, конечно, обрадовались, что всех приняли, но кто-то предложил посмотреть-таки на обороте. Переворачиваем – и читаем: «Вы приняты в международную академию лохов. Вчера каждого из вас развели на сотку гривен. Еще раз поздравляем!».

Капитан Огурченко, специалист по финансовым махинациям и мошеничеству, спросил:

– Граждане! Только не толпитесь! Я вижу, что коллективное заявление. А почему никто не поинтересовался, что за печать стоит на отрывном талоне?

Все сконфузились и притихли. Тогда он продолжил в полной тишине:

– Тут написано, на этой круглой печати: «Центральная прачечная № 1, г. Одесса. Международная ассоциация лохов». Вы что, этого не читали? Ну, и где ваш «профессор»? Который на афише?

Деда, конечно, быстро вычислили.

Когда к Петру Иванычу пришли двое ментов пригласить его в райотдел для «беседы», с ним случился третий инфаркт. Не вынес дед, не выжил. Хотя он – и не Попов никакой, это Толик так, от фонаря взял фамилию. А могли бы вообще ничего не доказать. Мало ли кто над ним подшутил? Подставили какие-то гастролеры залетные. Вот и жил бы себе.

И мне, и Толику, и Лине – всем нам очень жалко было Деда, и мы решили по этому поводу его как следует помянуть. Взяли несколько ящиков, кастрюлю замаринованного шашлыка и поехали на Фонтан. Лина даже всплакнула. Поминали три дня…

Вот я и говорю: «Нельзя ничего принимать слишком близко к сердцу!».

Владимир Трухнин, Ирина Полторак

«Городок» – пятый угол!

Городок с повинной

На лестничной клетке Хозяин рассматривает приоткрытую дверь квартиры и сокрушается: «Вот подонки! Найду – убью!». Появляется Сосед с тортом.

Сосед (*улыбается*)**.** Здравствуйте, сосед! А я к вам…

Хозяин. Ты видал? Какая-то сволочь мне опять дверь поцарапала. Но будь спок, я этого так не оставлю. Найду и… Да просто убью этого гада и все!

Сосед. Да?.. (*Улыбка сползает*.) А я вот к вам, уважаемый сосед…

Хозяин. Это же второй раз уже! В прошлом году мне ее Сидоров с пятого этажа умудрился поцарапать. Помнишь его?

Сосед. Погодите, какой Сидоров? Который в прошлом году… умер?..

Хозяин. Ну да, умер. И два этих события – вот она, вот эта вот царапинка и его смерть, – были очень взаимосвязаны. Очень!.. Понимаешь меня?

Сосед. Так вы его что?.. Он умер, потому что поцарапал вам дверь?!

Хозяин. Наоборот. Он поцарапал мне дверь, потому что умер…

Сосед. Как это? Не понял.

Хозяин. Ну, он умер, а когда гроб сносили, то он поцарапал мне дверь!.. Повезло мужику, что он умер… А то я б его… Ну, да ладно. Так ты ко мне, говоришь? С чем пожаловал?

Сосед. Э… Вообще-то я к вам с повинной. Мне грузчики несли шкаф и вашу дверь немного…

Хозяин. Ага!.. Шкаф, значит, тебе несли. Ну, это пока – шкаф…

Сосед. Но я же с повинной! А ведь повинную голову меч не сечет, да?

Хозяин. Конечно! Меч не сечет. Есть много других способов… (*Грубо заталкивает Соседа в квартиру*.) Сейчас я тут с тобой быстро разберусь! Имущество мое он будет портить!

Сосед. Что вы делаете? Я же сам пришел, с повинной! И честно сознался!

Хозяин. А зачем же ты, дурак, сознался? Может, я бы тебя и не нашел? Никто бы и не узнал!

Сосед. Ну, что вы… Это невозможно. Я так не могу!

Хозяин. Это почему?

Сосед. Не такой я человек, чтобы утаивать, обманывать… Я честный и принципиальный! Плюс совесть у меня. Да!.. (*Вздыхает*.) Ну, и плюс еще двое соседей все это видели…

Хозяин (*кладет на стол бумагу и ручку*)**.** Значит, садись и пиши расписку. Что виноват и все починишь. Без признания не выпущу. Ты учти, я в контролирующих органах работаю.

Сосед. Да я пожалуйста… Я напишу. (*Озирается*.). Ой… Какая у вас хорошая квартира…

Хозяин. А ты думал... Это я буквально за последние годы. А раньше меня по всей стране носило. Служба... И ничего своего не было – все казенное.

Сосед. Понятное дело. Это ж как в песне поется: «Раньше думай о Родине, а потом о себе».

Хозяин. Да я и сейчас без этого не могу. Прямо с утра пораньше о ней думаю! Когда завтракаю – думаю, смотрю новости, чищу зубы, еду на работу – думаю о Родине…

Сосед. Вот как…

Хозяин. Да, раньше думаю о Родине... Ну, а потом, как доеду до работы, уже о себе… Ну, что ты отвлекаешься! Пиши давай!

Сосед. Я даже не знаю, как писать…

Хозяин. Пиши. Я, такой-то сякой-то, явился с повинной, чистосердечно раскаиваюсь в совершенном мной проступке и обязуюсь в кратчайшие сроки невзирая ни на какие обстоятельства…

Сосед. Как вы складно излагаете. У вас, видно, просто дар какой-то.

Хозяин. А как же! Мне, между прочим, один мой старый знакомый в политику советовал идти.

Сосед. Правда?

Хозяин. Ну! Говорит, в политике так мало приличных людей. Зато полным-полно ворья, жлобья, бездушия, бескультурья, лицемерия, дремучей некомпетентности… Короче, идите, говорит, в политику, там вам самое место…

Сосед быстро пишет.

Хозяин. Написал? И допиши – обязуюсь компенсировать нанесенный мной ущерб в размере десяти тысяч рублей. Дата, подпись.

Сосед. Сколько? Десять тысяч?! За эту несчастную вмятинку?!

Хозяин. Вот ты сквалыга… Да! Десять тысяч! Ни на что другое я не согласен! И не проси!

Сосед. Да вы что? Я вот вам торт принес и думал, что этим все и обойдется. Ой… (*Берется за сердце*.)

Хозяин. Ты смотри, как тебя зацепило! Сейчас прямо инфаркт хватит! Ладно, ладно, успокойся. Торт так торт. Согласен.

Сосед. Ну, вот, другое дело. Нельзя же так категорично: «Десять тысяч – и всё!»…

Хозяин. Пиши. Десять тысяч рублей и торт. Раз ты настаиваешь, буду жрать этот твой торт…

Сосед. Ужас… Ой… (*Держится за сердце*.)

Хозяин. Не отпустило? Навязался ты на мою голову со своей повинной. (*Начинает его обвевать газетой*.) Так лучше?

Сосед. Поймите, я не хотел царапать вашу дверь…

Хозяин. Ты мне сказки не рассказывай, хотел – не хотел, а поцарапал. Знал, на что шел! А теперь вот, видишь, как выходит. Еще помрешь тут…

Сосед. Не переживайте. Не помру. Спасибо вам за заботу.

Хозяин. Ага. «Не переживайте»… Как же мне не переживать! Ведь если тебя хоронить будут, так точно же опять мне двери поцарапают… А вообще-то, с тортом это ты угадал, я сладкое страшно люблю.

Сосед. Правда?! Сразу стало лучше… Угощайтесь! (*Хозяин быстро съедает кусок торта.*) Вот и хорошо. Значит, вы меня простили?

Хозяин (*берет еще кусок*). А вот еще кусок съем и прощу. (*Смачно откусывает.*) Может быть…

Сосед. Интересно, вы какой торт больше любите – бисквитный или слоеный?

Хозяин. Слоеный.

Сосед. С орешками или без?

Хозяин. С орешками.

Сосед. А крем какой – масляный или заварной?

Хозяин. По барабану. А тебе зачем?

Сосед. Да я так просто, на всякий случай. Мне завтра диван должны завезти.

Хозяин (*он как раз брал еще кусок, аккуратно кладет его обратно*). М-да… Ну, кино с тобой…

Сосед. Нет, нет! Такого больше никогда не повторится! Клянусь! Так я пойду?..

Хозяин. Ладно. Но сделай выводы.

Сосед. Уже сделал. Теперь если вдруг провинюсь, то ни за что не признаюсь. (*Выходит, спохватывается.*) Да, а где моя повинная? Давайте порвем. А то нехорошо как-то…

Хозяин. Зачем? (*Достает ее из кармана.*) Пусть у меня лежит.

Сосед. Но вы же торт ели…

Хозяин. И что? Пусть лежит – там все очень грамотно написано.

Сосед. Я всегда пишу грамотно.

Хозяин. Да не ты грамотно писал, а я грамотно диктовал: «Обязуюсь возместить ущерб за порчу имущества». Про дверь-то там ни слова. Мало ли кто что мне еще испортит, а виновный уже есть! (*Забирает бумажку за спину.*) Пригодится…

Хозяин захлопывает дверь за Соседом. Очень доволен собой.

Хозяин. Нет, точно, надо мне идти в политику. Чем я хуже их? Вернее, чем я лучше?.. Вот так вас, дураков, и учат! Теперь ты у меня вот где… (*Надевает очки, читает расписку.*) «Я, Пушкин Александр Сергеевич, явился с повинной…» Какой еще Александр Сергеевич? Его же Петей зовут. (*Сует нос в бумажку.*) «19 декабря 1831 года»… Обманул гад. А говорил: он честный, совесть… Ну, как верить людям?!. (*Мнет бумажку и в сердцах бросает на пол.*)



Издано...

364 **Евгений Голубовский**
Книжный развал

369 **Галя Маркелова**
Проза Поэта

373 **Стив Левин**
По следам Исаака Бабеля

Евгений Голубовский

Книжный развал

Издано в Одессе



Владимир Смирнов
Реквием XX века. В пяти томах. Часть V
Одесса, Астропринт, 2011

Колоссальный труд завершен Владимиром Александровичем Смирновым. В этом томе 1280 страниц. И предыдущие части были столь же объемными.

Две составляющие лежали в основе каждой части. Это, прежде всего, судьбы людей, попавших в жернова репрессий, людей, когда-то уничтоженных режимом, а после смерти Сталина, после XX съезда – реабилитированных. Но публично не было сказано, за что были осуждены миллионы людей. Как под пытками, угрозами расправиться с близкими, самооговаривали они себя. В пятой части «Реквиема XX века», вышедшей в 2011 году, В.А. Смирнов публикует более 30 очерков, за каждым из которых недели и месяцы, ушедшие на изучение архивно-следственных дел репрессированных, наших с вами сограждан.

О ком конкретно рассказывает в этом томе автор? Всех не перечислишь. Назову лишь несколько имен. Это очерк о расстреле сына художника К. Костанди Павла Кириаковича Костанди, это арест капельмейстера Кюсса, это репрессии против семьи профессора И.Ю. Тимченко, это расстрел директора народно-художественного музея Ц.С. Эмского-Могилевского…

Но еще одна задача стояла перед В.А. Смирновым. В феврале 1991 года умер его учитель, друг, преподаватель музлитературы школы имени П.С. Столярского Владимир Афанасьевич Швец. Свои дневники за долгую и насыщенную жизнь учитель оставил ученику. И вот сквозь все пять томов проходит публикация дневников, нередко с комментариями и воспоминаниями В.А. Смирнова. А впрочем, эти дневники подсказывали исследователю, чьи расстрельные дела искать в архиве, о ком рассказать читателям.



На площади времени. Яков Миронович Штереншейн. Александр Аркадьевич Ханонкин. Воспоминания об ученых. Научное наследие. Документальные материалы. Авторы-составители А.Я. Шатагина и Е.А. Шатагина
Одесса, Астропринт, 2011

Было время, когда Яков Миронович Штереншейн, журналист, ветеран войны, историк, был одним из популярнейших людей в нашем городе. И когда-то, подбирая с Михаилом Рыбаком фотографии для номера газеты «Всемирные одесские новости», которую я редактирую вот уже 21 год, в числе самых известных одесситов мы представили «одесского Карла Маркса» –

Якова Штереншейна. Сходство его с основателем марксизма было поразительным.

Это был умный ироничный человек, верный фронтовому братству. Его монография «Морские ворота Украины» и сегодня, спустя 54 года, остается важным источником для тех, кто изучает историю Одессы.

За бои при обороне Крыма Яков Штереншейн был награжден орденом Красной Звезды. Раненному политруку его не успели вручить, а потом награда затерялась. Ее прислали в Одессу в 1983 году, когда Я.М. Штереншейн был уже тяжело болен. Награду вручили посмертно его дочери – Александре Яковлевне Шатагиной, психологу и художнице, одной из составительниц этой книги.

Если Я.М. Штереншейн гуманитарий, то Александр Аркадьевич Ханонкин, прежде всего, физик, геофизик, хоть кроме того – и психолог. Доктор наук, профессор, лауреат Государственных премий Украины, А. Ханонкин был мужем Саши, дочери Я.М. Штереншейна, отцом четырех его внуков.

Когда-то в Одесский историко-краеведческий музей семья маршала Р.Я. Малиновского передала ряд любимых вещей маршала, среди них письмо, которое в 1944 году, когда Одессу освободили, писал одиннадцатилетний мальчишка Саша Ханонкин, благодаря маршала за освобождение родного города. 10 апреля 1974 года я опубликовал в «Вечерней Одессе» заметку «Письмо маршалу». Тогда я нашел Александра Аркадьевича, мы познакомились. За тридцать лет он уже забыл, что писал Малиновскому письмо, но находка эта была для него неожиданной и приятной.

Две судьбы двух ученых вобрала в себя эта сделанная с научной тщательностью книга. Хочется поздравить и поблагодарить дочь Я.М. Штереншейна, жену А.А. Ханонкина – Сашу Шатагину, ее дочь Елену Шатагину с выходом этой книги памяти.

Издано в Москве



Борис Сурис
Фронтовой дневник
Москва, Центрополиграф, 2010

На фронте вести дневники запрещали. Не дай Бог, попадут в руки противника. Но еще страшнее было бы, если бы кто-то из своих «настучал», и записи попали бы в руки «особистов». Но все же были солдаты и офицеры, которые для себя вели записи. Мне приходилось читать несколько таких дневников. Эзопов язык, сугубо личные переживания… Может быть, поэтому «Фронтовой дневник» Бориса Суриса, откровенный, умный, интеллигентный, произвел на меня огромное впечатление.

Мне попадались в печати статьи ленинградского искусствоведа Б. Суриса. Но ничего я о нем не знал. Не знал, что родом он из Одессы, что отсюда 22 июля 1941 года был призван в армию, а до этого успел проучиться в Одесском художественном училище, год на архитектурном факультете в Одесском строительном институте… А потом началась Великая Отечественная война, Сталинградская эпопея (это после войны он опубликует эссе «Перечитывая старые письма», где в главе «Сосед по фронту» расскажет о знакомстве с Виктором Некрасовым, автором «В окопах Сталинграда»), и потом пешком через всю Европу, до Германии.

Борис Сурис хотел стать художником. Но, думаю, не менее он хотел стать писателем. Жесткий, правдивый, точный дневник – предвестие книги прозы. Сейчас, когда опубликован «Конармейский дневник» И. Бабеля, отчетливо понимаешь, что из таких бескомпромиссных наблюдений и рассуждений и может появиться

настоящая проза. Литературным «наставником» молодого офицера Бориса Суриса был Эрнст Хемингуэй. «Прощай, оружие!» и «Фиеста» научили его так смотреть на войну. А стал разведчиком, военным переводчиком. И лишь после войны – искусствоведом.

В самой первой записи за 17 мая 1942 года, с которой и начинается дневник: «Армия – это такое странное заведение, где все почему-то ходят в ногу».

А вот сентябрьские записи того же года. «Заголовки для «Правды»: «Ночь перед убоем», «Любовь к ненависти».

Запись за 16 декабря 1942 года: «Я лучше знаю немцев – другие в них стреляют, я же с ними разговариваю».

О войне написаны тысячи книг. Но среди самых откровенных книг, написанных во время войны, я бы назвал фронтовой дневник Бориса Суриса.



Галя Маркелова

Проза Поэта



Анатолий Горюшкин
Театр одного актера
Москва, 2011

Небольшая книжечка, всего 112 страниц, без всяких ББК, то есть снова самиздат в ста экземплярах. И это в стране, освободившейся от цензуры соцреализма! Что ж, роль интеллигенции и ее положение в обществе, а значит, и отношение к ней, не меняются. Все ее, интеллигенцию, хотят подмять, то властным окриком, то властью золота. Коль хочешь видеть свое произведение в виде книги – плати! Какие проблемы?! Есть, правда, нынче издательства, имеющие деньги невнятного происхождения, чтобы публиковать и неимущих. Деньги не пахнут. Но душок, все же идущий от них и от этих издательств, навевает некоторые воспоминания…

А нувориши платят. И скоро их дети (ну, очень талантливые!) и жены, любовницы (обоих полов) живо удивят нас обвалом своих печатных произведений (ну, очень эксклюзивных!), благополучно засорив пипифак-

сом книжные магазины, точно так же, как уже засорили самую тонкую, беззащитную составляющую нашего бытия – эфир…

И вот тут не все сходится в логике мироздания. Из щели, из трещины в эфире, из небытия возникает образ идальго. Вечный дух упрямца, желчь и сарказм которого, справедливо излитые на тупоголовых, алчных, невежественных современников, сгущаются на страницах такого же самиздата позапрошлых столетий, сотворяя язык нации и становясь фактом культуры, вправляющим мозги множествам еще не рожденных поколений. По непонятным, по не открытым еще законам, этот образ оживает, обретает плоть, становится зримым. Преодолевая сопротивление всякого быта и бытия, в плену иллюзорных, сиюминутных представлений о чести, дружбе и красоте этот дух, сверкая стойкостью простодушия и призрачных доспехов, преображает Землю. И география этих воплощений творца бессмертного идальго, дона Мигеля Сервантеса де Сааведры, непредсказуема. Они являются то на подмосковной заброшенной даче, то в бетонной коробке «хрущевки», то где-нибудь на краю света, в провинциальном почти сплошь одноэтажном городке, обозначенном маленькой точкой на карте Анивского залива, что почти рядом с проливом Лаперуза…

«Поэты, как мы знаем, могут рядиться в любые одежды. Истинная поэзия всегда в рубище. Ибо лик правды, особенно нашей, российской правды, трагичен и суров». Так написал в 1998-м известный в свое время журналист Игорь Зайонц в предисловии к книге А. Горюшкина «Пассажиры в аду», вышедшей, однако, в 2006 году.

Мне всегда было душно в регулярных садах литературы соцреализма с ее неуклюжими идолами, увенчанными лауреатскими венками различных фасонов, а позднее и расхристанными ликами нонконформистов, лукаво подмигивающих из-за уже не совсем ухоженных кущ этого сада. Всегда создавалось впечатление, оставался осадок, но теплилась надежда, что есть где-то совсем рядом та истинная, та честная литература, тем более что некоторые имена, да нет, скорее отдель-

ные строчки, задевали, как ласточки крылом на бреющем полете, и ранее. Сейчас и не вспомню, где и когда натолкнулась на стихотворение о Брейгеле:

Мне помнится, у Брейгеля в «Зиме»
впервые я прочувствовал пространство,
холодное, как скрип саней,
просторное, как плащ фламандца, –

и остолбенела. Вот это да! И это мой современник!

Значит, надо полагать, жива русская литература! Просторное пространство отрезвляющей правды, наполненное ароматов «Сада божественных песен». Позднее (уже в этом столетии) я опознала эти строчки Анатолия Горюшкина в его книге стихов «Пассажиры в аду».

Там же, в той же к книге А. Горюшкина «Пассажиры в аду»:

Самое сложное – это
Быть, словно песня, простым.
Снег осыпается с веток.
Жизнь превращается в дым.

Самое сложное – это
Песню допеть до конца.
Песня – единственный слепок,
временем снятый с лица.

Проза Поэта – та же поэзия. Она всегда ошеломляет, от Александра Сергеевича до Осипа Эмильевича. Проза поэта – особая субстанция, потому что мы попадаем в отличную от нашей, тривиальной, «систему образующего отношения», когда затертым словам, ввиду их особого звукового и зрительного ассоциативного звучания, даруется новый, неожиданный смысл. Рассказывая о своем друге поэте, музыканте и певце, Анатолий Горюшкин говорит:

«Александр Майсюк брал в руки кусок грубой звуковой материи и творил из нее сладостную легенду». И далее: «Мы зна-

ли, что жить – не столько хорошо, сколько интересно. Мы не бедствовали. Нас просто выключили из литературного процесса (а в нынешние времена – забыли включить). У нас оставались стихи и песни.

Отменить их – это все равно что отменить декретом самого Господа Бога».

Но сейчас не об этом. То есть об этом, о жизни и творчестве поэта. О его ви́дении смысла жизни. О прозе Поэта. О рождении Поэзии.

Философия жизни, определенная сжато, скупо, точно. Временем снятый слепок с лица всего поколения, есть проза Поэта – «Театр одного актера».



Стив Левин

По следам Исаака Бабеля



Ростислав Александров
Волшебник из Одессы: По следам Исаака Бабеля
Одесса, ПЛАСКЕ, 2011

В Одессе под эгидой Всемирного клуба одесситов вышла книга Ростислава Александрова «Волшебник из Одессы. По следам Исаака Бабеля». В аннотации указано, что издание книги приурочено к 90-летию первой публикации рассказа И. Бабеля «Король», открывающего цикл «Одесские рассказы».

Автор книги Александр Розенбойм (Ростислав Александров – его литературный псевдоним) – один из самых известных и авторитетных одесских краеведов, член топонимической комиссии городского совета, автор 15 книг («Прогулки по литературной Одессе», «Исхоженные детством», «Мадам Любка» и др.), член Национального союза журналистов Украины.

«По следам Исаака Бабеля» он идет уже давно. Вдова Бабеля А.Н. Пирожкова (ныне покойная) в письме ко мне от 28 января 2005 г. сообщала: «Розенбойм из Одессы написал книгу «Любка Казак» («Мадам Любка». – **С. Л.**), скорее об Одессе вообще, чем о Бабеле, хотя многое в ней перекликается с Бабелем».

Дочь Бабеля и Антонины Николаевны Пирожковой Лидия во вступительной статье к книге отмечает заслуги автора в разыскании сведений о предках Бабеля: «…родных отца я фактически не знала, кроме тети Кати – тетки отца, которая жила в Москве, и о которой упоминает автор в своей книге. Я слышала о существовании Ады, двоюродной сестры отца, но никогда не видела ее. Со своей тетей Мерой, сводным братом (Михаилом. – **С. Л.**) и сестрой (Натальей. – **С. Л.**) я познакомилась гораздо позже, в 60-х годах. О моих прародителях я почти ничего не знала, и поэтому эта книга была мне очень интересна, и я благодарна автору за его скрупулезный труд по розыску сведений о предках Бабеля и моих тоже» (с. 4-5).

Книга Ростислава Александрова – это своеобразная энциклопедия старой Одессы, ушедшей, как древняя Атлантида, на дно истории. Но это Одесса, увиденная сквозь призму Бабеля и его героев. Автор книги обнаружил в архивных материалах неизвестную генеалогическую линию Бабеля со стороны его матери Фейги Швехвель. (Более или менее известна линия его отца – Эммануила Исааковича (Мани Ицковича) Бабеля (Бобеля), происходившего из сквирских мещан.)

Оказывается, прадедом Бабеля по материнской линии был приехавший в 1818 г. из галицийского города Броды в Одессу Мозес-Фроим Лейзеров Швехвель, женившийся на своей ровеснице Фейге и принявший летом 1824 г. российское подданство. Их сын Арон Мозесов, дед писателя, женился на Хае-Лее Тодресовой и поселился в 1873 г. на Молдаванке. У них было шестеро детей – один сын и пятеро дочерей. Одной их них была Фейга Швехвель (то же имя, что у бабушки), мать будущего писателя. В 1890 г. она вышла замуж за Эммануила (Маню) Бабеля. В доме бабушки Хаи-Леи на Молдаванке, на Дальницкой, 21, скорее всего, полагает автор книги, и родились ее внуки, дети Эммануила и Фейги, Арон (1891), Анна (1892) и Исаак (1894). Вскоре семья Бабеля переехала в Николаев, где умерли Арон и Анна и родилась последняя дочь Мери (1899).

Этот биографический сюжет находит продолжение в главе «Мадам Любка», где автор прослеживает историю жизни соседки и подруги бабушки Бабеля Хаи-Леи Либы (Любы) Зильберман

(она же Шерман), удачливой, как говорят сейчас, бизнес-вумен, скупавшей дома и державшей каменоломни и ресторан. О ней (за глаза ее называли Любкой Казак) с восхищением рассказывала внуку бабушка. Создавая свой образ Любки Казак, Бабель, как пишет автор книги, «позаимствовал у Либы Шерман ее неиссякаемую энергию, коммерческую сметку, энтузиазм и азарт удачливого предпринимателя» (с. 187). Но наделил свою Любку другой фамилией – давних своих знакомых Шнейвейс, которая начиналась той же буквой, что и фамилия Шерман.

Приводя и другие факты из творческой предыстории рассказа «Любка Казак», А. Розенбойм не только воссоздает фактическую его основу, но и подтверждает достоверность признания Бабеля К.Г. Паустовскому: «Я не умею выдумывать. Я должен знать все до последней прожилки, иначе я ничего не смогу написать. На моем щите вырезан девиз: «Подлинность!»*. Вместе с тем, как показано в книге, Бабель вовсе не был прилежным копиистом-фотографом – «не срисовывал с нее (Любы Шерман. – **С. Л.**) Любку Казак, а тщательно отбирал для своей героини черты и реалии» (с. 202) известных ему людей и событий старой Одессы, прибегая подчас к сдвигу и заострению фактов.

Наряду с краеведческими и генеалогическими разысканиями есть в книге глава («Все дело в налете») литературоведческого характера, в которой сделан виртуозный текстологический анализ пяти печатных редакций рассказа Бабеля «Король» (1921-1936), что позволяет представить, как работал писатель над своими произведениями. «Начиная с 1921 года, – пишет А. Розенбойм, – Бабель внес в него больше двухсот поправок» (с. 92). И, как говорил создатель «Короля» К.Г. Паустовскому, «между первым и последним вариантом такая же разница, как между просаленной оберточной бумагой и «Первой весной» Боттичелли» (с. 97). И при этом текст не был умерщвлен, заредактирован, а превратился в сияющий алмаз…

«Рукопись рассказа «Король» не сохранилась, – пишет автор книги, – но оставшиеся на страницах книг и периодических изданий пять авторских редакций его текста дают счастливую возможность чуть ли не «от первого мгновенья до последнего» про-

* Воспоминания о Бабеле. М., 1989. С. 27.

следить работу Бабеля над текстом, который, помимо качественных изменений, в финале оказался сокращенным процентов на десять» (с. 100). Своему другу Изе Лившицу Бабель написал: «Единственное тщеславие, которое у меня есть, – это написать как можно меньше ненужных слов» (с. 99).

Имя Исаака Бабеля неотделимо от Одессы, как Одесса неотделима от него. Он – один из создателей «одесского мифа», к которому приложили руку и его современники из «южнорусской школы»: Валентин Катаев, Юрий Олеша, Эдуард Багрицкий, Константин Паустовский и др. Но и сама жизнь писателя, как справедливо заметил автор рецензируемой книги, «обрела с годами черты мифа, чему причиной некоторые особенности его характера, обстоятельства жизни, судьба рукописей и книг» (с. 26).

С течением времени ушли из жизни многие родственники Бабеля, друзья, коллеги по литературному цеху. Годы забвения писателя, запрета и полузапрета его произведений накопили множество слухов и подчас недостоверных легенд. Книга Ростислава Александрова «Волшебник из Одессы. По следам Исаака Бабеля» дает возможность обнаружить фактическую основу «мифа Бабеля», заполнить некоторые белые пятна его биографии и заглянуть в творческую лабораторию писателя.

Иерусалим

Содержание

От редакции ... 3

Эхо фестиваля

Ирина Барметова
История и будущее в настоящем ... 6

Николай Богомолов
Одесса как культурное урочище ... 9

Дмитрий Глуховский
На свет ... 18

Евгений Голубовский
Верность одесскому братству ... 21

Олег Губарь
Интеллектуальное оскудение Одессы или скудоумие критиков? ... 27

Ольга Ильницкая
Фестивальные игры в бисер ... 32

Феликс Кохрихт
Бабели и Кохрихты ... 36

Евгения Красноярова
Против часовой стрелки ... 39

Юрий Кублановский
Верю Одессе ... 49

Олег Кудрин
Два мифа и один человек ... 51

Андрей Малаев-Бабель
Долгая дорога домой ... 58

Давид Маркиш
Третья столица ... 64

Валерий Попов
Одесская малина ... 69

Вячеслав Пьецух
Полоса отчуждения ... 71

Илья Рейдерман
Место встречи изменить нельзя ... 78

Владимир Салимон
Ланжерон 89

Клаудия Скандура
Моя Одесса 92

Асар Эппель
И вдоволь не мог надышаться 97

Елена Якович
Первое свидание, или «Фонтан черемухой покрылся» 102

История, краеведение

Ева Краснова, Анатолий Дроздовский
Одесское пехотное юнкерское училище 106

Юрий Гудыменко
Неизвестный Сольферини 122

Олег Губарь
Энциклопедия забытых одесситов 135

Олег Сивирин
Пушка 141

Геннадий Гребенник
Записки обитателя одесского истфака 160

Одесский календарь

Сергей Решетов
Дом на Пушкинской, 19 174

Проза

Владимир Каткевич
Код Артура Анатра 182

Нина Эмельдеш
Призрак сберкассы № 53 по улице Базарной, бывшей Кирова 189

Татьяна Мартынова
Пять рассказиков 206

Яков Шехтер
На пустом месте 210

Поэзия

Елена Михайлик
«Окружающий мир на события скуп...» 220

Володимир Невмитий
На відстань п'янкого цілунку 226

Анна Стреминская
«Там проживаю я...» 233

Ольга Ершова
«Снимите музыку с лица...» 237

Первые шаги

Анастасия Мамонтенко
Необыкновенный урок 240

Денис Зиновьев
Страна Одесса ... 245

Даниель Огрохина
Чудесная страна ... 246

Искусство – жизнь – искусство

Михаил Обуховский
Украинская Атлантида ... 248

Снежана Павлова
Дмитрий Бобышев: портреты в лицах ... 259

Евгений Голубовский
Изумление перед миром ... 282

Валентина Голубовская
Лишь одни созвездья Магадана ... 285

Публикации

Ирина Вышеславская, Глеб Вышеславский
Леонид Вышеславский и Одесса ... 292

Б.И. Эгиз
Воспоминания о К.К. Костанди ... 310
Публикация Марины Верховецкой

Наши предшественники

Татьяна Щурова
«Театр – огромная цивилизующая сила...» ... 326

Путешествие

Иван Липтуга
Дуализм русской души ... 342

Феликс Кохрихт
Джульетта и Ромео ... 346

Ах, Одесса

Владимир Ефименко
Классический развод ... 352

Владимир Трухнин, Ирина Полторак
«Городок» – пятый угол! ... 358

Издано...

Евгений Голубовский
Книжный развал ... 364

Галя Маркелова
Проза Поэта ... 369

Стив Левин
По следам Исаака Бабеля ... 373

Calendrier
de vaisseau
N648
– 2019



